Леонид Гурунц



Наш милый Шушикенд


БИБЛИОТЕКА
ДН
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ЛЕОНИД ГУРУНЦ

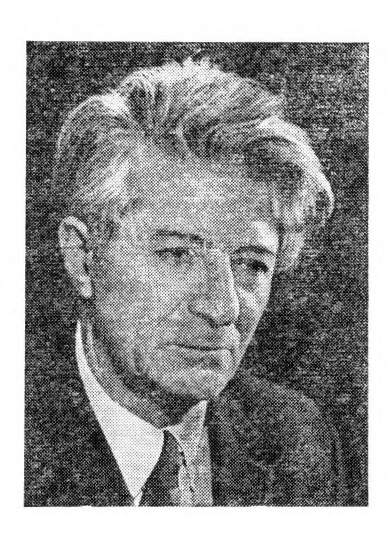
наш милый шушикенд

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» ● МОСКВА ● 1974

Р 2
Г 95

Художник В. СМИРНОВ

Г $\frac{70302—007}{074(02)—74}$ 45—74 подписное



Леонид Караханович ГУРУНЦ — известный армянский прозаик, родился в 1913 году в Баку, в семье рабочего-литейщика. Детство и юность писателя прошли в селе Норшен в Нагорном Карабахе, куда он переехал с матерью. Учился Л. Гурунц в Москве, потом в Баку, закончил исторический факультет Азербайджанского государственного университета. С первого до последнего дня Великой Отечественной войны он был на фронте военным корреспондентом; затем работал на радио Баку, в ереванской газете «Коммунист».

Писать Л. Гурунц начал рано, еще будучи студентом. Первый его рассказ «Большая обида» был напечатан журналом «Говорит СССР» в 1931 году.

Писатель опубликовал более двадцати книг. Им создано несколько больших романов (наиболее популярны — «Карабахская поэма» (1947), «Горы высокие» (1957), «Шумит Воротан» (1969), «Облака моей юности» (1972), повести «Полевая почта» (1942) и «Наш милый Шушикенд» (1969), много рассказов и афористичных, пронизанных поэзией миниатюр.

В повести «Наш милый Шушикенд» много автобиографического. Она показывает становление человека в первые послереволюционные годы. Перед нами предстает во всей полноте и противоречивости жизнь небольшого карабахского села, где живет мальчик Тигран, для которого все в этом мире — открытие. В детство Тиграна входит война, затем революция, вторгается острая классовая борьба, которая разрушает старые патриархальные отношения между односельчанами. Ребята, сверстники Тиграна, узнают о Степане Шаумяне, о Бакинской коммуне, о Ленине. Л. Гурунц остро ощущает и умеет донести до читателя исключительную многоголосость бурного времени. Колорит времени, характеры, психология персонажей — все это тонко и поэтично передано автором.

Наибольшей популярностью пользуется роман «Карабахская поэма», выдержавший уже пять

изданий. Действие в нем, как и в повести, начинается в годы империалистической войны, завершается установлением Советской власти. Отголоски этих битв явственно слышатся и в затерянном среди гор Нгере. Классовая борьба разрезает на две неравные группы людей, живущих на соседних улицах.

Гурунц по существу пишет историю армянской деревни, она живет на страницах его книги во многих судьбах и обликах. Здесь сказывается сильная сторона его прозы, дающая себя знать и в других романах — «Горы высокие» и «Шумит Воротан». Перед нами встают люди яркие, самобытные, вместе с тем образующие единое целое— народ.

В романах «Горы высокие» и «Шумит Воротан» Л. Гурунц переносит действие в другие времена, не покидая родной карабахской почвы: в первом романе описаны события, происходившие в высокогорном колхозе незадолго до Великой Отечественной войны; во втором — в центре повествования молоденькие колхозницы, решительно и упорно отстаивающие свои убеждения и взгляды.

«Облака моей юности» — это книга о юношестве тридцатых годов. О болях и радостях советского студенчества тех дней. О людях честных, упорных и мужественных.

Итогом встреч и размышлений в годы войны явилась повесть «Полевая почта» (1942) и два сборника рассказов: «Письмо» (1946) (в соавторстве с Л. Карелиным) и «Я — военный почтальон» (1960).

«Миниатюрная» проза писателя (сборники «Камни моего очага» (1960), «Ясаман — обидчивое дерево» (1971) оказывается органично связанной с его романами и повестями. В предельно сжатых характеристиках, в лаконичных решениях и близость к источникам мудрости народной, и любовь к родному краю, и поэтическое понимание высокой общественной ценности труда.

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

ЛЕОНИД
ГУРУНЦ

НАШ МИЛЫЙ ШУШИКЕНД

●

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» ● МОСКВА ● 1974

Р 2
Г 95

Художник В. СМИРНОВ

Г $\frac{70302-007}{074(02)-74}$ 45—74 подписное

● ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Вставай, Тигран, сегодня у нас большая радость: едет папа.

Я с трудом разлепил веки. У моей постели стояла тетушка Нубар. Сухое морщинистое лицо ее сияло.

— Папа? Какой папа? Разве у меня есть другой папа? — не понял я.

Мне тогда было десять лет. Папой я называл дядю. Отца своего я не видел, он еще при царе был сослан пожизненно в Сибирь, никто не верил в его возвращение, и все это скрывали от меня, чтобы не ранить мое сердце.

— Глупенький,— поцеловала меня тетушка,— есть, есть у тебя еще папа!

Меня умыли, причесали, облачили в новую рубашку, сшитую на скорую руку тетушкой Нубар, и повели на край села. Вместе со мной тетушка привела толпу мальчишек со всего околотка.

Наконец на проселочной дороге показался всадник. Не доезжая до нас, всадник спешился. Он шел, опустив сильные плечи, ссутулившись, будто стесняясь своего огромного роста.

Тетушка Нубар пошла ему навстречу.

— Брат мой,— сказала она, обнимая его,— твой сын среди этих детей. Угадай — который?

Тетушка Нубар, вытирая слезы, подозвала нас. Мы все скопом, наступая друг другу на пятки, подошли к незнакомому человеку. Тот стоял посреди дороги и как-то радостно, тревожно и зорко всматривался в нас. Черные, с проседью, густые волосы, падая на лоб, прикрывали глаза. Всей пятерней он отбросил их со лба, еще раз острым ищущим взглядом обежал всех, точно ощупывая каждого, снова обжег меня взглядом и только после этого, бросив кому-то повод, раскинул мне руки:

— Вот он, мой жаворонок!

Отец подхватил меня, высоко вскинул и крепко прижал к груди.

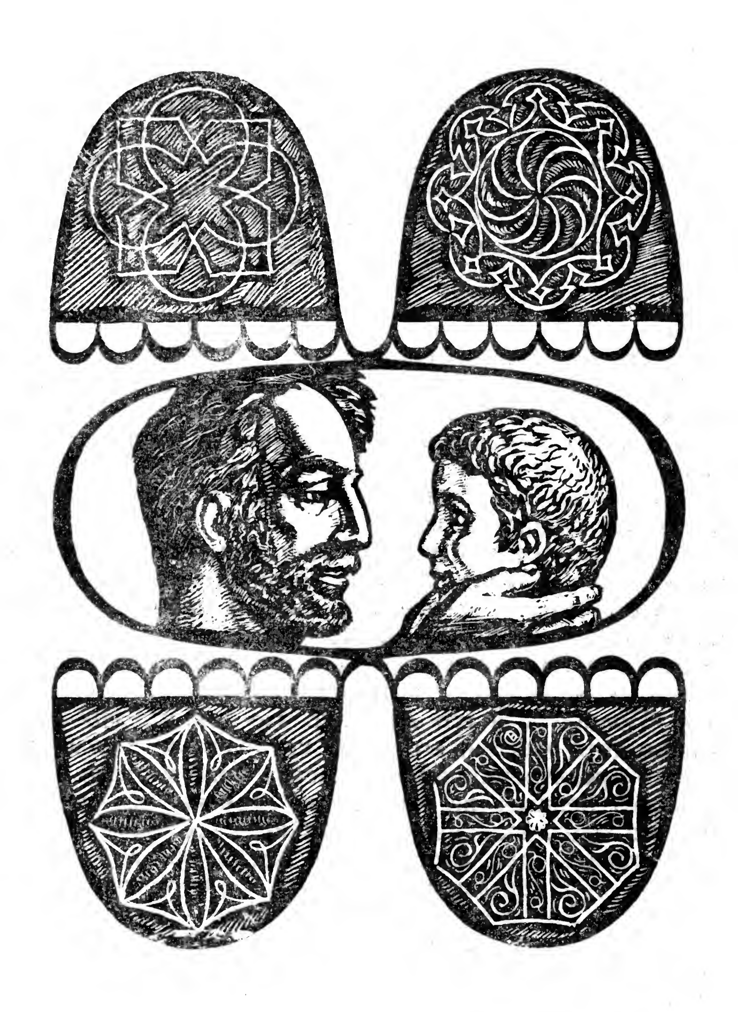
Так у меня стало два папы: папа старый и папа новый.

Много времени прошло с тех пор, но из памяти не изгладилась ни одна минута этого дня. Я вижу Басунц-хут, небольшую гору, поросшую до самого верха мелким лесом, желтые тыквы, дозревающие на плоских крышах домов. Помню каждый листок, тронутый желтыми красками осени, его дрожь, его особое свечение. Я вижу светлые слезы, застывшие на глазах у старой женщины, пришедшей на эту встречу с веретеном в руках, вижу мальчика, грызущего яблоко, и отца с упрямой прядью седеющих волос, упавшей на глаза... В деревне тихо, и слышно, как под тяжелыми шагами отца со слабым треском лопаются ржавые стручки акаций.

2

Село наше в Карабахе известно: Шушикенд. Но хорошо знающие его непременно прибавляют: тапан утох Шушикенд. «Тапан» — «потроха», «утох» — «едок». Понимай: любители отходов от туш. Такая к нам прилепилась кличка. Она, как видите, с подковыркой, обидный намек на особое пристрастие жителей этого села к потрохам.

Но, во-первых, какое из карабахских сел без клички? Во-вторых, не мы выбираем клички и не нам их отменять. Пусть так: тапан утох Шушикенд. На здоровье. Думаете, от этого названия шушикендец лишился сна? Как бы не так! Ведь оттого, что такое



невзрачное сельцо, как Мрав, называет себя маленьким Баку или Ереваном, не стало же оно ни тем, ни другим. Название нашего села тоже не с воздуха взято. Повторите вслух слово «Шушикенд». Слышите: «Шуша». Нет сомнения, что название это когда-то наши предки стянули у города Шуши, скромно приставив к нему «кенд», что по-азербайджански означает «село».

Слабое утешение! Но не для утешения говорю я это. Конечно, я сейчас отмел бы все обидные намеки в два счета. Для этого мне всего лишь понадобилось бы назвать Никитские ворота или хотя бы Кузнецкий мост. Дескать, попробуйте в Москве на этих самых Никитских воротах найти что-нибудь, отдаленно напоминающее ворота. Не скоро найдете...

Нас, детей, в семье пятеро: четыре мальчика и одна девочка, наша сестрица. Зовут ее Арев. Она старше нас, с нами не любит водиться, и за это мы жестоко мстим ей. У Арев, разумеется, своя компания из ребят и девчонок постарше нас, и ей интереснее бывать с ними. Больше всех обижаюсь я. Подумаешь, старше меня всего-навсего на год, а форсу набралась — не подступишься.

Конечно, все мы любим нашу единственную сестру: случись, обидит ее кто, несдобровать обидчику, горой становимся за нее. Ну, а когда небо над ее головой чисто, не грозит ей никакая опасность?

Нет, не позавидуешь ни ей, ни Армо, нашему соседскому мальчику, с которым она больше всех дружит. Полное имя его Арамаис. Но так называет его только тетя Ашхен, его мать, которая доводится мне близкой родственницей, она сестра моей матери.

Армо недавно из города, по деревенским меркам хорошо одет, еще не успел обноситься. Умеет лихо джигитовать, как взрослый, — когда только он научился? — и как взрослый, забористо ругается. И еще он силач. Все это, конечно, не может не возвысить его в наших глазах, в глазах всех мальчишек села. Тем не менее сто́ит Армо и Арев оказаться рядом, пусть даже в компании, как тотчас же навстречу им летит наша испытанная дразнилка:

— Жених и невеста!

Это наша месть, и, кажется, довольно действенная, потому что, услышав эти слова, «невеста» и «жених», схватив по хворостине, сломя голову бросаются за нами. Впоследствии, не выдержав нашего натиска, они даже рассорились и перестали бывать вместе. Но как потом выяснилось, это была не размолвка, а любовь, первая, стыдливая любовь, которая гласности

предпочитает безмолвие и прикрывается то колючей шуткой, то нарочитым безразличием.

Наша Арев страдает хроническим ревматизмом, и часто случается, что нога у нее ни с того ни с сего вдруг «отнимается», отказывается идти, и тогда приходится доставлять сестру домой как придется — на руках, или на подвернувшейся арбе, или на осле. В таких случаях молва всегда опережает события, и мы, все четверо братьев, даже самый младший, маленький Ашотик, у которого еще не выпали молочные зубы, бросаемся на выручку сестре, но, как правило, встречаем ее на полпути: ее везут на арбе или на осле, а очень часто тащит на себе наш Армо.

В эти минуты мы старались проглотить дразнилку. Что ни говори, а Армо ей, как брат, раньше нас поспевает на помощь.

За давностью лет не хочу скрывать и другое. Когда Армо тащит Арев, тут на глаза ему со своей дразнилкой лучше не попадайся. Потом костей не соберешь. Это мы читаем по его особому взгляду, по напрягшейся шее, по всему его виду, не предвещавшему ничего хорошего. И мы благоразумно молчим.

Только Ашотик, который и к семи годам еще не научился толком разговаривать, косноязычил и мямлил, раз, даже пробившись вперед, бросил в сторону Армо, несшего Арев, что-то нечленораздельное, похожее на «жениха» и «невесту». К счастью, его никто не понял. Не поняли и мы, его толмачи. Но на всякий случай оттеснили подальше от Армо. Чем черт не шутит. Еще разберется в несносном лепете Ашотика, тогда отдуваться придется нам, старшим братьям. От Армо всякого дождешься, переступи ему только дорогу.

3

Дядя мой был виноделом, покупал по соседям на корню виноград, давил вино, потом возил в город продавать. В темных, сырых подвалах у дяди можно было насчитать до двух сотен бочек вина, а может, и больше.

До поздней зимы у нас давили виноград. До поздней зимы шушикендцы лакомились у давилен вино-

градом. А когда перебродившее вино отстаивалось, переходили с винограда на вино и тянули его сколько душе угодно.

Подвалы дяди не охранялись. Наоборот, в каждом подвале были все удобства, чтобы гость чувствовал себя как дома. Здесь к услугам его низенький столик на вбитых в землю ножках, резиновый шланг, висящий на гвозде, глиняные кружки, огромный штоф, куда сливали вино из бочки.

Не только шушикендцы, многие карабахцы считали своим долгом, проезжая через земли Шушикенда, завернуть в село, отведать в свое удовольствие вина, втайне удивляясь щедрости чудака хозяина. Находились даже остряки, которые, глуша дармовое вино, незло поругивали хозяина:

— И чего это Багдасар поскупился на закуску? Надобно бы к вину горячий кебаб, завернутый в тонкий лист лаваша.

Сам дядя капли вина в рот не брал. Если ему нужно снять пробу — макнет мизинец в вино, прикоснется к нему кончиком языка и тут же сплюнет. В нашем доме я не видел, чтобы к обеду или ужину подали вино.

Запомнился такой случай. Как-то поздним вечером к нам во двор завернули проезжие люди и попросили ночлега. Путникам, которых ночь настигла в дороге, у нас в горах открыты двери любого дома. Открыты они были и в нашем доме.

Гостей, разумеется, прежде чем уложить в постель, не за пустой стол посадили: тетя Марго и моя мать знали нрав дяди и старались как могли. Но гости, видать, тоже знали, куда просились переночевать, и ждали угощения иного толка. Они не притрагивались к еде и то и дело поглядывали на дверь.

Дяде было много лет. Красивый, весь седой, с длинными, опущенными книзу, белыми усами.

— Там, где растет каштан, его не ценят, — сказал он, улыбнувшись в усы. И, вызвав работника, велел, чтобы тот проводил гостей в подвал.

К чести шушикендцев, и не только шушикендцев, будь сказано, никто не злоупотреблял щедростью дяди. Удивляясь чудаку хозяину, зубоскаля на его счет, они все же знали меру, не напивались до бесчувствия...

Вы сейчас думаете: что это наш Тигран изображает своего дядю-богача этаким Иисусиком, полным благородных порывов?

Какие бы сейчас ни задавались вопросы, я все равно дорисую портрет дяди, ни капли не убавив, не прибавив. Что проку подменять живого человека выдуманным?

Итак, дядя скупал на корню виноград и давил вино. В сезон винограда у него насчитывалось до пятнадцати батраков-поденщиков. Разумеется, это были работники, находящиеся далеко от своего дома, и, надо полагать, они не святым духом питались. Такую ораву нужно было накормить, напоить. И здесь я не берусь кривить душой. У дяди был даже специально выделенный человек, Гегам, который должен был присматривать за питанием. Дядя не жалел ни хлеба, ни вина. Правда, им, работникам, жилось бы куда лучше, если б не Гегам, который все-таки устраивал им всякие каверзы.

По договоренности, работник имел право раз в неделю отправиться домой, повидать семью, выкупаться, отдохнуть. Само собой понятно, что каждый старался прийти домой не с пустыми руками, прихватить с собой немного винограда. Для маскировки они клали виноград в хурджин, переметную суму. Не станет же такой добрый, хлебосольный человек, как Багдасар Арустамян, то есть мой дядя, рыться в хурджине? Конечно, нет. Дядя, часто разъезжавший на коне по своим владениям, не раз нарывался на пухлые хурджины на плечах работников, отправляющихся домой, но отворачивал лицо, делая вид, что ничего не замечает.

Все было бы хорошо, если бы не Гегам. Мало кому удавалось обвести его.

Я часто думаю: что стало бы с дядей, если б не Гегам? Наверное, разорился бы.

4

В нашем доме происходили странные дела. Это я говорю сейчас, много лет спустя, но в то время, когда происходили эти события, я не замечал никаких странностей.

У меня есть отец. Это Багдасар Арустамян, которого я называю по-городскому: папа. Есть мать, Варсеник, зову ее мамой. Но есть еще одна мать, которую я называю тетей. Это тетя Марго. Братья же мои, наоборот, мою маму называют тетей, а мою тетю — мамой.

Впрочем, эту несуразицу я не особенно замечал. Не замечали ее и мои братья. Даже сестрица Арев, которая, как ни суди, старше нас и, конечно, поумнее, все равно мою маму называла тетей, а тетю Марго — мамой.

Мать моя Варсеник когда-то училась в гимназии и была очень красива. Про ее красоту помнят в Шушикенде; не без гордости любит вспоминать о ней тетушка Нубар, которая сейчас за девятый десяток ушагала и поныне здравствует всем на радость. У мамы моей были белая кожа и роскошные толстые косы, спадавшие чуть не до полу. Белая кожа и длинные волосы у нас, по-видимому, ценились очень высоко. Я не застал уже ни толстых кос матери, ни той белизны, о которой с таким упоением говорит тетушка Нубар. Но она была еще красива, на смуглых, загорелых щеках, когда она улыбалась, появлялись едва заметные ямочки, а глаза были не то зеленые, не то цвета неба...

Мама моя происходила из богатой семьи. Отец ее священник из соседнего села. Но мама жила в городе, в Мерве, где братья ее имели торговый дом. С отцом моим она познакомилась случайно. Старшая сестра матери, тетя Ашхен, была замужем за нашим односельчанином, Саркисом, который сейчас в ссылке. Оказывается, отец Армо — знаменитый человек. Был он литейщиком, работал по найму, но обо всех заботился, весь отдавался чужим делам и хлопотам. За это любили его рабочие. Среди них он слыл праведником, вроде какого-нибудь препочтенного третейского судьи. За то хозяева люто ненавидели его. Скажет дядя Саркис: не согласны, и все тут. Ни один рабочий не выйдет на работу. Хозяева зовут жандармов. А он и их не боится. На своем стоит. Его шутя называли: Саркис-забастовщик. Вот какой был у Армо отец.

Летом, приезжая к родителям на каникулы, мама навещала сестру, которая после ареста дяди Саркиса

перебралась в село. Вот здесь они и встретились: мой отец и моя мать. В то время отец мой уже работал в Баку, тоже литейщиком, приезжая в село только на лето. Мамины братья очень не хотели, чтобы моя мама вышла замуж за рабочего. Они имели уже горький пример — дядя Саркис.

Отец мой с детства славился своей необыкновенной физической силой. Очевидно, он дал понять братьям мамы, сколько весит каждый его кулак, и те усмирились. Даже на свадьбе погуляли.

Но на селе поговаривали, что эта свадьба несчастливая, что маму мою ждет судьба старшей сестры, тети Ашхен, что муж ее, мой отец, тоже забастовщик. И тоже причастен к убийству жандарма, из-за которого дядю Саркиса угнали в Сибирь. Жандарм этот, как утверждают очевидцы, — в Шушикенде много жителей, побывавших в Баку и сведущих в делах большого города, — был смят в толпе. И, как видно, за дело: любил блюститель порядка во время забастовок дубинкой по головам рабочих прохаживаться.

Правда, Армо всюду звонит, что жандарма прикончил его отец — у него тяжелый удар. Но почему-то, когда говорят о другом забастовщике, неком Ишхане, он как-то весь сникает, глядит в землю и долго не поднимает глаз. Оказывается, этот Ишхан всем забастовщикам забастовщик. Главнее даже дяди Саркиса. А если говорить о тяжелой руке... В Баку это было, где работали дядя Саркис и этот Ишхан, куда много шушикендцев на зиму уходило на заработки, в отход. И вот в этом самом Баку как-то обидели рабочего. Обидел его хозяин. Куда ни сунется рабочий, на него ноль внимания. Хозяин смазывал кого надо, и рабочий правды не мог доискаться. Но и у рабочего была своя защита: комитет, который состоял из таких же, как он, рабочих. Ишхана вызвали в комитет, рассказали ему об обиде и поручили, чтобы он переговорил с хозяином.

Рабочий этот не шушикендец, даже не из Карабаха, как на грех, он был из Персии, но для комитета все рабочие равны, не имеет значения, откуда, кто и какой национальности. Не имело это значения и для Ишхана. Получив задание от комитета, он

отправился на переговоры. Но хозяин даже разговаривать с ним, Ишханом, не стал. Вышел из конторы, сел в фаэтон, чтобы укатить по своим делам. Кучер дернул вожжи, гикнул на коней, а фаэтон ни с места. Оглянулись, видят: за задок его держит Ишхан. Хозяин струхнул немало, понял, с кем имеет дело, быстро спрыгнул с фаэтона и вернулся в контору. Даже Ишхана под руку взял. Ну как после этого можно говорить о тяжелой руке дяди Саркиса, если у забастовщиков был еще Ишхан? Откуда мне тогда было знать, что этот силач, забастовщик Ишхан, который главнее дяди Саркиса, — мой отец!

Конечно, если спросить Армо, то он скажет, наверно, что за задок фаэтона схватился его отец, дядя Саркис. Но кто поверит этому хвастунишке, который вечно что-нибудь придумывает и все приписывает своему отцу. Он, например, прожужжал уже всем уши, что князя Нагашидзе тоже прикончил его отец. Вот врунишка! И чтобы придать своим словам больше веса, не забывал, конечно, и Ишхана. Часть подвигов отца великодушно уступал ему, даже не пожалел поделиться с ним убийством князя, уверив меня, что его убил дядя Саркис вместе с Ишханом.

Как бы там ни было, но не успел отец после свадьбы переехать с мамой в Баку, как его сейчас же упрятали в каталажку.

Мать не сразу поверила в свое несчастье. Она несколько раз посылала прошения о помиловании. Но на все свои письма получала неизменный ответ: «Красным революционерам нет пощады».

Мама еще не знала, что скрывается за этими грозными словами. Вскоре состоялся суд, отец был осужден на смертную казнь через повешение. Смертная казнь потом была заменена пожизненной ссылкой.

Мой дядя, Багдасар Арустамян, который души не чаял в брате, приехал за мной (я тогда только что родился) и мамой и забрал нас к себе. Вскоре за нами прикатили и братья мамы. Всего этого я, конечно, не помню, мал был я тогда. Дядя Багдасар жил в то время очень бедно. Братья мамы посмотрели на низкие закопченные слеги на потолке в доме

дяди, на кованую решетку окна с листами глянцевой бумаги вместо стекол и сказали:

— Мы приехали за сестрой и малышом. Им у нас будет лучше. Они ни в чем не будут знать недостатка.

Дяде не понравились эти слова, но он спокойно ответил:

— Я вашей сестре не судья. Поговорите лучше с нею.

Моя мать была вообще безответной, кроткой, но здесь она нашла твердые слова.

— А что, его нет в живых? — спросила она.

— Не то что в живых нет...— начали было братья.— Слава богу, смертная казнь отменена...

Но мать не дала им договорить:

— А если жив, о чем разговор? Он мой муж, а я ему жена.

— Но он выслан пожизненно. Понимаешь, сестра, это для тебя почти то же самое, — принялись объяснять братья.

Но мать уже не слушала их. Она была счастлива, что отец мой жив. Братья уехали ни с чем. Так я и остался у дяди Багдасара, стал его приемным сыном.

5

Только вот деда у меня нет. И бабушки. Нет, что я говорю. И дедушка и бабушка у меня есть, со стороны матери. Живут они в соседнем селе, в Авдуре. Но только они наполовину мои. Другая половина — Армо. Наши матери ведь сестры. А мои братья, сестричка Арев даже этого не имеют. У них совсем нет ни бабушки, ни дедушки.

Хотя их нет, в нашем доме я часто слышу имена — уста[1] Авак и Заруи. Уста Авак — дедушка, Заруи — бабушка.

Про мою бабушку, прожившую всего сорок — сорок два года, можно рассказывать день и ночь, ночь и день, и всего не обговорить. Героическая была бабушка! И если сейчас весь наш род носит имя бабушки —

---

[1] Уста — мастер.

в селе нас называют Зарунц,— так ведь это тоже о чем-то говорит!

Но я обрываю свой рассказ в самом его начале, чтобы поведать о деде, как-то несправедливо оттиснутом на задний план.

Дед мой, уста Авак, по рассказам старожилов, был кроткий, неприметный, то ли шорник, то ли жестянщик. И был он мастеровым, должно быть, хорошим, раз к его имени навечно прилепилось словечко «уста», которое дается только признанным мастерам. И еще дед составлял песни, которые пели во всей округе. Сам он не пел, хотя у него был отличный голос и он умел аккомпанировать себе на трехструнном сазе. Разве только если его разозлить!

Разозлить уста Авака? Хотел бы я посмотреть на хитреца, которому удалось бы озлить деда, вывести его из состояния равновесия, заставить его нахмурить брови. А если все же иногда удавалось — какой-нибудь бродячий певец, не знавший песен деда, бахвалился своими собственными,— он снимал с гвоздя саз. Рассказывают, немало посрамленных гусанов[1], оставив в Шушикенде честь и саз, спешили уйти восвояси, стараясь навсегда забыть дорогу в наше село. У моих родственников сохранились трофеи деда — отделанные перламутром сазы, когда-то отвоеванные им в поединке с другими гусанами.

Правда, некоторые мои родственники оспаривают сейчас принадлежность этих славных трофеев моему деду, уверяя, что Авак не причастен к ним, что-де их отвоевал в схватке с гусанами не Авак, а его старший единокровный брат Арзуман, который оставил о себе память, слов нет, гораздо большую, чем уста Авак, мой дед. Арзуман был кехвой — старостой в селе, с высокопоставленными чиновниками садился-вставал, прославился во всей округе своей справедливостью, умом. В тяжбе крестьян с власть имущими всегда брал сторону бедняков.

Но я, грешным делом, думаю, что здесь не обошлось без здоровой доли пристрастий, выдумки, присочиненной родственниками. Если хотите знать, я даже склонен считать, что песни сочинять умели оба, иначе

[1] Гусан — народный певец, ашуг.

откуда эти бесконечные споры и пересуды. Дыма без огня не бывает.

Если мои родственники, берущие свое начало от двух корней — уста Авака, моего деда, и его брата Арзумана, — оспаривают славу победителя на гусанских состязаниях между двумя братьями, то по отношению к бабушке двух мнений быть не может. Обе стороны, вспоминая о ней, уважительно восклицают:

— О, тетушка Заруи!

Эти два слова и тот смысл, который придается этим словам, как бы исчерпывающе признают непререкаемую славу, какая закрепилась за бабушкой и передается из поколения в поколение как доблесть рода. Здесь уже ни споров, ни пересудов. Попробуй измени хоть одну историю из множества историй, где упоминается какая-нибудь бабушкина доблесть!

Не дадут. Весь Шушикенд знает эти истории, не даст он ее, Заруи, мою бабушку, в обиду.

Но об этом, о бабушкиных доблестях, в другой раз. Не все сразу.

6

Другой дед, что в Авдуре живет, священник, и я боюсь его. Боюсь его бороды. Когда он приходит к нам, — а в нашем доме он появляется часто, — я убегаю, истошно вопя:

— Боюсь, он кусается.

Должно быть, он меня поцеловал, я укололся об его бороду и с тех пор боюсь его.

— Ну и глупец же ты, Тик,— как-то сказал дядя Багдасар, расстроенный моей выходкой,— и чего ты боишься тер-айра? Он у тебя такой добрый, что и мухи не тронет.

Но я все равно боялся и, когда дед уходил, переворачивал на дороге камень, раз-другой плюнув на него. Так делали дети постарше меня, и я делал. Дед дедом, но священник — он может сглазить. И дорожный камень, перевернутый наплеванной стороной к земле, должен был подмять под себя дурной глаз, обезвредить его. И, надо полагать, свои обязанности камень с плевком исправно выполнял, по-

тому что ни разу не случалось, чтобы после прихода к нам тер-айра, моего авдурского деда, у кого-нибудь в Шушикенде свернулось молоко, прокис в квашне хлеб, разбился кувшин или случилась какая-нибудь иная беда.

Зато бабушку, которая также жила в Авдуре и часто приходила к нам, я любил. Ее звали Аби-акер, но я называл папунц-айан [1]. Не только я, вся шушикендская ребятня, у кого есть бабушки по матери, также называют их этим словом — папунц-айан.

Бабушка моя, как и тетушка Нубар, как все старые женщины, была одета в пестрое «в три полы» платье, с пуговками на рукавах и множеством карманов в недрах его складок. Такое платье у нас называют хлех.

Несмотря на преклонный возраст, бабушка была еще красива, как и моя мать, белокожа; у нее, как и у мамы, были то ли зеленые, то ли под цвет неба необычайно красивые глаза.

От бабушки и дедушки, в скобках будь сказано, осталась обширная родня, уже правнуки пошли, жизнь разбросала нас по сторонам, но где бы мы ни встречались, узнаем друг друга: по глазам и белой-белой коже лица — родовой мете, которая несокрушимо передается из поколения в поколение.

С тер-айром, дедушкой, мы все же подружились. Виною этому был Армо. Тер-айр был дедушкой и Армо, а Армо вот нисколько, ну на мизинец не боялся его. И камней на дороге не переворачивал за ним, когда тот уходил. И ничего. Ни у кого не разбивался кувшин, не свертывалось молоко и хлеб не прокисал.

— Давай и я попробую не переворачивать камней,— осторожно предложил я Армо однажды.— Посмотрим, как поведет себя дурной глаз, если я не придавлю его камнем.

Попробовал. Пронесло. Тер-айр пришел — ушел, не причинив никому никакой беды.

— А что, Армо, если я сяду на его колени? — оцепенев от страха, спрашиваю я.

---

[1] Папунц-айан — бабушка со стороны матери.

От того, что ответит Армо, зависело многое. Не только в детские годы, но и потом, когда мы играли в футбол, скакали на диких необъезженных стригунках, Армо всегда был в моих глазах непререкаемым авторитетом.

— Ты боишься сесть дедушке на колени? — даже удивился Армо.

Он, конечно, хитрил. Армо знал, что я боюсь близко подойти к дедушке.

Однажды пошел я навестить тетю Ашхен. Прихожу к ним домой, а там дедушка. Армо сидит на его коленях и гладит его бороду.

— А-а, наш Тигран, — сказал дедушка очень грустно. — Ну что, беги переворачивать камень. А то сглажу я тебя, кривым станешь.

Я стоял в нерешительности, смотрел себе под ноги.

— Иди сюда, Тик, — подозвал меня Армо. — Посмотри, какая у нашего деда борода. Совсем не кусается.

Зажмурив глаза, медленно, преодолевая слабость в ногах, я подошел ближе.

Дед ласково привлек меня к себе, подняв, посадил на другое колено.

Так началось. Дедушка тер-айр нас очень любил, меня и Армо. У него были и другие внуки, но те были далеко, в Мерве, и всю любовь он отдавал нам.

Очень часто мы с Армо сами отправлялись в Авдур навестить дедушку и бабушку.

Авдур ничем особенным не отличается от многих других карабахских селений, не отличался он и от нашего села — те же плоские дома, которые лепились кое-как, один двор к другому, те же простреленные петушки на железных крышах, но почему-то авдурцы высмеивали всех соседей, прилепляя каждому из них какую-нибудь обидную кличку. Такие уж авдурцы — кичливые, гордые и, если хотите, немного вздорные.

Меня и Армо в Авдуре знали как облупленных, но когда дед, довольный нашим приходом, взяв нас за руки, проходил по селу, находились остряки, которые, прикидываясь несведущими, спрашивали:

— Тер-айр! Уж не из Мерва ли прибыли твои отпрыски?

— Нет, не из Мерва,— добродушно отвечал легковерный дед.— Они здешние. Из Шушикенда.

— Из Шушикенда? Любители потрохов? Пришли у деда полакомиться хашем?

Дедушка совсем не умел сердиться. В таких случаях только спешил удалиться подальше от остряка. Зато мы за спиной деда показывали обидчику язык, а то и сжатые кулаки. Пусть зарубит себе на носу незадачливый авдурский зубоскал, что в Шушикенде не одними потрохами умеют попотчевать.

7

Даже сейчас, по прошествии многих лет, разбуди среди ночи, я скажу, каким был наш дом, когда дядя еще не разбогател. Низкие, закопченные слеги вместо потолка и узкие окна без стекол с одними толстыми железными решетками, которые на зиму заклеивались бумагой, чтобы не дуло. Когда оконные рамы заклеивали, в комнате становилось темно, как в саманнике, и только из отверстия в крыше — ертика[1] лился желтый свет. Но это еще не весь наш дом. Наш дом — это прежде всего небольшой двор, тесно обсаженный тутовыми деревьями. С них, с этих деревьев, и нужно начинать, когда хочешь определить состоятельность дома. Ведь тутовое дерево не просто дерево, которое приносит плоды и дарит людям тень. Тутовое дерево во дворе — что корова в хлеву. Сколько у человека тутовых деревьев во дворе — столько же у него коров в хлеву.

Не я придумал такое сравнение, от людей слышал.

У нас во дворе пять тутовых деревьев. Стало быть, у нас пять коров, и вы хотите из-за каких-то закопченных слег на потолке причислить нас к беднякам? Напрасный труд. Если на то пошло, мы нарочно живем в таком низком, неприметном доме с железной решеткой, заклеенной бумагой вместо стекол,— боимся дурного глаза. Разве мы знаем все причуды дурного глаза? Отгрохаешь себе хоромы, а он возьмет да крепко насолит тебе.

---

[1] Ертик — дымоход, отверстие в потолке.

Так получилось с Армо. У них хороший дом с настоящими окнами и потолком, а у Армо арестовали отца. Конечно же, это дурной глаз постарался.

Нет, лучше мы будем жить в таком домике, как наш, зато нашего папу никто не тронет. Этот дурной глаз, видать, глупый, он не разбирается в нашей туте, достаток дома видит только в его крыше. Он не знает наших поговорок: «Живет на горке, а хлеба ни корки».

Как хорошо, что он такой недалекий, а то и нашего папу тоже бы арестовали. Ведь у нас во дворе пять тутовых деревьев, пять дойных коров. Стало быть, и мы богатые. Тьфу тебе, дурной глаз, что я говорю. Чтоб тебе ни дна ни покрышки. Сгинь ты, забудь дорогу к нам!

Мои проклятия дурному глазу этим, конечно, не кончаются. Кто только не бранит его! Готовых проклятий, услышанных от других, хоть отбавляй, вот и я, исчерпав свои, сыплю чужими. Мы знаем этого трусишку, дурной глаз. Он боится брани, обходит стороной тех, кто умеет постоять за себя. А если к моим проклятиям присоединить еще и все крепкие слова Аванеса, меньшего моего брата, который по части ругани не уступит ни одному взрослому, да прибавить еще проклятия нашей сестрицы Арев, которая честит его с утра до вечера по своей женской линии, то станет яснее ясного, что никакой дурной глаз не сунется к нам, не пристанет к нашему дому, не заденет его.

А может, просто дурной глаз лучше разбирается в нашем хозяйстве, чем мы? Ведь насчитав пять деревьев во дворе, мы малость перехватили. Пять-то их пять, но по-настоящему плодоносит только одно. И вот почему. Тутовое дерево любит солнце, простор. Будет вокруг него свет, воздух, оно так вымахает, раскинув по сторонам могучие ветви, что иное ореховое дерево может показаться рядом с ним просто маломерком. Вот так получилось и с нашим деревом, которое плодоносит. Посаженное, должно быть, раньше всех, оно так разрослось, что другим деревьям, его меньшим собратьям, в тесном дворе уже ничего не оставалось, как прижаться в его тени, вымаливая свет и солнце у него, и, так и не вымолив,

осыпать недозрелые ягоды, от которых даже наша хрюшка отворачивает свой влажный, не слишком разборчивый пятачок.

Пусть так, из пяти деревьев только одно и плодоносит, но дерево дереву рознь. Наше тутовое дерево плодоносит так: за сезон мы снимаем с него столько туты, сколько другие не соберут и с пяти. Стало быть, наш трудяга, тутовое дерево, старается за пятерых — и за тех, кого оно притесняет. А если это так, чего огород городить? Пусть трудится. Обидело собратьев, пускай теперь замаливает свои грехи.

И не считайте нас, пожалуйста, бедными. Это мы для виду живем под закопченными слегами. Чтобы обмануть дурной глаз.

И чтобы обмануть его, мы нарочно посадили одно дерево раньше всех, чтобы оно обижало остальных. Дескать, смотрите, какие мы несчастные! Дерево стоит и не плодоносит из-за несправедливого к нему отношения другого дерева. Что после этого делать дурному глазу в нашем дворе? Конечно, ничего.

Все это хитрость. Хитрость дяди, а может быть, его отца, посадившего это дерево.

Пожалуйста, не считайте нас бедными.

8

Итак, тутовое дерево. Большое, раскидистое. И каждая ветка осыпана тутой. Много туты.

Только не думайте, пожалуйста, что, влюбленный в туту, я повсюду протаскиваю ее. У нас говорят: каждый дом своей крышей крыт. Наша крыша такая, и мы ни на кого не в обиде. Росли бы у нас вместо туты лимоны или каштаны, может быть, я воспел бы их с такой же горячностью. Крышу свою надо уважать.

Хочу предупредить: я богатый еще и по другой причине. У меня, как вы знаете, трое братьев и одна сестрица. Такое богатство найдется не у каждого из моих сверстников. У Армо, например, только один брат. Армо очень бы хотел, чтобы вместо высокой крыши у него тоже было три брата и одна сестрица. Но у него их нет. Пусть он не нарадуется

своим домом, а я — моими братьями и сестрой. Еще неизвестно, кто кому завидует.

Ну как после таких высоких слов о братьях и сестре взять да отдубасить моего брата Аванеса за его вздорный характер? А отдубасить надо. Не будь он таким вздорным, не подначивал бы меня, разве я взобрался бы на такую верхотуру? Все это получилось очень глупо. Сперва мы с Аванесом поспорили — у кого самое высокое тутовое дерево в Шушикенде. Я, конечно, сразу назвал наше, Аванес же — дерево, которое во дворе у священника. С таким же упорством он защищал бы наше дерево, но раз я «за», то он «против». Такой у него характер. Во всем противоречит мне. А спор был нелепый. Никто из нас не мерил ни наше дерево, ни дерево священника, но спорить — спорим. Если бы Аванес назвал наше, я, может быть, так же горячо опровергал бы его, как он меня. Выходит, и у меня вздорный характер? Может быть. Ведь мы отлично видим соломинку в чужом глазу и не замечаем бревна в своем.

Потом Аванес спросил:

— Можешь влезть вон на тот сук и нарвать с него ягод?

Я посмотрел на этот самый сук, и, хотя он был очень высоко и откинут как-то в сторону, и на моей памяти никто на него не взбирался, я все-таки с достоинством заверил:

— Раз плюнуть.

Аванес изучающе посмотрел на сук, на меня, мотнул головой.

— Не поднимешься.

— Поднимусь.

Поспорили. Делать нечего, проклиная себя и глупый наш спор, я полез на дерево. Теперь я уже почти у цели, уже там, на том злосчастном суку, куда до меня никто не забирался. Теперь остается пустяк. Взобраться чуточку выше, чтобы достать вон те ягоды. Такой уговор. Но тут-то и подстерегала меня беда. Не успел я протянуть руку, как могучий сук хрястнул, рухнул наземь, а я за ним. Густая листва смягчила удар при падении. Куры в панике разлетелись в стороны, перемахнули через низкий плетень. Поднялось облако пыли. И каково было удивление,

когда сбежавшиеся на шум соседи вдруг увидели меня целехонького и невредимого среди пыли и обломанных ветвей!

Я не знаю, кому моя мама подала кусок хлеба, какому угоднику я обязан своим спасением, но я был на том свете, у праотцев, и живой. Вот повезло! Даже царапины на мне нет.

Дядя Багдасар доволен, что все обошлось хорошо, но ему все же жаль дерево, и вечером, обращаясь ко мне и Аванесу, он сказал:

— Ну, признавайтесь, кто из вас покалечил мое дерево?

Разговор этот происходил за едой. Мы с Аванесом ели из одной миски.

Мы как ели, так и продолжали есть, только усерднее заработали ложками, будто эти слова не имели к нам отношения.

Не трогаясь с места и не поднимая глаз, я видел прищуренный недовольный взгляд дяди, его тяжелые, с проседью усы, прикрывающие рот.

— Хорошо, — сказал дядя. — Сейчас я отрежу уши тому, кто это сделал.

Дядя держал в руках нож и серый брусок. Лезвие ножа заскользило по бруску то с одной, то с другой стороны.

У меня ложка дрогнула в руках, похлебка пролилась мимо рта. Я покосился на брата. Аванес ел как ни в чем не бывало. Дядя еще раз провел ножом по бруску. Он стоял у двери, закрыв собой выход. Меня только и видели. Я сорвался с места, оттолкнув дядю, выскочил наружу...

Потом дядя долго каялся за эту свою шутку. Счастливо отделавшись при падении с дерева, я расшиб себе лоб впотьмах, налетев во дворе на задок арбы.

9

За сломанный сук я все же заработал благодарность от дяди, грозившего отрезать мне уши. Дело в том, что соседнее дерево, над которым вдруг открылось небо, не дальше, чем через год, отозвалось на свет, на солнце, вытянулось, раздалось в сто-

роны, обильно усыпав ветки ягодами, да так, будто хотело искупить свою вину за прошлый недород, в котором не было ни капли его вины.

И вот однажды за вечерней едой дядя, ласково поглядывая в мою сторону, сказал:

— И какой ты молодец, Тигран. Ты ведь нарочно сломал сук, чтобы дать жизнь другому дереву. Спасибо. Хвалю тебя за это.

Не дав мне и слова вымолвить, он обратился к моей маме:

— Варсеник, сколько уже нашему мальчику набежало лет?

— Седьмой подошел, — ответила мама.

— Семь лет! — воскликнул дядя. — Так он уже взрослый мужчина! Сшейте ему сумку для книг. Немного еще подрастет, пойдет в школу. А пока будет носить хлеб в поле. Пора ему трудиться.

Я не знал, как поблагодарить дядю за эти слова. Ведь он меня уже считает взрослым, которому можно доверить все, любую работу. А работать я любил. Вернее, спешил стать взрослым. Теперь я взрослый. И нет сомнения, что этим превращением я обязан нашему тутовому дереву, вернее, ветке, которая случайно сломалась подо мной. Не будь этого случая, может быть, дядя и не сказал бы таких хороших слов, не распорядился бы сшить мне сумку.

Как хорошо. Теперь у меня сумка, сшитая из темной бязи. Через год, а может, раньше, я буду носить в ней книги, а пока ношу хлеб, когда пасу коров. Такие же сумки есть у Армо и у всех моих сверстников, которые пасут своих коров и которые до сих пор неохотно принимали меня в свою компанию, считали маленьким. Теперь они этого не посмеют, мы с ними равные. Я такой же пастух, как любой из них. А ну, Аванес, как это тебе нравится? Я же не виноват, если все это так обернулось для меня. Не унывай, дружище, скоро и у тебя будет сумка. Для этого надо только немного подрасти, как я. Вот и все. И запомни, брат, на всякий случай: я на целый год старше тебя. На целый год раньше тебя, стало быть, должен начать трудиться.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Трудились у нас в доме все, от мала до велика. Особенно хлопотлива была тетя Марго. Она все умела делать, все горело у нее в руках! Вставала она чуть свет и ложилась спать позже всех, и всегда ее беспокойные натруженные руки находили себе работу.

Мать моя старалась не отстать от тети Марго. Она научилась вязать шерстяные чулки, щупать кур, строго смотреть за краснoперой несушкой, которая так и норовила снести яйцо у соседей, варила любой нехитрый крестьянский обед, которого до этого, в доме братьев, не ела. Но одному она так и не научилась: доить корову. Не умеет доить корову! Ну и на здоровье! Не спрашивают же у тети Марго, почему она не умеет так ловко щелкать на счетах, как это умеет делать мама. Или читать прошения и разные царские бумаги. Ведь к ней, к моей маме, а не к тете Марго, приходят и просят почитать эти важные бумаги. Но зачем такие слова? Тетя Марго сама не подпускает маму к корове, сама убирает помет, лепит кизяк и даже успевает заделать все дыры в плетне, чтобы красноперая несушка, не дай бог, не убежала в чужой двор, не снесла там яйцо. Тетя Марго маму очень жалела. И даже когда дядя разбогател

и во дворе у него вместо одной коровы появилось пять, все равно тетя Марго доила их одна, не допуская к ним маму, стараясь взять как можно больше домашней работы на свои плечи. И я не помню, чтобы тетя Марго, любящая за глаза отводить душу по адресу соседок, когда-нибудь непочтительно отозвалась о моей матери. Жалел и уважал маму и дядя Багдасар, всячески оберегал ее от тяжелой работы. И только тетушка Нубар, десять раз на дню забегая к нам в дом, делая свои бесконечные наставления, не упускала случая зацепить и маму, хотя по-своему очень ее любила.

— И чего вы так носитесь со своей Варсеник? Слава богу, она не дочь Манташева[1], и мой отчий дом не последний в Шушикенде...

Но главная цель ее посещений, конечно, заключалась не в том, чтобы лишний раз напомнить, что моя мать не дочь Манташева, и не в том, чтобы сказать о достоинствах своего отчего дома, а совсем в другом. Мама была красива, и это обстоятельство, оказывается, очень беспокоило тетушку. Она приходила учить, как нужно ценить мужнину честь. Но попробуй разберись в ее иносказаниях, если в них сам черт голову сломит. Взять хотя бы такие ее слова: «Дурное слово места не займет, но и на земле не залежится», «В воде лягушек может и не быть, но остерегаться следует», «Горечь и сладость знает тот, кто их вкусил, даль и близость — кто много ходил. А кто скажет, что знает птенец, не летавший дальше своего гнезда?».

Тетушка Нубар была старше дяди, ей никто в нашем доме не смел перечить. Она говорила и говорила, пока не уставала, пока не истощался весь запас ее иносказаний. Но, уходя, добрела и улыбалась всеми морщинами на лице.

— Спасибо тебе, невестка. Сразу видать, каким ты молоком вскормлена. От такой, как ты, на мой отчий дом тень не ляжет.

Дядя Багдасар был стар, старее старого, его белые пышные усы уже начинали желтеть, и тем не

[1] Манташев — известный бакинский нефтепромышленник, миллионер.

менее все причитания тетушки Нубар, своей старшей сестры, он терпеливо сносил. И хотя все двусмысленные словечки, высказанные ею в адрес моей матери, кончались неизменно признанием маминых высоких достоинств и верой в ее благочестивость, дядя после ухода тетушки находил нужным предупредить маму:

— Ты больно к сердцу не принимай слова Нубар. Любит она сболтнуть лишнее.

Но каково было мое удивление, когда однажды, слушая разговор дяди с мамой, я вдруг уловил в дядином голосе твердые, холодные нотки. Разговор этот касался меня.

Я уже говорил, что у нас в доме трудились все. Стало быть, трудились и мы, самые маленькие в доме. Один пас корову, другой — теленка-отъемыша. Я же делал что придется. Работы хватало всем.

Всем известно: братья моей мамы богачи — обстоятельство, которое поднимало маму в глазах дяди.

— Если родник чист, вода в низовьях прозрачна. На корню бузины фиалка не растет, — любил приговаривать дядя.

Я уже знал: прозрачная вода — это я. Фиалка — тоже.

Вообще дяде льстило, что он породнился с таким знатным родом, каким является родня моей мамы. Не надо забывать, что не только братья мамы именитые люди, имеющие в самом Мерве торговый дом, но и их отец не из последних, как-никак священник. И дядя любил при случае ввернуть словечко о моих высоких кровях. Но, отдавая должное моему знатному роду, дядя Багдасар не делал мне никаких поблажек. Он считал, что белая кость высокой родни не освобождает меня от повседневной работы по хозяйству, а обязывает быть трижды усердным.

Мама с тревогой следила за мной. Особенно ей не нравилось, когда меня посылали стеречь овец. Она боялась, что я промочу ноги, заболею ревматизмом.



— Пошлите меня вместо него. Я все сделаю.

Вот тогда-то я и услышал холодные нотки в голосе дяди:

— В моем доме мои порядки, Варсеник. Ничего с мальчиком не станет. Как все, так и он. Никаких поблажек. И никому. Белоручек в своем доме я не потерплю. И запомни на всякий случай: засиженное яйцо — всегда болтун.

Я пас овец, ходил за теленком-отъемышем, за коровой, выполнял множество других работ по дому и не помню, чтобы меня жалели, или как-то выделяли, или обошли в чем-нибудь. Как все, так и я. Маму я часто заставал в слезах. Она по-прежнему боялась за меня. Но и теперь, много лет спустя, когда оглядываюсь на прошлое, я вижу наше село, себя на бешено скачущем стригунке, слезы на глазах матери, и мне не хватает слов, чтобы выразить благодарность дяде, преподавшему мне первые уроки сурового, справедливого мужского воспитания.

2

Очень часто я думаю о бабушке Заруи. Бабушка Заруи, моя родоначальница! Как поведать мне о тебе, чтобы люди поверили, чтобы все подвиги, о которых я собираюсь рассказать, не приписали вымыслам пишущего внука?

Вы слышите далекий, приглушенный расстоянием дробный стук копыт? Это бабушка на белом быстроногом скакуне несется на выручку попавших в беду детей — старшего сына, то есть дяди Багдасара, и самого меньшего, моего отца Ишхана, которые стерегли общественное стадо. Дети были малы, дяде Багдасару и двенадцати не было, а отцу и того меньше.

Целый день, пока дети пасли стадо, бабушка Заруи с горы из-под ладони всматривалась вдаль, наблюдая за детьми. Тревожное было время. Вокруг шныряли нечистые люди, для которых угнать скотину — раз плюнуть.

Дети есть дети, хоть и боялись они гачаков — так называли у нас людей, промышлявших на больших дорогах, — а вот взяли да попрятались от жаркого солнца в тени дерева, даже игру затеяли. Тоже мне умники!

Было тихо, звенели кузнечики, коровы, пощипывавшие траву, мирно взмахивали хвостами, отгоняя слепней. Ничто не предвещало близкой беды.

Зазевавшиеся малыши хватились, когда гачаки были уже близко. Подняв рев, малыши кинулись в разные стороны.

Вслед за ними кричали горы, возвращая им собственный крик, но удесятеренный, исполненный ужаса, призыва о помощи.

— А-о-а-о!..

И вдруг — далекий дробный перестук копыт. Минута-другая, и на пригорок, неподалеку от места происшествия, вынеслась женщина на коне. За плечами у женщины торчало дуло охотничьего ружья.

— Не бойтесь... Ваша мать еще не умерла, чтобы презренные воры обидели ее голубков!

С этими словами женщина на полном скаку выхватила из-за спины ружье.

Гачаки — воры, уже овладевшие скотом, и не думали уступать свою добычу. Они продолжали угонять скот.

— Эй, вы! Оставьте коров и уходите с богом! — еще издали крикнула им женщина.

Пришельцы будто и не слышали ее слов.

Женщина крикнула:

— Там, где вы скажете свое, говорите и мое.

И, не целясь, выстрелила под ноги лошади главного среди гачаков, свечой подняв перепуганное животное. Один из гачаков хотел было выстрелить в женщину, но та предупредила его, взвив и под ним коня на дыбы.

— Бросайте оружие, не то перестреляю вас, как собак! — крикнула не на шутку рассердившаяся женщина.

Ворье заробело. Ошеломленное бесстрашием женщины, бросив добычу, убралось восвояси.

Такова моя бабушка, как ее рисуют предания, как мне хотелось видеть ее в своем воображении.

3

— Давай разведем костер в стоге сена, — предложил Армо. — Там-то ветер нас не достанет.

Стояла холодина — не передохнуть. Даже овцы, которых мы пасли, сбились в кучу и жались друг к другу, спасаясь от пронизывающего сырого ветра. Разложить костер в открытом поле было невозможно — ледяной ветер задувал огонь.

— Давай, — сразу согласился я, радуясь находчивости Армо. Даже языком щелкнул от восторга. То ли на год, то ли на два Армо был старше меня, и я во всем повиновался ему. Кроме того, Армо не просто Армо, товарищ, с которым я пасу овец, а еще и Сали Сулейман[1]. Такая кличка на улице не валяется, ее нужно заслужить. Попробуй не считайся с Армо, если он Сали Сулейман. Любой из моих сверстников счел бы за честь быть с таким на короткой ноге. И мы дружим, нас водой не разлить.

Правда, наша дружба имеет иную подоплеку. Армо, как известно, мой родственник. Если хотите, он даже не столько дружит со мной, сколько опекает меня, но все же не каждому выпадает честь быть в дружбе с Армо.

В наших местах владетельные хозяева сено метали большими стогами, иногда в пятьдесят возов, а бывало — и во все сто. Так что облюбованный нами стог был с целый дом. И весь он был в пещерках, больших и маленьких, прорытых с боков скотиной. Скот любит, поедая стожное сено, вгрызаться в середину.

В одну из таких пещерок, в глубине округлого громадного стога, мы и перетащили собранный хворост. Армо прав — тут уж нас ветер не достанет, не задует костер!

Сухие ветки, защищенные со всех сторон от ветра, занялись веселым, быстрым огнем. Но вместо тепла я вдруг ощутил удушье. Меня душил дым

Не помня себя, я выскочил на воздух. Вслед за мной выбрался Армо, кашляя, давясь дымом. Мы не сразу поняли, что наделали.

Еще минута-другая, и где-то наверху, у самого стожара, закурилась тоненькая струйка дыма. Дымок этот, подсвеченный языками пламени, угрожающе нарастал, поднимался все выше и выше.

Мы с ужасом смотрели в сторону села. Не приведи бог, если там хватятся. Но дым уже не курился, а валил и валил, как из исполинской цигарки. Надо бы-

[1] Сали Сулейман — известный в Азербайджане силач.

ло что-нибудь придумать, как-нибудь скрыть от села этот дым.

— Тащи лестницу. Заберемся на стог, завалим дым сеном! — прокричал мне в ухо Армо.

И я опять поверил в спасительную выдумку товарища и притащил лестницу. Но лестница рухнула, проломив тонкую стенку еще не обгоревшего сена, разом взметнув в небо клубы дыма и огня. Скрыть дым сеном не удалось. Из села уже бежали люди...

4

Мама часто получала письма от своих братьев. Братья уговаривали ее переехать со мной в далекий Мерв, где нас ждала безбедная жизнь. Иногда приходили от них и посылки.

Писем мама никому не читала, а посылки открывала с каким-то азартным любопытством. Братья не жалели для меня и мамы ничего. Особенно для меня. В то время, когда во всем классе была одна резинка и то отрезанная от старой галоши, когда ни у кого из учеников, даже постарше меня, не было тетрадей и карандашей, у меня дома лежал целый набор разноцветных карандашей, букварь, резинка, чернильница-непроливайка, тетради в линейку, тетради в клетку и разные сладости. Сладости я, конечно, раздавал, а тетради и разные школьные принадлежности оставлял себе. Я пока в первом классе. Они мне еще пригодятся.

Подарки получала и мама. Дядя еще не так богат, чтобы одеть нас хорошо. Плохо одевается и сам. На нем старый бешмет, латаный-перелатаный. В чиненом-перечиненом платье ходит и тетя Марго.

И вдруг у мамы такая обнова — платье без единой латки, да еще отделанное каракулем. Ей-богу, в таком платье в пору щеголять жене Манташева, не меньше. А как шла маме эта заморская обнова, присланная из далекого Мерва! Но мама не стала носить ее. Только раз я видел ее в этом платье! Это когда она получила посылку и примеряла платье перед зеркалом.

Однажды мама, открыв очередную посылку, радостная, позвала меня:

— Смотри, Тик, что прислали тебе твои дяди!

Я никогда не видел маму такой счастливой. Она достала из ящика синюю красивую фуражку с черным блестящим козырьком и белым кантом, какую носили в городе гимназисты. Один за другим мама извлекала подарки.

Я посмотрел на себя в зеркало. Передо мной стоял незнакомый гимназист с двумя рядами серебряных пуговиц на обшитой золотом тужурке, с блестящим гербом на фуражке. И этот гимназист был я.

Вечером собрались братья, сестра. Они заставили меня пройтись перед всеми в своей обнове. Я прошелся с каким-то глупым форсом, выпятив грудь.

Под потолком ярко горела лампа-молния, и я весь сиял в золотом потоке света.

Братья поцокали языками от восхищения. Арев тоже понравился мой костюм. Она все жмурилась от ярких красок на мне и никак не могла наглядеться. Наконец Арев обняла меня, поцеловала.

— Вот хорошо, — приговаривала она, не отводя от меня восхищенных глаз. — Теперь у нас будет брат — белая ворона.

Я плохо понимал слова, мысли мои были далеко. Я видел себя среди своих однокашников, видел, как они, разинув рты, смотрят на меня. На меня смотрит с завистью даже Армо, наглядевшийся в своем Баку не на такие виды. Весь Шушикенд смотрит на меня — кто с завистью, а кто с восхищением.

Я еще и еще раз прохожу перед братьями и сестрой с прежним глупым форсом. Братья не нацокаются от восторга. Сестра Арев радуется больше всех. Но я вижу в ее глазах плохо скрытую отчужденность. Такую же отчужденность я уловил в восхищенных глазах братьев.

Я перестал выламываться, запоздало предложив братьям примерить мою гимназическую форму. Но ни на ком она не сидела так, как на мне.

Утром, когда я стал собираться в школу, мама радостно протянула мне новые ботинки, форму.

Но я нашел в себе силы отвернуться от них.

— Я пойду в школу в своей старой одежде, мама. Мне она больше нравится, — твердо сказал я.

Мама ничего не поняла и все пододвигала и пододвигала ко мне то ботинки, то форму.

— Не надену,— сердился я, пряча лицо от обжигающей глаза обновы.— Дай мне трехи[1] и старую рубашку.

Мама все настаивала на своем, а я все хныкал и отнекивался.

Дядя, подслушав наш разговор, усмехнулся в усы, сказал:

— Подай, Варсеник, что мальчик хочет. У него, кажется, голова не саманом набита.

5

Хотя я еще не умею как следует читать, но уже разбираю все слова яркой вывески, красующейся над дверьми сельской лавки, где можно купить все, начиная от керосина до бухарского кишмиша или конфет-подушечек с миндальной начинкой. Если ты умеешь читать, а тем более по-русски (вывеска была на русском языке), в лавку и заходить не нужно. Тебе обо всем расскажет вывеска: и что есть в лавке, и чего в ней нет, и никогда не будет. Что скрывать, слабы были мои шушикендцы по части грамоты (зачем стесняться в выражениях: вывеску эту никто не читает). Должно быть, братьев Аванесбековых не очень смущало это обстоятельство. В конце концов не это важно в вывеске. Важен ее внешний вид. А на вид не пожалуешься. Не вывеска, а целое светопреставление. Еще бы! В самой Шуше писалась! Художники, создавшие ее, разумеется, не полагали, что она увенчает захудалую сельскую лавчонку, и старались изо всех сил. Ей бы украсить вход большого магазина в городе, а она прозябает здесь, над этой дырой, именуемой магазином. Да и насчет братьев Аванесбековых... Был седой, весь сморщенный старик, который с утра до позднего вечера сидел за прилавком и, слюнявя химический карандаш, озабоченно выводил цифры-каракули. Ходжа Аванесбек — кто его не знает?

Ходжа у мусульман — человек, побывавший у гроба пророка. Но Аванесбек не был мусульманином.

---

[1] Трехи — самодельные лапти из сыромятной кожи.

Этот титул прицепили к нему скорее всего иронически, намекая на не совсем благопристойные пути его обогащения. Дескать, любуйтесь святой, у пророка побывал, а надувает почище грешных... Впрочем, это, должно быть, устраивало и Аванесбека. Как там ни говори, а сан, священный сан, пусть даже мусульманский. Такое не каждому навешивают.

Да, насчет братьев... Правда, в селе у Аванесбека была обширная родня: по крайней мере многие набивались к нему в родственники. Со многими Аванесбек поддерживал родственные связи, особенно если те преуспевали в жизни, выбивались в богачи, но братьев не было. Чего не было, того не было.

Аванесбек частенько привозил товары на арбе в бумажных мешках. И я заметил: мальчишки постарше меня охотно помогали ему разгружать арбу. От меня не укрылось и другое: ребята, перетаскивавшие с арбы мешки, за услугу награждались конфетой, той самой подушечкой, которая снилась не одному мне в Шушикенде. Подкараулив как-то арбу Аванесбека, я подкрался к ней. Мешки на спины ребятам водружал сам лавочник. Выбрав удобный момент, и я подставил под мешок спину, предусмотрительно привстав на носки, чтобы показаться выше ростом. Аванесбек недоверчиво оглядел меня и мою спину, но через мгновение все же взгромоздил на нее тяжелый бумажный мешок. Я качнулся под тяжестью, но удержался на ногах. Следующий мешок я нес уже увереннее, Аванесбек не разглядывал мою спину, он привык к ней.

Арба разгружена. Настало время расплачиваться. Аванесбек действительно одарил меня подушечкой, завернутой в хрустящую бумажку. Мне бы, как всем остальным мальчишкам, помогавшим разгружать арбу, повернуться и уйти, зажав в ладони вожделенную добычу, а я возьми и брякни:

— Дядя, я не один. У меня сестра и трое братьев.

Лохматые брови лавочника разлетелись в стороны.

— Молодец, мальчик. Так и следует поступать настоящему игиту[1], не лакомиться одному, если братьям

---

[1] Игит — герой.

и сестре не достается. Вот отработаешь за всех, тогда полакомитесь все.

И проворно, как фокусник, выхватил из руки у меня конфетку.

Я шел домой обескураженный, подавленный, словно у меня за здорово живешь выманили жар-птицу, которую я только что держал в руках...

6

Занятый собой и своей родословной, я совсем позабыл о тех, кто составляет историю Шушикенда. Начнем с Бахши. Сейчас он немощный старик, коротающий свои дни на шенамече,—ничего более. Конечно, как всякий шушикендец, посмеивается над остроумными проделками Багира, но когда речь заходит о возрасте, того в счет не берет, называя его мальчишкой. Не спрашивайте, сколько Бахши лет. Свидетелей его рождения в Шушикенде нет. Сколько скажет, столько и будет. Кто ему судья?

А когда-то, наверное, блистал молодостью, статной фигурой, был пригож лицом, удачлив, на него заглядывались. Это он в молодые годы очаровал сестру известного бакинского богача, женился на ней; осчастливленный столь удачной сделкой, переехал на жительство в город, а через месяц-другой, не ужившись с богатой родней, вместе со своей благоверной вернулся в село и здравствует поныне в нашем славном Шушикенде, окруженный внуками и правнуками. Сейчас он улыбчивый, покладистый, словоохотливый. Дед как дед. А тогда, когда он только женился... Был зелен, горяч. За месяц он успел переругаться со слугами, даже замахиваться на них, а заодно и на хозяйских сынков стал. А затем дал тягу.

Вот как это было. Жена, желая чем-нибудь занять в городе мужа, попросила брата пристроить его к работе.

— Хорошо, сестра,— согласился брат,— если ты думаешь, что так лучше, пусть работает. Я распоряжусь.

И Бахши принялся за работу. На его обязанности лежало по утрам открывать все магазины хозяина на

Телефонной улице, а вечером закрывать. Работа была не из трудных, он поворачивался быстро и тотчас же, бренча ключами, спешил домой.

Жена встречала его упреками.

— Стыда у тебя нет. Хоть для вида на людях поторчал бы,— говорила она.

Однажды Бахши вернулся домой раньше обычного.

— Ты уже успел обойти все магазины? — удивилась жена.

— Нет,— ответил Бахши,— я сегодня не буду работать.

— Это почему же не будешь работать?

— Весь город бастует, жена, как я один выйду на работу?

— А что они хотят, эти забастовщики? — любопытствует жена.

— Они хотят восьмичасового рабочего дня.

Жена всплеснула руками.

— И ты требуешь того же...

Но муж не дал договорить.

— Послушай, жена,— сказал Бахши, сгибая палец за пальцем.— Бланца Маркоса знаешь ведь, нашего земляка, что у Нобеля тартальщиком на промысле работает? Бастует. Аршак Севунц из Каракенда — бастует. Газиев из Гацы, что у нефтепромышленника Абдулаева работает,— тоже бастует. Все карабахцы бастуют, как же я могу отстать от них, позорить Шушикенд? Чем мы, шушикендцы, хуже Гацы или того же Каракенда?..

Пусть читатель простит меня, если я время от времени буду возвращаться к давно прошедшим дням, к событиям, которые происходили до меня. Я так слился с ними, что порою трудно отличить то, что я видел, что было при мне, от того, о чем я только слышал.

Забастовщик Бахши, о котором ходят по селу забавные россказни. А там на очереди, конечно, мой родич, блаженной памяти Чопур[1] Григор и многие другие обитатели нашего села, без которых немыслим сколько-нибудь серьезный разговор о Шушикенде.

Всему свой час. Здесь же, не медля, пока меня не уличили в излишней расточительности, я хочу пред-

---

[1] Чопур — конопатый, побитый оспой.



ставить вам человека, с которым мы еще не раз столкнемся в нашем повествовании, вместе с вами посмеемся над его шутками-прибаутками, если хотите знать, посочувствуем его неудачам, его неумелым уловкам скрыть от чужого глаза свои постоянные заботы о хлебе насущном...

Человек этот — возница Багир. Собственно, он теперь никакой уже не возница. Возницей он был лет

двадцать тому назад, когда у него в конюшне стоял молодой конь, быстроходный жеребец, на котором за хорошую мзду дети имущих катались вволю или ездили в Шушу погарцевать перед городскими девушками. А чуть позже, когда конь начал стареть, Багир таскал на нем в богатые дома дрова или возил чужое зерно на мельницу.

Пока лошадь жила, кое-как передвигала ноги, был сыт и Багир. Не во имя же святых мощей предков он прислуживал богатым? А когда в доме есть хлеб, есть очаг, есть во что одеться да еще к обеду кусочек сыра — грех гневить бога, — какой может быть разговор о бедности?

Есть в каждом горном селе местечко, где собираются старики скоротать вечер: самому слово сказать, другого послушать, обменяться новостями, перемыть чужие косточки. Такое место имеется и у нас в Шушикенде. Шенамеч — так называют это место.

Сейчас, под вечер, время неторопливых бесед на шенамече. На самом почетном камне сидит горбоносый старик, дымя трубкой. Даже сквозь дым его не трудно разглядеть: моложавый, но уже перевидавший виды, сухой, жилистый, с хитринкой в острых глазах. Это и есть наш Багир, человек досужий, бывалый, большой охотник до всяческих забав, отменный говорун и острослов. Не выпуская трубки изо рта, Багир о чем-то оживленно рассказывает, его слушают такие же, как он, старики, то и дело обнажая красные твердые десны.

Казалось бы, с чего ему веселиться и других веселить, если его кормилец уже не кормилец, еще больше состарился, даже стал обузой для него? Но нет, Багир не был бы Багиром, если бы неудачи закрыли ему рот. Наш возница тем и славен в Шушикенде, что он шутник и заводила раз и навсегда, при любой погоде и невзгодах.

Немного выше я говорил об Аванесбеке. Помните, вздорнейший мелкий торговец, пришлый человек, так нехорошо поступивший со мною, выманив у меня конфетку... Скажете, обыкновенная шушикендская история?

По правде сказать, Аванесбек — это так себе, не история. Настоящая история — как там ни крути ни

керти — это все-таки возница Багир, удостоившийся чести, уже без дураков, занять место в летописи Шушикенда. Добрый насмешник по натуре и на редкость неудачливый. Судите сами. Человек день и ночь в заботах, руки без работы не держит, а толку от его стараний никакого. Самый что ни на есть неимущий человек во всей округе.

Но что богатство по сравнению с тем, чем наделен наш пересмешник. Прежде всего у него неожиданно черные без седины волосы, которые молодят его. Напомним, когда он появился на свет, не было в селе грабового дерева. Теперь этому дереву за сто. Подсчитайте, сколько нашему вознице лет.

Живя в Шушикенде, нельзя не знать Багира, его были и небылицы. Я хоть и мал, но шушикендец и, как всякий шушикендец, напичкан разными россказнями о нем. Про него верно сказано: Пулу-Пуги![1] Ну что нам про него говорить, неумело представлять, когда он сам может очень просто предстать перед вами. Дай ему только слово. Постойте, здесь нужен регламент. Вы нашего шушикендского Пулу-Пуги не знаете. Начнет свои побасенки, конца им не будет. Давайте зададим ему тему: поведать нам о том, как он обдурил самого царского урядника. Впрочем, такие же шоры нужны и мне. Я тоже иногда люблю попросторнее, посвободнее рассказывать, говорю, может быть, много лишнего. Заранее прошу извинения, если я зайду слишком далеко. Как-никак я ведь шушикендец, с дедушкой Багиром в родстве состою, из одного села.

Итак, возница Багир. Шутник и заводила. И был у него конь, который, как мы уже знаем, давно состарился, стал обузой для него. Это я про тот случай, когда наш Пулу-Пуги обдурил урядника. Состарившегося коня Багир не прогнал со двора, как сделали бы другие, а решил кормить, пока не околеет.

В тот год шла война и коней забирали на войну. Состарившийся конь Багира, конечно, не понимал, какая опасность висела над его головой, и как ни в чем не бывало, беспечно помахивая хвостом, пощипывал траву своим беззубым ртом среди поля и даже иног-

---

[1] Пулу-Пуги — известный в Карабахе шутник и острослов.

да, позабыв о возрасте, поднимал старую голову и начинал ржать. А тут как на грех мимо села проезжал урядник. Услышав ржание, он завернул в село. Немедленно был вызван Багир.

— Это у тебя конь?

— Да,— ответил Багир.

— На комиссии был?

— Моему коню двадцать три года. Он служить в армии не может.

— Не твоего ума это дело, старик,— заявил урядник.— Веди его сюда.

— Хорошо, я приведу его,— согласился Багир и ушел.

Тем временем вокруг урядника собрались крестьяне. Они знали своего Пулу-Пуги, его веселый нрав и, подталкивая друг друга, ждали новой выходки.

Багир вернулся. Он приближался медленно, таща за собой веревку. Остановившись перед урядником, Багир стал тянуть и сматывать в клубок веревку.

— Где конь?— спросил урядник.

— Сейчас будет,— спокойно ответил старик, продолжая тянуть веревку.

Наконец из-за дома с другим концом веревки на шее показалась ребристая, лохматая лошаденка. Она тащилась, едва передвигая ноги. Позади нее шел мальчишка. Он подгонял старую лошадь хлыстом и злился, что его заставляют возиться с этой клячей.

— Где конь?— заорал вконец сбитый с толку урядник.

Багир подошел к лошади и, обняв ее облезшую шею, сказал ей, как близкому человеку:

— Друг мой, станцуй лезгинку. Господину не нравится, что ты такая невеселая!

Раздался смех.

Урядник вскочил в седло и ускакал прочь, преследуемый улюлюканьем крестьян...

Если хотите знать, вот каков он, наш возница дедушка Багир!

7

Дядя Багдасар разбогател сразу, после одной удачной поездки в Баку, где он сбыл большую партию вина. На вырученные деньги он начал строить себе дом.

Вот он стоит, наш дом, попробуй не считаться с ним, если у него три окна только по фасаду. Стальной гребешок, вбитый у каменного крыльца, чтобы, входя в дом, вытирали ноги — тоже не у всех найдешь. Раньше мы жили в развалюхе с железными решетками вместо окна, теперь живем в доме со стальным гребешком у крыльца, с петушками на коньке. Все как надо, как подобает в состоятельных домах. Деревенские мальчишки, перебирая по пальцам красивые дома Шушикенда, будьте покойны, не сбросят такой со счетов.

Может быть, вы еще спросите: как же с дурным глазом? Как он терпит такой дом, не сглазит его? А никак! Ведь я и тогда понимал, что дурной глаз ни при чем. Я просто не хотел прибедняться. Зачем людям знать, что мы бедны? Сказывают же, что богатых дурной глаз боится, зуб неймет. А мы богатые.

Мой дядя разбогател. Вы так и ждете от меня рассказа о том, как он переменился, почувствовав запах денег, потерял голову и принялся душить своих и чужих, лишь бы выгнать лишнюю монету. Ничего похожего. Мой дядя, казалось, знал, что я потом о нем буду писать книгу, и решительно не хотел быть таким, каким любят изображать в литературе людей вроде него. У него, во-первых, не вырос живот. Во-вторых, он не собирался никого душить. Жадным тоже не стал. Вообще сбил меня, уже взрослого, с толку.

Если богачи — люди жадные, прижимистые, то как тогда понять такой факт? Это было совсем недавно, когда строился наш дом. Работники, занятые строительством, харчились у нас. Ели мы вместе с ними. Однажды, когда они, поев, ушли, тетя Марго подала нам знак, чтобы мы не вставали из-за стола.

— Что такое? — спросил дядя.

— Ребятишкам я плов сготовила,— ответила тетя Марго, поставив на край стола медную кастрюлю в клубах белого пара.

Дядя пососал седые усы, нахмурился. Он всегда посасывал усы, когда сердился. Тетя Марго не стала раздавать нам плов. Она хорошо знала дядю.

Дядя, кряхтя, поднялся, подошел к кастрюле, окутанной манящим белым паром, и только ее и видели — выкинул во двор...

А с какого бока подклеить к образу богача другой его поступок, также врезавшийся мне в память?

Выдался неурожайный год, и в Шушикенде не собрали ни зернышка. Дядя был запасливый, у него хранился хлеб, зарытый в землю. Когда у шушикендцев иссякли запасы и стало ясно, что не все вытянут до нового урожая, дядя собрал односельчан.

— У меня есть хлеб. На черный день припрятал я его,— сказал он им.— Поделимся. Вернете, когда сможете. Люди же мы.

И показал место во дворе, где зарыт был хлеб.

Хлеба нам в этот год не хватило на две недели до нови. Как и все шушикендцы, это время мы перебивались как могли. Голодали как все.

Я уже вижу улыбку на вашем лице, приятель. Готовы даже ярлык прицепить — дескать, типичный апологет... Вырос на харчах богача и теперь всячески старается обелить его, выставить этаким благодетелем, не ведавшим наживы. Ай-ай! Какие слова. Видите, опять торопитесь. Придется снова напомнить известную поговорку: «Не торопись, дружище, спрашивать. Торопись слушать».

● ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Признаюсь, мне приятно, когда меня отличают, хвалят мои какие-то особые достоинства, мое умение скакать на коне не хуже Армо, не хуже взрослого трясти туту, вязать снопы, если можно, самому жать, метать сено в стога, выполнять работы, которые не каждому взрослому по плечу, не говоря уже о моих братьях, которым расти и расти до меня.

— Орленка в скорлупе узнают, — подзадоривает меня дядя Гегам. — Кто еще из малышей Шушикенда может так ловко трусить тугу? Я такого не знаю. А ну, Тик, полезай вон на то дерево!

У дяди Гегама еще одно любимое словечко — «аферим», что у него означает крайний восторг и одобрение. Вот этим словечком он любит в минуты душевного подъема награждать меня.

— Аферим! Орленка в скорлупе узнают.

Такие слова, конечно, кружат мне голову.

И вот я на самом высоком дереве. Сюда я забрался с та́ком — короткой, толстой дубинкой, которой сбивают туту. Карабкаясь по веткам, как заправский трусильщик, я несу так за ремешок, захлестнутый через мою руку. У основания так обмотан тряпкой — чтобы не натереть мозоль на ладони. Но мозоли на ладони

у меня все-таки есть. Я еще не научился как следует с ним обращаться.

Фу, ведь какое дьявольски неудобное дерево — без спасательных сучьев, за которые хватается трусильщик, передвигаясь по веткам. Стараясь унять дрожь в коленках и поругивая Гегама почем зря, я аккуратно сбиваю туту с каждой веточки. Искусство трусильщика в том и заключается, чтобы, сбивая туту с ветки, ударять по одним и тем же местам, избегая новых ран на ветке от ударов. На ветке есть наросты-мозоли, которые образовались на них от прежних ударов. По этим мозолям и надо наносить свой удар. Это не опасно, они притерпелись к ударам и легко переносят новые.

А трясти надо все ветки так, чтобы не оставлять ни одной спелой ягоды на дереве. И самое главное, сбитые ягоды должны попасть на натянутое под деревом полотнище. Промахнулся, направил ягоды мимо полотна, какой из тебя работник! Мазила, а не трусильщик.

Сбив с толстых веток все ягоды до последней, я, ликуя, спускаюсь с дерева.

Гегам осматривает обтрушенное мною дерево, цокает языком.

— Аферим! Я уже говорил... Орленка в скорлупе узнают.

Мама моя тут же, держится за угол полотнища. Она меня не удерживает, когда я лезу на самое высокое дерево. Но, видит бог, как она страдает.

Мне очень жаль маму. Она никак не может привыкнуть к крестьянской работе. В Мерве, у богатых братьев, ей, наверно, жилось бы куда лучше. От солнца на лице у мамы вечные пятна. Они очень портят ее красивое лицо. Но я думаю, что еще больше портится она от страха за меня. Прости меня, мама, я очень плохо берег тебя. И слишком поздно оценил твою безответную кротость.

С моих ладоней все лето не сходят мозоли от така. И вовсе не потому, что я не научился как следует орудовать им. У всех трусильщиков, даже постарше меня, на руках такие же мозоли. Трудовые мозоли!

Разве, мама, это тебя не трогает? И не только за туту похваливает меня дядя Гегам. Ты бы посмотре-

ла на меня, мама, когда я сижу на перемычке ярма во время пахоты. Кто не знает, земля наша не лебяжий пух, то и дело плуг цепляется за разные коряги, камни, и тогда все пять пар быков, запряженных цугом, горбятся от натуги, а бывает, вырывают плуг вместе с корнем или камнем и устремляются вперед и иногда даже падают. Надо быть очень ловким, чтобы в таких случаях не слететь с ярма, удержаться на перемычке, и как ни в чем не бывало, пересилив заминку, подхватить прерванный оровел — извечную песню пахаря, без которой немыслим погонщик. Да, мама, я умею петь оровелы, какие поют на пашне, и слова их сочиняю сам. Так принято. Главный погонщик — он же запевала, сочинитель. А я главный погонщик из всех моих братьев.

Я мог бы еще рассказать, мама, как я постигаю навыки верховой езды, у кого я учусь пейсу, посылу, сборке и другим ее премудростям, как Гегам похваливает меня за мои оровелы, но я вижу — это тебя не радует. Наверно, трудно быть матерью, мама.

2

Посмотрите на этого теленка-годовичка, преспокойно щиплющего траву. С виду безобидное существо на неуклюжих голенастых ногах, ничего более. Но это только с виду. Это безобидное существо полно любопытства и желания взбрыкнуть и побежать, побежать куда глаза глядят. И это может произойти вдруг, в одну минуту. Для этого нужно только, чтобы над головой тоненько прозвенел овод...

Бедная моя мама. Она боится, когда я забираюсь на дерево, трясу туту. Что бы она сказала, если бы увидела эту разбежавшуюся скотину! Надо иметь поистине железные ноги, чтобы потом собрать такое стадо.

Но пусть мама особенно не беспокоится. Я не один пасу стадо, со мной Армо. Если хотите, он и пасет свою корову с нашими, чтобы помочь мне. А с Армо не пропадешь. Правда, у всех на памяти случай, когда мы так по-глупому подожгли скирду. Но когда это случилось? Когда мы были совсем сосунками. Как-

никак разница есть. Да и тогда Армо вел себя, как мужчина. Он выгородил меня, маленького, перед разъяренным хозяином сгоревшего сена, сразу взял на себя всю вину. Правда, я не таился. Не скрывал своего участия. Не моя вина, если все орали друг на друга, стараясь потушить огонь, и никто не услышал моих слов, не обратил на меня внимания. А Армо попало. За двоих. Всю злость сорвали на нем, сурово и беспощадно отделав и ремнем и кулаками. Может быть, кончилось бы даже отсидкой — владелец сгоревшего стога был как на грех злющий мужик, — если б не дядя, взявшийся возместить убытки. Он знал всю правду о поджоге.

Но к чему сейчас эти воспоминания? Кто не знает, что Армо покровительствует мне, опекает? Был бы Армо мне чужой, разве связался бы он со мною, если у меня целое стадо, а у него всего лишь одна корова?

Когда последний отъемыш-годовичок, взбрыкивая, скрылся из глаз, Армо неожиданно весело сказал:

— Вот и хорошо. Было стадо, теперь его нет. Испугались маленького звонаря. Вояки. Пусть побегают, если им так нравится. И мы без дела не останемся. Сходим на Орлиную скалу. Я нашел там инжировый куст. В жизни не ел такого вкусного инжира.

— А коровы? — спросил я, облизнув губы.

— А что с твоими коровами станется? — посмеялся Армо. — Слава богу, они не без присмотра. За нас похлопочет овод. При таком подпаске они не потравят ничью ниву.

— Ясно, — поспешил заключить я, хотя ничего ясного не было. Обезумевшая от преследований звенящей твари, скотина чего только не наделает. Бывает, что, спасаясь от овода, она даже в пропасть бросается.

— А ты не врешь? — спросил я все же.

— Не сойти мне с места, — поклялся Армо. Потом, должно быть вспомнив о своем возрасте, вдруг заважничал: — А чего я уговариваю тебя? Все равно ты не пойдешь. Побоишься забраться на скалу. Лучше я схожу один. Еще свалишься.

— Свалюсь?! — от обиды у меня потемнело в глазах. Я совсем позабыл о стаде и коротко отрезал: — Сходим!



А через минуту, карабкаясь вверх по опасной, скользкой круче, поругивал себя за браваду. Ну кто из-за инжира забирается на такую высоту? Свяжешься с этим Армо, потом беды не оберешься.

Из-под ног с шумом срываются камни. Они долго катятся по крутому склону и с глухим стоном падают в пропасть. Я боюсь смотреть им вслед. В любую минуту я могу оказаться в их положении. Готов спорить,

что у Армо на душе тоже несладко. Кому охота катиться под гору? Но я первый не пожалуюсь. Я не трус. Я, конечно, с радостью вернулся бы с полдороги, заикнись только Армо на этот счет. Сам заварил кашу, сам пусть и расхлебывает. Черт бы побрал этого Армо! Никакого инжира здесь, наверно, и нет. Он просто придумал все это, чтобы посмотреть, каков я есть, Тигран Арустамян, чего я стою.

Но инжирный куст есть. Вот он, висит на скале, словно приклеен к ней. Есть даже хорошо пробитая к нему тропинка. Видать, к этому кусту дорогу знает не один Армо.

Будь что будет, вслед за Армо пробираюсь к инжировому кусту и я. Но напрасный труд, до нас здесь побывали другие верхолазы. Только кое-где, среди лапчатой листвы, выглядывали инжирины — угольно-черные, похожие на маслины плодики — и то потому, что они на самой высокой ветке, до которой не так легко добраться. Армо очень ловко сорвал эти инжирины и ровно поделился со мной. Рот сразу наполнился сладким, покалывающим язык соком. Съев инжирины, мы нашли укромное местечко в тени куста и присели передохнуть.

Только сейчас я заметил, как мы высоко забрались. Неподалеку от нас на краю обрыва висит какое-то сооружение из сучьев и глины, с целый дом. Это гнездо аиста. Вот обитатели гнезда. Уже большие птицы, а такие несмышленыши: устроили громкую возню из-за какого-то червячка, вырывают его друг у друга, нисколько не стесняясь нашим присутствием. И только мать косит глаза в нашу сторону, взмахивая аршинными крыльями, то и дело поднимается в воздух, но не высоко. Скорее по обязанности — надо же научить молодежь осторожности.

И вдруг отчетливо слышу жалобный писк. Армо тоже прислушивается. Оказывается, это взывает о помощи лебеденок-поздняк, нелетный и, по-видимому, одинокий. Должно быть, хищники уничтожили весь выводок вместе с матерью, и только он один уцелел от обширного семейства. Мне стало жаль птицу. Она каким-то чудом держалась у самого края скалы, в любую минуту могла сорваться и полететь в пропасть.

— Подожди меня здесь, — сказал Армо, смахнув с головы картуз.

Не успел я что-нибудь сказать, как Армо лег животом на плоский камень и пополз по скале к краю выступа, где лежал лебеденок, большой серый комок, еще не одевшийся в свой белый лебяжий наряд.

Я от ужаса закрыл глаза. Но когда открыл их, Армо уже с птицей в руке шел ко мне. Лебеденок был жалкий, перепуганный.

Мы, конечно, несказанно обрадовались находке. Совсем позабыв о своих коровах, пустились на поиски червячков, чтобы кормить птицу. Она оказалась такой прожорливой, что, наверно, проглотила бы всех червяков на свете и то не насытилась бы. Очень проголодалась без родителей.

Уже темнело, когда мы вспомнили о коровах. Осторожно передавая друг другу находку, спустились с горы. Теперь овод уже не мог преследовать скотину. Его время прошло.

Коров мы нашли в разных местах и собрали вместе. Но в стаде недосчитались теленка-годовичка с белой отметиной на лбу. Искали по всем балкам и буеракам, окликая его по имени, нигде не нашли. Пришлось погнать стадо в село без пропавшего теленка.

Мы брели, понурив головы, подавленные сознанием своей вины. Лебеденок нас уже не так радовал. Дорогой ценой он достался нам.

На краю села нас встретил Аванес, мой брат. Я насторожился — никогда раньше Аванес не выходил мне навстречу. Брат стерег овец, у него всегда все было в порядке, а со мною вечно происходили какие-то истории. То корова не доест, то переест, то наестся зловредной травы, вздует ее так, хоть кати под гору. И Аванес всегда злорадствует, когда со мной стрясется какая-нибудь беда. Нет сомнения, что он уже знает о случившемся.

— Что это, Тик, теленка с белой отметиной не вижу в стаде? Уж не променял ли ты его на эту птицу? — говорит он мне, а замурзанное лицо его так и сияет от злорадства.

— Теленок-отъемыш пропал, нигде не могли его найти! — отвечаю я виновато.

— Плохо искал, Тик. Очень плохо. Если бы ты не гонялся за разными поздняками, ты бы его не потерял.

Я на Аванеса не злюсь Знаю, его сейчас больше занимает собственная персона, чем моя беда. Он и сует людям в глаза мои недостатки, чтобы возвысить себя, показать всем свои достоинства.

— А я знаю, где потерянный теленок, — вдруг заявляет Аванес.

— Где?

— Я видел его у Барсова ущелья, на перелогах.

— Ты видел его и не пригнал с собою?

— А зачем мне это нужно? Я не коров пасу, овец.

Я все равно не злюсь на Аванеса. Спасибо и на том, что он сказал, где искать теленка.

Передав птицу Армо, я повернул обратно. Аванес на полпути догнал меня.

— Ладно, пойдем вместе. Тебе одному не найти.

Я посмотрел на брата, улыбнулся. Я знал: как бы он ни злорадствовал, увяжется за мною, не оставит меня одного в беде.

3

Нас, шушикендцев, я забыл сказать, еще дразнят жестянщиками.

Это верно. В Шушикенде не найти крыши, под которой не ютился бы какой-нибудь мастеровой. Тут тебе и колесных дел мастера, и шорники, столяры, бондари. Ну и жестянщики, не без того. Даже такие, которые умели никелировать, ловко превращая медные самовары в серебряные.

Но когда речь заходит о Шушикенде, почему-то прилепляют к нему слово «жестянщик». Будто он весь состоит из жестянщиков. Это кроме той клички, которую наш бедный Шушикенд, что поделаешь, уже носит. Клички, которая, будь она неладна, так приросла к нему, что, если отчистить ее, ей-ей, он обеднеет. Вернее, станет другим, не тем, каким мы знаем его, обязательно с приставкой — тапан утох Шушикенд. А теперь этот жестянщик. Ну и пусть. Подумаешь, жестянщик — обидели. Если на то пошло, это еще не самые обидные клички. Припомним-ка, какие прозви-

ща носят наши не очень далекие соседи. Крапивники — это про Авдур, где проживают дед и бабушка по матери. Куда мы с Армо частенько заглядываем. Подумать только! Там растет такая груша, одно объедение, как маланчени, а они ему дали такую кличку. Или взять Ашан — другого нашего соседа. Правда, сам Ашан, как, впрочем, все наши селения в Карабахе, лепится к склону горы, но у него на редкость хорошая земля, расположенная в долине, где растет все, начиная от туты, кончая сладчайшим виноградом, где растут разные овощи — огурчики, помидоры, ну и чеснок, конечно, в том числе. А прозвище дали какое: чесночники. Разве это справедливо? Есть даже село, которое носит прозвище: «Заряд дроби». Раздери меня гром, если я что-нибудь смыслю в этой тарабарщине, в пристрастии карабахцев лепить клички, взятые прямо с воздуха, при их великой любви к своей земле, к людям, населяющим ее.

Другое дело, когда клички даются людям. Там, как говорится, и камыш не шелохнется без ветра, зря не навешают. Взять хотя бы нашего могильщика, которого все называют Колот-Сепух. Был в Шушикенде такой недотепа, коптил его воздух. Колот — презрительное прозвище. Могильщика Сепуха не уважали в Шушикенде, хотя старики охотно при жизни заказывали ему надгробия, выбивая на нем год рождения, кто был, чьих родителей сын, оставив только место для печальной даты.

К слову сказать, Колот-Сепух частенько прикладывался к рюмке. Однажды он так нализался, что, добравшись до своего дома и увидев у ворот жену, обратился к ней с такой речью:

— Соседушка-сестрица, не откажите в любезности показать, где здесь живет Колот-Сепух.

Хотел бы все-таки узнать: это почему, когда у нас изъян, на, получай, кличка с подковыркой уже готова, а как что-нибудь хорошее, куриная слепота одолевает, не видим, будто его, этого хорошего, и не было.

Шушикенд, весь Карабах знает, богат не только жестянщиками, не только любителями потрохов, хотя ни в том, ни в другом я не нахожу ничего предосудительного. Хороший жестянщик — это что-нибудь да стоит, особенно когда ты строишься, а от хаша, при-

готовленного из потрохов, ей-же-ей, не отказался бы самый отпетый недруг Шушикенда.

Правду говорю, не будь этой предвзятости, этого желания хулить нас, каких только историй не вспомнили бы во славу нашего Шушикенда.

Смешно даже подумать. Будто не здесь, в этом бесславном Шушикенде, провековал свой некороткий век любимец Карабаха, страстный поборник справедливости, старшина Арзуман, тот, кто вместе с моим дедом выпроваживал из Шушикенда не одного посрамленного гусана. Это раз А куда денешься от шушикендских остряков, слава о которых гремит по всему Карабаху? Или взять хлебосольство моего дяди. Кто в Карабахе не наслышан о нем?

Если все это честно, без дураков, почему же, раздавая клички, не вспомнить какую-нибудь из этих историй? Разве они не украсили бы Шушикенд?

Фу, черт, и надо было случиться такому именно сейчас, когда я с пеной у рта доказываю несправедливость кличек, приклеенных к нашему славному Шушикенду! Об этой истории теперь наслышан весь Карабах, хочу я того или нет, не волен умолчать о ней, хотя и понимаю: она славы моему Шушикенду не прибавит.

Так знайте же, пока я в одном конце села распинался о добродетелях Шушикенда, в другом конце кто-то начисто, одним махом перечеркнул все его добродетели. Я говорю об истории, которая и по сей день занозой торчит в памяти всем нам на посрамление.

Вот она, эта история: за что купил, за то и продал...

По селу проезжал всадник. Время было позднее. На камнях у ворот сидели старики и тихо переговаривались. Всадник ехал медленно, здороваясь с каждым.

— Проезжий, — обратился к нему один из стариков, — куда на ночь глядя едешь? Заворачивай, заворачивай, родной, во двор. Мой дом — твой дом. Будь гостем.

Всадник не заставил себя долго упрашивать. Он соскочил с лошади и, ведя ее на поводу, прошел в очень тесный двор, где и двум курицам не разойтись.

— Куда привязать коня, хозяин? — спросил гость.

Хозяин показал на свой язык:

— Вот к нему и привяжи. Это он виноват в том, что ты узнал о моей бедности.

И кто, вы думаете, был этот посрамленный хлебосол? Да все тот же Багир, шушикендский Пулу-Пуги. Фу, ведь угораздило же случай обнажить бедность нашего Багира, которую он всеми правдами и неправдами скрывал от чужих.

Идите теперь верьте шушикендцам, когда они говорят о своем достатке.

4

Да простят мне мои земляки, если, глубоко уважая Шушикенд, высоко чтя его достойное имя, его честь, я нет-нет, да подкидываю такое, что иной шушикендец может и впрямь обидеться на меня. Но, во-первых, как вы знаете, камень, брошенный рукой друга, не больно ранит, во-вторых, бросаю-то я не камень, а всего лишь камушек... Я говорю о пристрастии моих земляков, не исключая и меня, к преувеличениям.

Мы, шушикендцы, любим не в меру преувеличивать то, что касается нас, и преуменьшать, что у соседа. Что поделаешь, мы такие.

Взять хотя бы наш шенамеч. В ином селе — вы уже знаете — это всего-навсего облюбованный пятачок, где собираются старики покурить, поразмяться после дневных работ. Причем этим пятачком может стать плоская крыша любого дома, хочет хозяин того или нет. Или местечко где-нибудь на окраине села со случайно завалявшимися камнями или корягой, на которых удобно сидеть. Может и еще что-нибудь приглянуться.

У нас же шенамеч — в самом центре села. Вот он, можете полюбоваться. Большие плоские камни, отполированные, как обглоданная кость. Вы, конечно, догадываетесь, отчего они напоминают обглоданную кость. Не одно поколение рассаживалось на этих камнях, вот они и обтерлись.

Над камнями, впрочем, очень удобными для сидения, возвышается большое грабовое дерево. В толстый ствол его вбиты железные крючки, на которые ве-

шают после свежевания лиловые туши животных. Можно подумать, здесь не меньше, чем скотобойня, где с утра до вечера только и делают, что свежуют животных, вешают туши на крючки и бойко торгуют мясом. Скотобойня — не скотобойня, но на этих крючках действительно иногда висит туша. Но почему-то она не продается, мало кто покупает мясо, каждый старается обойтись как может, и бедному мяснику, зарезавшему свою скотину, ничего не остается, как веткой граба отгонять от туши мух.

У нас даже урядник был не такой, как у других. Не тот, что, посрамленный Багиром, убрался из нашего села. Того урядника я не помню, до меня это было. А вот урядника, который был при мне и при мне отдал концы, я видел. Запомнил навсегда. Особенно его усы. Рыжие, большие, концами закинутые за уши. Они были такие длинные, что из них на затылке можно было сплести косу. Возможно, такие усы ему нужны были для всеобщего устрашения.

И точно! Не будь у этого урядника таких усов, да еще закинутых за уши, вряд ли он наводил бы столько страху. А боялись его все, и малые и большие.

Я хоть и мал, но знаю: такой страхолюд нужен царю, чтобы мы не разбаловались у себя в Шушикенде, не делали того, этого. Как будто если мы не на ту ногу встанем, не так сядем, не на тот бок ляжем или еще что, от этого его убудет.

И чтобы мы делали все, что ему, царю, по душе, и поставлен этот урядник, царев человек, этот страхолюд с большими усами, закинутыми за уши. И что совсем чудно, не по моему уму — взрослые ему улыбаются, когда он появляется у нас, даже зовут в гости, угощают, не отказывая ему в хлебе-соли.

За порядком в Шушикенде присматривал еще десятский Акоп. Тоже царев человек, но этот, слава богу, не в счет. Он из самого Шушикенда, умеет ладить с людьми, зря человека не обидит.

Конечно, как бы Шушикенд ни был хорош, за ним все же водились грешки. Разные штучки. Одна из таких штучек произошла в тот год, когда я уже поступил в школу и уже знал все буквы в азбуке назубок.

В селе пропал баран. Пасся он у края дороги, не-

неподалеку от села, и вдруг исчез. Вот тебе и Шушикенд! Растрезвонил на весь свет, смотрите, мол, какие мы, шушикендцы, расписал, хоть на божницу ставь, а тут нате, средь бела дня исчез баран. Попросту говоря, украли, как в каком-нибудь Автароноце, изжарили, водой запили. Какой срам! Правы, тысячу раз правы старики, сказавшие: «Без кривого дерева леса не бывает». Исчезнувший баран тому свидетельство.

Десятский, знавший каждого шушикендца как облупленного, доискался до вора. Человек, укравший барана, был — будь он неладен, как такого утаить — бандит с большой дороги. Имя его известно — Абел. На его совести лежал не один баран, не один разбой. Но люди делали вид, что ничего не замечают, боясь связываться с ним. Так поступили бы и сейчас, если бы не десятский. Только десятский Акоп не боялся его, схватил вора за руку.

Из уезда примчался урядник. Толстые усы ржаво посверкивали. Узнав, кто уличен в краже, урядник пришел в ярость. Пойманный с поличным вор почему-то его не устраивал.

— Что вы мне подсовываете честных людей вместо настоящего вора? Разыскать виновного!

И «виновный» нашелся. Он оказался Тадевосом, старым одиноким человеком, не имеющим ни детей, ни даже близкой родни. И совершенно непричастный к краже.

Проявив на нем всю силу власти, урядник, довольный, убрался восвояси. Так безопаснее. Кража обнаружена. Преступник наказан, страх наведен. Чего же более?

Впрочем, старик Тадевос не один нес на своих плечах несправедливую кару за все неполадки в Шушикенде. У него были товарищи по несчастью, такие же беспомощные одинокие люди, которые разделяли его судьбу. Чуть что — получай свою порцию ударов. Но особенно полюбился уряднику Тадевос. Бедному человеку покоя не было от произвола уездной власти.

Вот так урядник, царев человек! Вместо того чтобы схватить вора за шиворот, он с разнесчастного старика Тадевоса спрашивает. Какая корысть наказать того, кто не виноват?

Порыться — выходит, корысть есть. Уряднику не с руки ссориться с Абелом, который угнал барана, пусть он даже трижды вор. Свой неправый суд он чинит с разбором, спрашивает не с виновного, а с того, от которого не ждет сдачи.

Стало быть, нагнавший на всю округу страх строгий ревнитель порядка усатый урядник, попросту говоря, — отчаянный трус? И грозный вид его, и все его дела — только щит, за которым скрывает он свою заячью душу? Впрочем, что зря забегать вперед. Сами увидите.

5

Кроме подарков от моих богатых дядей, мама получала еще письма, запечатанные сургучом. Такие письма старались от меня прятать. Только однажды, думая, что я уже сплю, мама достала из сундука, где хранилось ее приданое, спрятанное письмо и при тусклом свете лампы, все время тревожно поглядывая в мою сторону, принялась жадно читать его. Прочитала, поплакала, снова прочитала.

В доме все спали. Из соседней комнаты слышался прерывистый посвист дяди.

В комнату вошла тетя Марго. Мама вытерла слезы, спрятала письмо в сундук.

— Что пишет Ишхан? — шепотом спросила тетя Марго.

— Ничего. Жив, — еще тише ответила мама и снова посмотрела в мою сторону.

Меня резануло по сердцу. Ишхан!

Я прикусил палец, чтобы не вскрикнуть от боли, от обиды. А может быть, от ревности. Кто этот Ишхан, о котором так заботится тетя Марго и плачет мама?

— Славу богу, лишь бы писал,— сказала тетя Марго и удалилась. Мама потушила лампу, легла рядом со мной. Мы спали вместе.

— Мама, — сказал я, и голос мой сорвался. — Кто такой Ишхан, и почему ты из-за него плачешь?

— Ты подслушал наш разговор? — недовольно отозвалась мать.

— Я все слышал. Я не спал.

— Нехорошо подслушивать разговор старших, Тик, — сказала мама очень грустно.

— Почему ты плакала? Кто он нам? — не унимаюсь я, снедаемый любопытством, обидой, болью.

— Друг нашего дома и дяди Саркиса, — вздохнула мама. — Ты же знаешь, дядя Саркис с плохим человеком не дружил бы.

— Друг дяди Саркиса, отца Армо? — спрашиваю я, немного успокоившись.

— Ну да, нашего дяди Саркиса.

— А где он сейчас, этот Ишхан?

— Там, где и дядя Саркис, в Сибири.

— Значит, он тоже был против царя?

— Может, и против. Его тоже сослали. Тоже, кажется, из-за жандарма.

— А какой он из себя, мама?

— Ну как тебе сказать. Высокий, красивый и добрый. Последним куском поделится с товарищем.

— Он как наш папа, да? — вставляю я.

Мама не сразу отозвалась.

— Да, как наш папа, — наконец выговорила она. — Но только он другой, совсем другой.

Мама не говорит, какой же он, и я не спрашиваю. Успокоившись, я сейчас же засыпаю. А жаль. Надо было бы спросить маму, есть ли у дяди Ишхана дети? Как их зовут? Можно ли с ними дружить?

6

Дядя богатеет день ото дня. Теперь у нас во дворе не протолкнуться. Тесно от коров, от телят, от мохнатого барана с большим курдюком, целый день слоняющегося без дела. Раньше он был вожаком в отаре, но теперь курдюк у него так погрузнел, что ноги подгибаются под тяжестью. А какие у него рога! Толстые, витые, круто поднимающиеся вверх. Рассказывают, что он однажды забодал волка...

Чем больше прибавляется живности во дворе у дяди, тем шире круг моих обязанностей. Теперь, если я остаюсь дома, должен чистить стойло, где мирно уживаются наш круторогий баран, сердитый кусака осел

и быстроногий жеребец, белый красавец аргамак, на котором дядя любит объезжать свои владения; должен менять в стойле подстилку, выгребать навоз, задавать всей скотине корма.

Новая моя работа мне даже очень нравится. Правда, она не из легких. Присматривать за такой прожорливой братией не каждому под силу. Но что все эти трудности, если они сторицей окупаются удовольствием езды с ветерком на жеребце? Ведь три раза на дню — это уже по обязанности, я должен вести белого коня дяди на водопой. А водопой, известное дело, только повод. Кто тебе судья, если ты на коне — скачи куда глаза глядят...

Дядя в нашем доме был всему голова. И был он работник всем в пример.

Вот такой случай остался в моей памяти. Прямо за селом у нас была небольшая делянка земли под травой. Скосить сено на ней дядя снарядил трех своих сезонных работников. Сезонные работники, как правило, харчились у дяди. Косари приходили по вечерам ужинать, а работа не очень заметно продвигалась.

— Сколько дней уже косите? — спросил дядя за ужином.

— Три дня, ага, — ответили косари.

— А сколько скосили?

— Ровно половину делянки.

— Хорошо, — заключил дядя, ничем не выдавая своего недовольства.— Завтра на покос не выходите. Другую половину докошу я.

Работники обеспокоились:

— А что? Плохо трудились, ага? Сам видел, работали от зари дотемна. Спины не разгибали.

— А разве я что говорю? Просто хочу сам размяться.

Наутро вместе с другими шушикендцами дядя вышел в поле, и в полдень вторая половина полосы была скошена. А работники, потрудившиеся три дня над другой половиной делянки, были не из слабых.

Рассказывают, что дядя в молодости сам работал по найму, слыл умелым и отменным работником, за ним всегда охотились владетельные хозяева.

Что там ни говори, а на виду у всего села дядя за полдня сделал столько, сколько трое работников — за три дня.

Нужно ли говорить о том, как незадачливые работники были посрамлены на все село? Может быть, дядя и нарочно так поступил с ними, пристыдил их, чтобы другим неповадно было с прохладцей работать? А может, он нам пример показал? В делах взрослых я еще не разумею. Одно знаю наверняка: у дяди без дела не заскучаешь, не отсидишься в тени.

7

«Ай-ай, опять про белого бычка, про доблесть дяди,— скажете вы.— Послушай, Тик, может, заодно с дядей весь мироедский род отмоешь в трех водах? Или, может, в этом самом Шушикенде и мулы родят и весь он перенаселен Багдасарами, сеявшими только добро?»

Нет, я этого не говорю. Если бы даже задался такой целью — во что бы то ни стало обелить Шушикенд, умолчать о его недостойных людях, портивших его доброе имя, то все равно мне это не удалось бы.

Здесь, конечно, я не беру в расчет усатого урядника. Скинем со счетов и всяких канцелярских, пусть даже они состарились тут на своих бумагах. Или разных податных, сборщиков налогов, наживших себе мозоли на ногах, частенько наведываясь к нам. Мы им даже немного сочувствуем в их тяжком труде обирал. Все они пришлый народ, и мы за них не в ответе.

Но что поделаешь с теми, которые наши, родились здесь, — и он, и его отец, и отца отец — все семь колен что ни на есть шушикендцы, но которые не хуже тех обирал ловчат, обманывают, наживаются за счет других?

Взять к примеру братьев Бадунцев, с которыми мы еще не раз столкнемся, воочию убедимся, какие они шушикендцы, какое сеют добро. К слову сказать, Бадунц Аршак — это тот злющий мужик, состоятельный хозяин, у которого мы с Армо нечаянно подожгли сено. И дело не в том, что за это он с Армо три шкуры спустил. Даже не в том, что, воспользовав-

шись несчастным случаем, он возместил свой убыток, получив у дяди Багдасара в три раза больше, чем стоило сгоревшее сено. Это он может, Бадунц Аршак. Он не был бы Бадунцем Аршаком, если бы этого не сделал, с дохлого осла не содрал бы подковы.

К этому он приучен. Не думайте, что я собираюсь сейчас проникнуть в тайну его обогащения, выдать вам целый короб разных разностей. Недосуг мне до всяких сплетен. Вроде того, будто он вместе с братом Абелом, отпетым бандитом, пробавляющимся разбоем на большой дороге, уходит в ночное, не брезгуя мелким воровством по соседям. Не ведаю, кривить душой не стану. Чего не знаю, того не знаю. Тайна потому и зовется тайной, что о ней не многие знают. Не знаю и я про все проделки Бадунца Аршака. Одно доподлинно известно: собственные дети от него воют, ходят в тряпье да впроголодь. Правда, мы все убого одеваемся, до крайности обносились, время такое, но они хуже всех, дальше некуда.

А что скажешь о ходже Аванесбеке, державшем в Шушикенде лавку под большой вывеской, как в какой-нибудь Шуше? Об Аванесбеке, про которого у нас говорят: «Из его рук даже слепой осел не ест».

Ну, кто там еще на очереди? Бегляр?

Нет, упаси бог, я этого не скажу и не вправе сказать. И вот почему. Бегляр, при всей моей нелюбви к нему, не богач и не обирала. Пусть он скареднее скаредного, мелочнее мелочного, но свой кусок хлеба он добывает собственным горбом, и не ему стоять рядом с таким, каков Бадунц Аршак. Или его брат Абел. Или там ходжа Аванесбек. Я этого не сделаю еще по такой причине: как-никак он мне родственник, муж тетушки Нубар, с меня еще за это взыщут.

3

Кем населен Шушикенд, мы уже видели и еще увидим. Но как обойдешь Чопура Григора? Я уже как-то вскользь заметил о своем родстве с ним. Стало быть, особенно не замахнешься, руки связаны, не могу развенчать его, хотя и было за что. Но честно говоря, к кривому дереву его тоже не причислишь.

Это уже без скидки. Любой шушикендец скажет то же самое.

Итак, Чопур Григор. По годам ему в самый раз быть завсегдатаем шенамеча. Но завсегдатаем все-таки он не стал. Сам охочий к работе, к бурной деятельности, он не терпел праздных разговоров, какие велись на шенамече, и особенно не переносил веселого, легкого на язык Багира. Их вместе на шенамече не увидите. Это исключено.

Только не думайте, что, занятый своими заботами, наш Чопур Григор вовсе не знает дороги к шенамечу. К сожалению, он там бывает. И к сожалению и великому огорчению всего Шушикенда, туда приходит лишь за одним: искать в папахе паразитов. Придет, бывало, засветло, когда другие еще работают, вроде рановато для бесед, и примется за дело: садится на камень и, сняв с головы папаху, начинает свои поиски.

И каково нам, когда какой-нибудь остряк из Автараноца[1] или даже Авдура при напоминании о Шушикенде ехидно улыбается:

— Шушикенд? Это где в папахе ищут?

Чопур Григор, как я уже говорил, доводится нам родственником, он единокровный брат моего деда Авака, стало быть, и брат Арзумана, имя которого, как вы знаете, в большой чести в Карабахе. Чопур — это прозвище. Так назвали за то, что у него лицо в частых оспинах. Сами понимаете, каково нам. Сквозь землю готовы провалиться, глядя на такого родича, да и только!

Позорное занятие на шенамече — это еще не все пороки дедушки Чопура. Наш родич умел еще с вывертом ругаться, был первым матерщинником на селе. И был он неуживчив, ссорился даже с сыновьями, призывая на их головы проклятия, обзывая их самыми последними словами. А когда однажды на него напала собака, искусала всего, он, вооружившись шилом и вощеной ниткой, сам зашил рваные раны на себе. И выжил. Ничего с ним не стало.

Семерых сыновей вырастил дедушка Чопур, сам стоит как дуб, а сыновей многих ли досчитаешься? Одна только германская отняла у него троих.

---

[1] Автараноц — село в Карабахе.

Несчастье словно свило гнездо под крышей его дома. В Шушикенде, сами знаете, не прокормишься своим хлебом, а дом дедушки Чопура был полон сиротами — детьми погибших сыновей. Их надо было одеть, обуть, что-то им в рот класть. Вот и снарядил старик подросшего сына в Баку, как это делали многие шушикендцы, на заработки, да заработка не дождался, сына в пути зарезали бандиты. Не успел опомниться старик от потери четвертого сына, как молния убила еще одного в лесу.

Вот об этом пятом сыне, убитом молнией, я и хочу сказать. Незадолго до его смерти старик сильно повздорил с сыном, проклял его, сказав:

— Я огня тебе желаю, чтобы он тебя опалил.

Когда труп сына привезли из леса, старик сидел на камне под грабом и искал в папахе. Занятый работой, не заметил, как траурная процессия подошла к его дому.

— Что там случилось? — осведомился он.

К нему подошла престарелая женщина с исцарапанным от горя лицом, сестра старика — Гюли-ака, и, ударяя себя по бедрам, запричитала:

— Отсохнуть твоему языку. Еще спрашиваешь! Что ты пожелал сыну, бог исполнил.

Григор снял с колен папаху, поднялся с камня и медленно зашагал к своему дому. Перед ним, понуро опустив головы, расступались люди, пропуская его вперед.

Долго стоял старик над еще теплым трупом сына, потом, воздев сухие руки к небу, без слез, железно прокричал:

— Проклятье тебе, бог, проклятье. Разве я ни о чем другом тебя не просил, что ты только это исполнил?

Еще раз прокричав в небо суровые слова богу, он отошел в сторону.

9

В свои малые годы я многое уже знаю. Я знаю, не прокляни дедушка Чопур сына, не убила бы его молния. Знаю, что, кроме дяди, есть в селе и другие богатеи. Знаю также, что не все богатеи, как дядя, добрые. Есть у нас и такие, у которых не то что хлеба, вина

или винограда, но и крученой нитки не выпросишь. Жадные, с загребущими руками. Выходит, и они, богатеи, не по заказу сшиты.

Но сейчас я думаю о другом: десятский Акоп не выходит из головы. Подумать только: не испугался самого Абела, схватил его за руку, когда тот украл барана. Не побоялся и самого усатого урядника, против него пошел, поймал действительного вора, тогда как тот этого не хотел. И живым остался, никто его пальцем не тронул. Ни Абел, укравший барана, ни урядник, укрывший вора. Но и царев хлеб, надо сказать, десятский ел недаром. Все, что полагалось по своей служебной линии, выполнял чин по чину. Особой потачки ни в чем не давал, но и без нужды не прижимал. Правильный был человек! И было у него, у нашего десятского, еще одно дело, которое стоило ему немалых забот. Это присмотреть за состоянием полевых дорог и особенно за казенным трактом, который проходил как раз мимо нашего села. С нашими полевыми дорогами еще куда ни шло. Они расчищались, приводились в порядок каждым хозяином против своей полосы. Тракт, который проходит по ущельям и склонам, где ему угрожают и обвалы, и оползни, а если хотите, и буйные ливни после весенней распутицы, способные наделать тысячу бед: начисто срывать мосты, перекинутые через речушки, то там, то здесь перегрызать тракт, слизывая с него гать, — приводить в порядок такую дорогу, держать ее в исправности, как видите, задача не из легких. Приходилось поднимать весь Шушикенд, чинить ее всем миром.

Конечно, не все шло так уж гладко. То какой-нибудь хозяин, занятый своей работой, забывал о дороге, которая проходила мимо его полосы. то тракт приходил в ветхость, недосуг было людям заглянуть туда, чинить его. А кто помнит, что десятский Акоп, который был в ответе за все это, кого-нибудь обидел? Или, упаси господь, донес по начальству? Любой скажет, не было этого. Чего не было, того не было. Хотя чего греха таить, наш строгий блюститель порядка, если хотите, по должности соглядатай царя, не прочь был выпить за счет своих подопечных.

Как бы там ни было, десятский Акоп остался в памяти людей, и старожилы нет-нет да вспоминают его

добрым словом. Но что вспомнишь об уряднике, если в памяти у меня остались от него одни усы, закинутые за уши, и то... на заборе, где три дня торчала его голова, водруженная на кол.

Обладатель могучих усов, недоброй памяти урядник, заслужил, чтобы о нем говорили сейчас без сожаления. Немного погодя я расскажу, за что ему выпала такая жестокая кара, и вы вместе со мною скажете: собаке — собачья смерть. А теперь я хочу без утайки признаться, что вот этот казенный человек, который очень скоро бесславно кончит жизнь на заборе, был частым гостем в нашем доме.

Прошу прощения, но это было так. Урядник редко бывал в нашем селе, передоверив всю казенную службу в селе десятскому, но если заявлялся, то непременно выбирал для ночлега наш дом. Впрочем, нетрудно понять почему: дядя Багдасар был уже состоятельным человеком. А погостить у состоятельного человека не накладно ни хозяину, ни гостю. Разве не так?

Очень прошу, не вините нас — ни меня, ни дядю Багдасара за наш хлеб-соль. Мы же еще не знали, что за птица этот урядник, не перед сном будь он упомянут.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

В нашем доме любили дядю Гегама. Другие работники приходили и уходили, а он оставался. Дядя во всем доверял ему. Он был в нашем доме вроде помощника дяди.

Жилось ему у нас хорошо. У Гегама было два сына моих лет, и одевались они, как я, как мой брат Аванес, а жена Гегама — не хуже тети Марго или моей мамы. И я не помню, чтобы он жаловался на свою жизнь, сетовал на неустроенность. Наоборот, он всегда хвалил дядю и сыпал ему вслед ласковые слова.

Дядя Гегам уже не молод, небольшого роста, добродушный и обходительный человек. У него совсем не по годам румяное круглое лицо, на котором всегда написано выражение благолепия и кротости. Носит он усы в отличие от дяди коротко остриженные. Когда дядя Гегам смеется, между зубами у него видны щербины. Но это не портит его лица, не старит. Когда Гегам грустен — бывает с ним и такое, — он ахает и охает и, глядя куда-то в пространство, вздыхает:

— Горек мой хлеб, ребятушки.

Иногда после работы, выбрав удобный час, дядя Гегам говорит мне:

— Махнем в лес, малыш, подышим свежим воздухом.

Выйдем, бывало, на пригорок, что лежит перед селом, а там рукой подать до знаменитого шушикендского леса. Прошу прощения, я должен оговориться. Не одним воздухом красны наши леса. Хотите полакомиться мясистым янтарным кизилом в натуре, отправляйтесь к нам в Шушикенд, в наши леса. Приходите, не пожалеете.

Что кизил! А мушмула, инжир, дикие яблоки, груши? Да разве перечтешь все, чем полон наш шушикендский лес? Даже зимою здесь есть чем поживиться. К вашим услугам тающий во рту сахарным холодом промерзший зыкер — шишки, которые поспевают только после первых сильных заморозков.

Авдурцы тоже называют лесом свой низкорослый кустарник, что со всех сторон наступает на село. Но попробуй в этом самом лесу найти хоть одного зайца. Не скоро найдете. Не найдете, конечно, и куницы. И даже волка. Если в этом самом кустарнике, громко названном лесом, не может ютиться самый захудалый зверек, негде ему преклонить голову, то что искать в нем карагач или дуб. Напрасный труд. Дерево тоже, скажу вам, без разбору не растет! Хозяина избирает по росту.

Краснотал, из гибких прутьев которого авдурцы плетут хозяйственные корзины и в базарный день в Шуше продают разным простачкам, — пожалуйста, растет здесь, сколько душе угодно. Шиповник тоже. Перезрелые плоды его, как известно, идут на заварку чая, и в той же Шуше горожане головы ломают друг другу из-за него. Авдурцы, разумеется, пользуются этим. С прилавков на базаре чуть ли не круглый год не сходят мешки с масуром — сушеными плодами шиповника. Сладкие иссиня-черные ягоды ежевики тоже были в большой чести в Шуше. Любящие промышлять мелочью, наши авдурцы и здесь, конечно, не зевали...

Кустарник, окружающий Авдур, выходит, вполне его устраивает? И получается, лес им под стать? Авдур на него не в обиде?..

Наш лес, конечно, другой. И тоже нам под стать. Мы ведь не какие-нибудь авдурцы — лоточники и мелочники, которые так и ищут, что потащить на базар. Пусть на белоствольной березе ежевика не

растет, но нам это не в печаль. Не в печаль нам и тонкий, поджарый ясень, на котором также ничего не растет.

Мы очень рады, что мощный карагач или граб не пренебрегли нашим лесом, привольно им у нас; рады дубу, который только поздней зимою начинает сдавать, нехотя сбрасывая задержавшуюся жесткую, побуревшую от заморозков, звонкую листву, чтобы через месяц-другой снова одеться в литую зеленую свою кольчугу Рады птицам и зверям, которые здесь есть и которых не встретите в Авдуре.

Кому что, а я ищу в нашем лесу броскую земляничную россыпь, которая из всей богатой лесной снеди больше всего мне по душе.

Дяде Гегаму нипочем обилие вкусных плодов или земляника. У него в лесу дела поважнее, любит он передразнивать птиц, подделываясь под их голоса. Хлебом его не корми, дай ему только посвистеть, подражая птицам, легко и потешно вызывая их на дуэт.

Я охочусь за маленькими красными земляничными звездочками, а сам нет-нет да прислушиваюсь к необычному лесному концерту.

В лесу птиц много, и каждая занята своим делом. Я знаю со слов дяди Гегама, что самая хитрая птица — кукушка. Она не любит высиживать птенцов и норовит кому-нибудь подкинуть свое яйцо. А самая заботливая мать, оказывается, ворона. Она раньше всех выводит своих птенцов. Я знаю, что среди птиц, как и среди людей, есть безотказные труженики, но есть и такие, которые отлынивают от работы. Дядя Гегам уверяет, что таким отпетым бездельником является, например, зяблик-петух. Всю свою жизнь он только и делает, что поет, вдохновляя подругу-труженицу. Дядя Гегам особенно охотно передразнивает его и очень радуется, когда ему удается обмануть птицу, вызвать на дуэт.

Честное слово, в лесу дядя Гегам совсем другой. Будто отогревается его душа, и он делается веселым, разговорчивым, даже немного вздорным.

В кустах трещат какие-то крошечные птицы с лиловым отливом на шейках. Судя по их истерзанному пуху, стоящему дыбом на загривках, они только что подрались между собой.

Я иду за Гегамом, раздвигая ветки. За его спиной мне всегда хорошо. Я не боюсь заблудиться или встретить медведя. Когда с таким сосунком, как я, идет взрослый, ничто не страшно.

Дядя Гегам все время перекликается с птицами, подделывая голоса, ища новую легковерную пичужку. Но я вижу, ему легче всего удается обмануть петуха-зяблика. Этот веселый вертопрах, оказывается, еще порядком глуп.

Я слушаю россказни дяди Гегама про житье-бытье разных птиц, про их нехитрые птичьи тайны, а глаза сами по себе так и рыщут, рыщут по траве-мураве, отыскивая в ней заманчивые красные капли. Вот блеснула красная звездочка. Еще одна. Я наклоняюсь и одну за другой срываю огненные ягоды. Красные капли все чаще и чаще попадаются мне на глаза.

Я ем землянику, слушаю веселую перекличку дяди Гегама с птицами, и мне становится больно за него.

Я знаю, в Шушикенде не все уважают дядю Гегама. Одни побаиваются его, другие недолюбливают. И все вместе с удовольствием называют его в глаза и за глаза Аферимом. Я должен признать, в этом повинен прежде всего сам дядя Гегам. Не говори он к месту и не к месту это слово, может быть, оно и не пробило бы к нему дороги.

Но я сейчас так не думаю. Не этим только вызвана кличка, нет, не этим. Гегам жалеет моего дядю, не дает работникам обмануть его. Когда в подвалах задерживается кто-нибудь из любителей выпить дармового вина, Гегам незаметно появляется в дверях и начинает кашлять. Он ничего не говорит, двери подвалов открыты для всех, пей в свое удовольствие, сколько влезет, он только громко кашляет. Но от этого кашля как-то муторно делается у человека на душе, вино в горло ему не идет, и он старается уйти восвояси.

В скобках будь сказано: в кашле все дело.

Если на то пошло, я не должен не любить Гегама из-за того, что кому-то не нравится его кашель. Не нравится, пусть не задерживается в чужом подвале. Ишь ты, дорвался до дармового вина, и ему еще музыку подавай для аппетита. Кашель ему не нравится.

Нет уж, извините, не могу я из-за таких пустяков разлюбить Гегама. Я больше скажу: может быть, Ге-

гама я даже особенно люблю еще и за то, что он жалеет моего дядю, строго смотрит за его хозяйством.

Однажды я все-таки посоветовал ему:

— Дядя Гегам! А ты не очень старайся замечать, когда какой-нибудь работник выносит из сада виноград или кто-нибудь задерживается в подвале. Мы ведь от этого не обеднеем.

Дядя Гегам грустно провел рукой по моей голове.

— Ты думаешь, это моя прихоть, малыш? Собака затем и лает, чтобы хозяин лучше оценил ее усердие.

А вокруг, не обращая на нас никакого внимания, свистели и пересвистывались птицы, перелетая с дерева на дерево. Ну что ж! У птиц свои дела, у нас — свои.

2

Двух волов запряжешь вместе — или масть перенимают, или норов. Так говорится в поговорке. Но я думаю, что она неправильна, эта поговорка. Если растолковать ее иносказательно, применительно к человеку.

Вот я дружу с Армо. Вместе пасем скот, вместе учимся. Все свободное время проводим вместе. Правда, это с натяжкой сказано — проводим вместе. Армо все-таки постарше меня и, разумеется, не посвящает меня во все свои взрослые дела. Но все же. Часто бываем вместе. Бываем и в переделках и в потасовках — не перевелись еще драки между атаманами в деревне, — но я не вижу, чтобы от этой дружбы я стал таким же сильным, как Армо. Или таким драчуном, как он. И бесстрашным.

Вопреки всем поговоркам я остался сам по себе. Армо — по себе.

Не буду прибедняться. В потасовках с другими мальчишками я был не последним в нашем таге[1]. Не последним был и мой брат Аванес, которому только что исполнилось восемь лет. В жарком деле не возраст решает, а смелость. А в смелости нашему Аванесу не откажешь. Впрочем, смелым он прослыл совсем недавно, после одной потасовки, в которой он

---

[1] Таг — квартал, околоток.

повел себя как настоящий герой. В разгар боя мой брат ворвался в стан противника и вцепился в горло самому атаману.

Вообще Армо везло. В нашей ораве собрались такие драчуны! Чего стоят только братья Нерсик и Персик! Это сыновья дяди Гегама. Нерсик — понятно, это настоящее имя. А «Персик» — похоже на кличку. Нерсик был на год старше Персика, но на глаз этого не скажешь, словно близнецы. Оба были коренастые, сильные. В драке не ведали страха. Оба учились в школе плохо, редко стриглись, и у обоих вечно из-под картузов торчали нечесаные лохмы, которые придавали их круглым, добрым ребячьим лицам свирепый вид. И если они в чем-нибудь отличались друг от друга, то это в метании камня из пращи. В то время, когда Нерсик мог поразить из пращи любую цель на довольно большом расстоянии, Персик не попадал и на близком.

Про Нерсика и его умение метать из пращи камень и до сих пор в Шушикенде сохранилась слава. Эта слава, должно быть, закрепилась за ним после одного необычайно меткого попадания. Нерсика раззадорили, что, мол, какой он стрелок из пращи, — хвастун, да и только. Нерсик потребовал, чтобы обидчик спрятался за большой валун и только нос высунул. И что вы думаете, попал, шельмец, начисто расшиб нос обидчику. И если в Шушикенде вы встретите человека с кривым носом, так и знайте — это дело рук Нерсика.

Я должен признаться еще в одном: и Нерсик и Персик очень предупредительно относились ко мне, к Аванесу, ко всем моим братьям, даже заискивали перед нами. Я понимал, это из-за отца. Отец работает у нас, значит, они вроде обязаны нас уважать.

Потасовки и разные выволочки, какие происходили между ребятней нашего тага с соседским, выявляли многих отчаянных драчунов, не хуже Нерсика и Персика умеющих наставлять синяки. Их имена известны, дела их тоже. Не будем задерживаться на каждом, но как пройдешь мимо таких сорванцов, какими являются Жирайр и Норайр. Жирайр и Норайр тоже братья и тоже драчуны на славу. Это они в деле так свирепеют, что дай им в руки вместо деревянных сабель настоящие, в два счета зарубили бы всех

наших погодков из соседнего тага. Вот они, видите. Маленькие, чернявые крепыши, почти одного роста. Только не взыщите, что они так убого одеты. Во-первых, эти драки, от которых немало доставалось и одежде, во-вторых, не следует забывать, чьи они отпрыски. Вот мы и познакомились с детьми Бадунца Аршака, будь он трижды неладен, этот жадюга из жадюг. Я мог бы еще сказать, как они кормятся, пробавляясь воровством на стороне, но к чему такое признание? Кто в нашем возрасте не угощается грушей или виноградом из соседского сада, не предпочитает чужой сад собственному?

Мы еще повстречаемся с нашими сорванцами, с другими драчунами, увидим их в деле.

3

Из всей своей оравы атаман Армо больше всего дружит со мною. И я знаю почему: он доводится мне родственником. А мне не в радость, не с руки такая дружба. Выходит, я сам по себе, может, и размазня, как говорят старшеклассники, ноль без палочки, только на родстве строится наша дружба.

Выбрав удобный час, я спрашиваю Армо, стараясь держаться независимо:

— Слушай, атаман. Ты в самом деле со мною дружишь потому, что мы родственники? Или ты меня просто уважаешь?

— Просто уважаю.

— Перекрестись.

Армо перекрестился.

— Теперь ответь,— продолжал допытываться я.— Ты все мне говоришь как на духу, или с пятого на десятое? Ты же взрослый. А взрослые никогда не говорят младшим всю правду.

Армо почему-то насторожился, стал внимательно разглядывать меня.

— С чего ты взял, что я от тебя таюсь? Я все говорю как на духу,— неуверенно защищался он.— Какой же ты маленький, если ты не побоялся, лебеденка спас да инжирины с куста на чертовой круче сорвал.

— Лебеденка достал, положим, не я. И инжири-

ны — тоже, — заметил я, стараясь скрыть червячок самодовольства, который вдруг зашевелился во мне от неожиданной похвалы. Никогда до этого Армо не замечал моей храбрости.

— Ну вот, видишь,— сказал Армо.

— Нет, я не то хотел сказать. Я хочу спросить у тебя, ты все говоришь мне про Ишхана?

Армо еще больше растерялся.

— Про дядю Ишхана? Ну конечно, все. Я же тебе говорил.

А сам глаза прячет от меня.

— Про то, как он с дядей Саркисом жандарма шарахнул,— настаиваю я.

— Ну да, и это,— почему-то сконфуженно бормочет он себе под нос, не поднимая глаз.

Теперь-то я знаю, почему Армо прятал от меня глаза: он решил, что тайна открыта и я уже знаю, кто мой настоящий отец.

— А Нагашидзе? Они его тоже шарахнули вместе? — допытываюсь я.

Армо почему-то облегченно вздохнул, даже обрадовался, что я задаю ему такой вопрос.

— Нагашидзе? — уже спокойно ответил он.— Про Нагашидзе я, кажется, наврал тебе. Прихватил его для солидности.

— Значит, Нагашидзе убили не дядя Саркис и Ишхан? — разочарованно спрашиваю я. Мне так хотелось, чтобы этот Ишхан, про которого так много говорят, про его разные подвиги, чтобы именно он убил Нагашидзе.

Но Армо был неумолим.

— Нет,— твердо заявил он.— Его убили другие.

Но я уже не верю ни одному слову Армо.

— А может, и жандарма шарахнули другие?

— Жандарма — это точно,— не сразу отвечает Армо. — Они его тоже не тронули бы, не будь он зверь зверем, не имей привычки бить дубинкой по головам рабочих. Детина был здоровенный, сладу не было с ним, вот они его и прикончили.

— А кто из них был главнее? — все же спросил я.— Твой отец, дядя Саркис, или этот Ишхан?

— Ишхан,— признался Армо.— Он даже в стачечный комитет входил. Во время забастовок носил на

рукаве красную повязку, чтобы его отличали от других. У них это называлось пикетчик. Красный пикетчик...

Обо всем этом Армо говорит охотно, с подчеркнутым удовольствием и глядя мне прямо в лицо. Он теперь не отводит от меня глаз. Даже облегченно вздыхает.

— И еще говорят, что дядя Ишхан был очень сильный. Почти как Сали Сулейман. Настоящий Сали Сулейман,— говорю я.

Армо соглашается и с этим.

— Не будь Ишхана в схватке с жандармом... Тут, как говорится, нашла коса на камень...

Армо говорит это, а сам испытующе смотрит мне в глаза.

— А кто про все это тебе рассказывает? — все же спрашивает он меня.

Я не скрываю своего разговора с матерью, я все выкладываю ему, что мама про Ишхана рассказывает.

— Тетя Варсеник! — обрадованно восклицает Армо.— Раз тетя Варсеник говорит, значит, все верно. Кто-кто, а она знает Ишхана. Вот так, как я тебя, видела его.

А сам добро и загадочно улыбается.

4

В нашем доме приключилось самое невероятное: дядя пожалел для меня кусок хлеба. Об этом случае я сейчас вспоминаю с улыбкой, но тогда он причинил мне и маме много боли. Особенно маме.

Я уже говорил, что шах-тута — любимое лакомство карабахцев.

В самом деле, какой другой плод или ягода, включая и виноград, может заменить тебе хлеб? Нет таких плодов и ягод на свете. А вот тута заменяет. Наешься туты и на хлеб смотреть не захочешь.

Помните, я говорил о случае, когда весь Шушикенд пострадал от неурожая и дядя выручил односельчан, поделившись с ними своими запасами? Помните, нам, как и всем шушикендцам, до нови не хватило хлеба ровно на две недели?

Представляете, каким подспорьем стала для нас тута! Мы просто не заметили голода. Только Ашотик, не считаясь ни с какой заменой, с самого утра ныл и к вечеру переходил на рев, требуя хлеба.

— Хлеба хочу. Кусочек хлеба.

Тоже сказали: Ашотик плачет! Какой спрос с Ашотика, если у него даже молочные зубы не сменились?

Вот в эти самые дни в нашем доме и произошло то неожиданное, что причинило мне и маме такую боль.

Обычно, когда я отправлялся в горы пасти коров или овец, мне давали пухлый мешочек с кислым молоком и круг белого тонирного[1] хлеба. Мешочек, с которого все время стекала вода, я привязывал к сумке с хлебом и весь день таскал на себе. От него одна моя штанина до самой пятки вечно была мокрая. Но, накатавшись на мне за целый день, мешок тощал, а обезвоженное кислое молоко делалось таким вкусным, как молозиво. Вот таким молозивом, приткнувшись где-нибудь в тени, мы и наслаждались в жару, вознаграждая себя за все неудобства, которые причинял нам этот сырой, липкий мешок.

Но сегодня в сумке моей пусто, нет хлеба. Хлеба нет и во всем Шушикенде. Ничего, не пропаду. Как все, так и я. Будем пасти скот поближе к тутовым садам. А где тута, да еще шах-тута, человек как-нибудь перебьется, не умрет с голоду.

Но мама не могла на целый день отпустить меня в горы без куска хлеба. Незаметно она положила мне в сумку полукруг свежеиспеченного хлеба. Должно быть, в доме все-таки тайно пекли хлеб. Вот из-за этого и произошла ссора.

Дядя увидел, как мама положила мне в сумку хлеб, и потребовал, чтобы я вернул его маме.

Хотя я и не совсем понимал дядю, но сейчас же исполнил его требование, достал из сумки хлеб. Я не мог понять, как дядя, всегда такой щедрый, хлебосольный, вдруг поскупился на кусок хлеба, придрался к маме из-за пустяка.

Вечером я застал маму в слезах. Посреди комнаты уже лежали узелки и узелочки.

— Что это, мама? Что это значит?

---

[1] Тонир — печь, вырытая в земле.

— Уйдем отсюда, сынок. Я не могу жить в доме, где для моего ребенка жалеют кусок хлеба,— сквозь слезы проговорила она.

Дядя сидел за столом и по привычке посасывал желтеющие усы.

Выслушав все причитания мамы, он сказал:

— Если тебе не нравится, Варсеник, в этом доме, можешь уходить. И сына можешь взять с собой. Я вас не держу. Но в моем доме свои порядки, и я никому не позволю нарушать их. Белая ворона под моей крышей гнезда не совьет.

Никогда я не видел дядю таким разгневанным. Наговорив маме еще много других колкостей, он подозвал к себе Гегама.

— Сбегай, дружище, в канцелярию, позови казенных людей. Чтоб сейчас же пришли. Дело неотложное.

Казенными людьми дядя называл писца и нотариуса, которые и составляли администрацию канцелярии. Если, конечно, не считать акцизного и пристава, которые редко появлялись у нас.

Я слушал эту перебранку и чувствовал, как уши мои пылают от стыда. Мне было совестно за маму, из-за пустяка затеявшую эту ссору, и за дядю, проявившего такую мелочность.

Я плохо понимал дядю, его слова. И уж совсем не понимал, почему в такой час понадобились ему писец и нотариус. Не понимали этого, должно быть, и мама и тетя Марго, которые переглядывались, недоуменно пожимая плечами.

В доме воцарилась гнетущая тишина. Мама молча связывала узелок. Тетя Марго, моя посуду, грустно обменивалась с мамой знаками, без слов прося ее остаться, не отрывать меня от братьев. Даже мы, обычно шумные и неугомонные, расселись вокруг печки и, чувствуя что-то недоброе, притихли, поглядывая то на дядю, посасывающего усы, то на маму и тетю Марго, переговаривающихся между собою знаками.

Гегам вернулся тут же в сопровождении казенных людей. Когда они уселись за стол, дядя сказал:

— Вы все знаете, что у меня четыре сына, но не знаете, что у меня есть еще брат.

Дядя показал на меня:

— Тигран самый старший из мужчин Он останется старшим и после меня. Запишите это по всей форме. На всякий случай. Но это еще не все. Тигран не только самый старший из моих наследников, он и еще мой брат, как вам известно, равноправный пайщик всего моего добра, движимого и недвижимого...

Я не слышал всех слов дяди. Я будто оглох.

Моя мать смотрела на дядю так, будто она ослышалась, и речь в действительности шла не обо мне. Только тетя Марго, продолжая мыть посуду, понимающе улыбалась. В словах дяди для нее ничего нового не было.

Мама была вне себя от радости. Она подошла к тете Марго, тихо обняла ее за плечи.

— Выходит, я была неправа, Марго? Мой сын не в тягость вам?

Когда казенные люди, немало удивленные решением дяди поделить свое имущество поровну между мною и им, скрепив печатью нужную бумагу, ушли, дядя сказал, обращаясь к тете Марго, все еще продолжая сердиться:

— Сколько раз нужно говорить вам! Пока в Шушикенде не будет хлеба, пока не задымит тонир в каждом дворе, не должен гореть он и в моем. Как все, так и мы.

5

В комнате, где мы с мамой спим, стоит зеленый сундук, окованный полосовым железом. Когда крышку поднимают, он издает ржавый железный стон, будто его бьют. Это сундук мамы, ее приданое. Мне очень нравится, когда он ржаво скрипит. В сундуке лежит моя гимназическая форма — обшитая золотом тужурка, фуражка с черным блестящим козырьком и мамино нарядное платье, отделанное каракулем.

Когда дома никого нет, мама открывает сундук. С тяжелым стоном, нехотя вздыхает крышка, и я любуюсь то тужуркой, то фуражкой, то скрипучими башмаками, даже надеваю их. Мама тоже примеряет платье перед зеркалом. По-прежнему оно ей очень идет.

Ржавый скрип сундука сейчас мне еще больше по душе. Я теперь любуюсь не только формой, но и бумагой, которая лежит в том же сундуке, бумагой, украшенной гербовой печатью и красивой неразборчивой вязью росписи нотариуса.

По этой бумаге половина богатства дяди принадлежит мне. В любое время могу отделиться, сам стать хозяином, владельцем половины подвалов с вином, половины овец, коров, половины дома...

Подумать только — я старший среди братьев, стало быть, после дяди старший в доме. Кроме того, я еще и брат дяде, то есть отцу. Дядей он станет позже, когда приедет мой отец...

Я, конечно, делюсь с мамой моей мечтой, часто говорю о своем богатстве. Мама слушает меня с преувеличенным вниманием, но я вижу, она все-таки не особенно рада бумаге с гербовой печатью и неразборчивой подписью нотариуса, чудодейственной силе этой бумаги.

Однажды я даже спросил:

— Мама, разве ты не рада, что я буду богатым?

В комнате, кроме нас, никого нет. Это наша комната. Мы здесь спим. Здесь сундук, в котором, кроме моей гимназической формы и маминого нарядного платья, бумага с подписью нотариуса. Раньше мама перед сном рассказывала мне сказки. Теперь она вяжет чулок. Поздний час. Я лежу в постели.

— Нет, зачем? Я очень рада,— говорит она, подняв к лицу чулок с торчащими из него спицами.— Только я больше была бы рада, если бы ты стал хорошим человеком.

Спицы сдвигаются у самого носа мамы, и от них по лицу ее мелькают тени.

— Ну да, мама,— подхватываю я.— Буду богатым и хорошим человеком. Разве, мама, богатый человек не может быть хорошим?

— Не знаю, Тик. Я хотела бы, чтобы ты стал хорошим человеком. Зачем нам подвалы с вином?

— Как зачем, мама? У нас будут свои подвалы, но только без кашля Гегама. Не нужен нам этот кашель, если он людям не нравится.

Мать отвела чулок от лица, и я увидел ее грустные глаза.

— Разбогатеешь, будешь делать много такого, что людям не понравится, Тик. Нельзя быть богатым и хорошим человеком. Заруби это себе на носу, мой мальчик.

Поверх чулка мама грустно и задумчиво смотрит на меня, и я не пойму ее тревоги.

— Как нельзя, мама? — говорю я ей.— Вот наш папа богатый. Разве он плохой?

Мама долго молчит, скрываясь за чулком. Потом говорит:

— Это верно, папа наш хороший. Но он исключение. Почти случайность. И я не хочу, чтобы ты был даже таким, как наш папа.

Засыпая, слышу мамин голос:

— Давай лучше спать, Тик. Ты еще маленький. Ты еще всего не знаешь о своем отце.

6

Нет, я теперь не так мал, чтобы, как прежде, путаться в ногах, не уметь разделить корм двум ослам. Чаще и чаще задумываюсь о разном. Одна мысль особенно одолевает меня, не дает покоя. Кто моя мама в нашем доме? Если она жена дяди Багдасара, кто же тогда тетя Марго? А если тетя Марго жена дяди, кто же муж моей мамы? Кто же мой отец?

— Тетя Марго,— спрашиваю я,— кто муж моей мамы? Если у нее нет мужа, чей же я сын?

— Разве ты не знаешь, кто твой отец? — всплеснула руками тетя Марго.— Весь Шушикенд знает, а ты не знаешь?

— Знаю, папа у меня есть,— перебил я ее.— А почему у меня две мамы? У Арев и моих братьев — только одна.

— Мы с твоей мамой достали тебя в Севане. Потому у тебя две мамы,— уклончиво отвечает тетя Марго.— Разве от этого тебе плохо, что у тебя две мамы, Тик?

Я уже знал, что детей не берут ни в Севане, ни в Каспийском море, но возражать не стал. Какие смешные эти взрослые, они думают, что раз мы дети, то ничего не смыслим.

Я хотел было блеснуть своими познаниями на этот счет, но мне связал язык стыд. Я только покраснел и смолчал...

Вспоминаю ночной разговор тети Марго с матерью. И, вспоминая, спрашиваю себя: что ты понял, Тик? Кто этот Ишхан, который добрее и справедливее нашего папы? И сейчас же отвечаю: нет такого. Добрее и справедливее нашего папы во всем Шушикенде нет. Сколько в нашем селе богатых, но кто из них открывает перед каждым двери своих подвалов с вином? Или раздает последний хлеб односельчанам? Истинно говорю: во всем Шушикенде нет второго такого доброго богача, как мой отец, честное слово...

Не пойму, что стало с нашим Гегамом? С тех пор как появилась в сундуке мамы бумага с гербовой печатью и подписью нотариуса, он как-то весь переменился, будто его подменили. Дядя Гегам теперь не подзадоривает меня, когда я трушу туту. Не говорит мне свое любимое «орленка в скорлупе узнают». Не подойдет, как прежде, запросто ко мне, не скажет тех заветных слов, от которых у меня дух захватывало, вроде: «Сходим, малыш, в лес, подышим свежим воздухом». А если подойдет и скажет что-нибудь, уши вянут от его слов:

— Не угодно ли, барин, пройти со мною в лесок?.. Если вам не трудно, золотко мое, солнышко незакатное, еще раз ударьте вон по той ветке. На ней не всю туту изволили сбить.

«Золотко мое», «солнышко» — тоже новые словечки, какими теперь награждает меня дядя Гегам.

Для дяди Гегама стало обычным при мне покрикивать на своих детей:

— Где вы запропастились, Нерсик, Персик? Сбегайте живо, принесите свежей воды. Парон[1] пить хочет.

Парон — это тоже я. Смешно, не смешно — это так. Но это еще не все. Теперь Гегам старается при мне во всем усердие свое показать. Если попадается под руку нерасторопный гость, задерживающийся в подвале, Гегам так закашляется, что тот опрометью бросится вон. И вообще он держится теперь так, будто все мир-

[1] Парон — господин.

ские заботы свалены на его плечи. Будто если бы не он, мы с дядей в два счета вылетели бы в трубу при нашей щедрости.

Но какое мне до всего этого дело? Я не соглядатай, приставленный к нему. Его дело кашлять, когда ему кашляется, работать, когда работается. А если ему угодно бить на собаке шерсть, как говорят у нас, то есть ничего не делать, бить баклуши — опять я ему не судья.

А если уж к слову пришлось, могу и сказать, какой он работник. Ей-богу, это про него сказано: три дня жнут ячмень, шесть дней точат серпы. Скажете, нет? Тогда пойдемте, я поведу вас на сенокос...

Сено косить — это тебе не поле пахать: взялся за чапыги плуга и знай покрикивай на быков: «Но, но, окаянные, сатана вам в ребро!»

Все честь по чести: и забота должная проявлена и усердие в работе налицо.

Совсем другое на сенокосе. Здесь уже не покричишь на ленивых быков, не переложишь свою ношу на чужие плечи. А если ты один, тем более. Кто может за тебя скосить траву, скопнить собранное в валки сено или сметать стог? Если к этому еще прибавить, что делянка наша приметная, ее отовсюду видать — это та, которую дядя Багдасар за один день скашивает. Не знаю, что можно придумать, чтобы скрыть от любопытных глаз, какой он, дядя Гегам, работник. А вот, поди же, придумывает. Поминутно останавливается, вынимает брусок и начинает точить косу. Точит он долго и с большим знанием дела, ведя бруском по острию то с одной стороны, то с другой. Поднимет косу, посмотрит на лезвие и снова озабоченно пройдется по нему бруском. И делает это не спеша — разборчиво, с роздыхом — не в его правилах торопиться.

Дядя Багдасар, наверное, знает, какой работник Гегам, а то с какой стати говорил бы ему в глаза и за глаза:

— Нашего Гегама хорошо за смертью посылать...

Еще одно заметил я: на сенокосе дядю Гегама часто одолевает жажда. Не успеешь подать ему кувшин с водой, как он снова:

— Тигран, золотко мое, неси кувшин, во рту пересохло. Совсем заморился.

Пил он из горлышка, запрокинув голову, и я с удовольствием наблюдал, как хрящеватый кадык его на толстой шее энергично ходил вверх и вниз. А там, глядишь, и подкатит время перекусить и передохнуть. И дядя Гегам, розовый, круглолицый, улыбающийся, совсем не заморенный, садится под ореховым деревом, что растет посреди нашей делянки, выбирая для отдыха тень погуще. Не забывает он и обо мне, сажает на лучшее место и первому разрешает начинать трапезу.

Но какое мне дело до его правил, до разных там хитростей? Зачем мне их знать? Может, всемогущий и всевышний послал ему такой характер. Не мне разбираться во всем этом.

Я все тот же сосунок, каким был до чудодейственной бумаги нотариуса, и я не хочу, чтобы меня считали барином или соглядатаем, перед которым надо выламываться.

Но кому говоришь! Дядя Гегам будто подкарауливает меня, чтобы сыпать, сыпать мне на голову разные ласковые слова. Иногда, слушая его, я забываюсь. Мне вдруг начинает казаться, что я не я, а какой-нибудь удельный князь, не меньше.

Попробуй не теряй голову, если вдруг к тебе, к птенцу, мальчишке, обращается такой почтенный человек, как дядя Гегам, и без улыбки, серьезно говорит:

— Парон Тигран, осмелюсь спросить...

И только в лесу дядя Гегам забывался, делался таким, каким был раньше: острым, находчивым, с доброй лукавинкой в глазах. А с лица слетало обычное выражение благолепия и кротости.

Случалось, что он вдруг обрушивался на меня и поносил так, хоть затыкай уши:

— Щенок! Сколько раз надо говорить! Не трогай яиц! Каждое из них — птица. А ты шаришь по гнездам. Слезай, слезай с дерева! Больше без дела не шляйся сюда, если лес тебе не мил.

И умилялся, когда я, учась у него передразнивать птиц, добивался успеха, приманивая какую-нибудь легковерную птицу. В таких случаях дядя Гегам не жалел красок, похваливая меня. «Аферим. Орленка в скорлупе узнают»,— повторял он свою излюбленную фразу, приноравливая ее к каждому случаю.

7

Бум-бум! Бум-бум! Это церковный колокол возвещал о заутрене, хотя даже в праздничные дни церковь наша пустовала, одна только Exca-биби ходила на все богослужения — не любили шушикендцы бить челом перед богом, не очень веровали в его силу. Не веровал, по-моему, и сам поп, который часто заглядывал в толстую книгу, путался, нетвердо знал слова молебствий, тем не менее в свой час раздавался звон колокола, и служба шла даже при одном молельщике.

Бывало, сквозь колокольный трезвон услышишь вдруг прескверную брань. Брань — это в Шушикенде все знают — дело дедушки Чопура. Он терпеть не мог ни бога, ни его наместника на земле, коим именовал себя на досуге наш преподобный священник, и частенько им обоим попадало от любящего сквернословить дедушки Чопура.

Хоть и переживали мы за многое, особенно за привычку Чопура Григора искать в папахе, но домами дружили. Не чужие мы друг другу: Чопур Григор брат дедушки Авака. И жил с нами стена к стене, нас разделяла одна изгородь. Та, через которую с утра до ночи долетает к нам стук топора. Дедушка Григор ни минуты не сидел без дела: то мастерил бочки не хуже того же Айрапета, то арбу, не знающую износу. Даже умел подковать лошадь. При случае и за костоправа сходил. Вот какой был у нас дедушка Григор. Хлеб ест с половой, трудный, да свой.

Нет, право, не заскучаешь, если дедушка Григор во дворе своего дома. Если он при деле. А при деле он всегда.

Звон церковного колокола всегда заставал дедушку Григора в работе. Когда колокол продолжал звенеть дольше положенного — а это случалось часто, нужно было постоянно напоминать шушикендцам об их долге перед богом,— дедушка Чопур переставал стучать и, подняв голову, обрушивал на надоедливый колокол все свое забористое умение.

— Чор, и когда ты подавишься своим богом, оглохнуть можно от твоего вопля! — посылал он через забор.

Мы, конечно, жались от таких откровений дедушки Григора. В бога-то как следует не верили, но все-таки было боязно: как это так, богу посылать чор — проклятие.

Дорога в церковь от дома Exca-биби шла мимо ворот Чопура Григора. И как ни старалась бедная женщина, направляясь на богослужение или возвращаясь из церкви, пройти мимо ворот незамеченной, не попасться на глаза Григора, ей это редко удавалось. Чопур Григор примечал ее и посылал ей вслед слова, от которых Exca-биби, часто-часто крестясь, спешила уходить.

— Крестись, крестись, раба божья, авось бог смилостивится, твоих отпрысков — Лазаря и Асатура — осенит удачей в этом Баку да лишнего заказчика ниспошлет твоему благоверному. Таких мастеров-бондарей, как наш Айрапет, ищи — не сыщешь, а без дела сидит. Только знай, почтенная, скорее глухого переспоришь, чем вымолишь чего-нибудь у всевышнего. А если что и вымолишь — не в твою пользу. Бог все выполняет наоборот. Как бы не ниспослал он твоему сладколюбу какую-нибудь шахиню.

И долго и весело рокочет ей вслед.

Айрапет-даи, даже мы, дети, знаем, питает особое уважение к женскому полу — кочка, о которую еще не раз споткнется наш достопочтенный, всеми уважаемый бондарь на потеху всего Шушикенда.

Бог ты мой, и о такой кочке, слабости человека, следует напомнить бедной молельщице в такой недобрый час.

Вот кто умеет бить, как говорится, то в гвоздь, то в подкову.

Стоит ли после таких слов дедушки Григора удивляться, если некоторое время спустя, когда придет Советская власть, на подмостках клироса, откуда сейчас наш священник читает свои молитвы, шушикендские «артисты» покажут свою постановку, ловко приспособив клирос под сцену. А как же иначе? Все церкви в Карабахе с первых дней новой жизни по просьбе самих же прихожан были превращены в склады, клубы, даже школы. У нас же — в театр. Чем мы хуже других?

Но я опять забежал вперед. Похвалился, что мы

всем домом, начиная с самого меньшого, Ашотика, и кончая дядей Багдасаром и тетушкой Нубар, неверующие, а к кому постучался наш священник, когда нужно было под рождество воду святить?

Об этом каждая собака в Шушикенде знает: постучались к нам. Нашему дому была оказана столь высокая честь: погрузить святочный крест в купель. Таков обряд.

Дядя Багдасар принял решение духовного правления Шушикенда без особого почтения.

Когда церковный причт пришел порадовать нас высшим соизволением церкви и, по этому поводу порядком нализавшись, ушел, дядя сказал им вслед:

— Знаем этих святителей. На мокрое место они не сядут.

Было это под вечер, за ужином. Дядя Багдасар, хмурый, расстроившийся, обсосав мокрые от чая усы, сказал, обращаясь ко мне:

— Готовься к обряду, Тигран. Ты самый старший из детей в доме, тебе и исполнить его.

Надо ли говорить, как в нашем доме готовились к этому дню. Особенно старалась тетушка Нубар. Убей меня, если я что-нибудь понимаю в делах взрослых. Церковь нашу тетушка Нубар не терпит, службу ее — тоже. Никто не помнит, чтобы она перекрестила лоб, ходила на богослужения, но вы бы видели, как она, носясь по дому, кричит то на маму, то на тетю Марго, обвиняя их в непочтительности к всевышнему, в непонимании того, какая выпала нам честь — быть святителем на святках. И хотя мама и тетя Марго старались как могли — шили, обшивали, для этого случая были сплетены даже новые трехи, но тетушке Нубар ничего не нравилось, ко всему придиралась она, приговаривая:

— Прости нас, всевышний, и строго не взыщи, если рабы твои в чем обделили тебя.

А вечером, набегавшись, уставшая от всех хлопот, жаловалась дяде:

— Как ты можешь, брат, спокойно сидеть, сложа руки, когда такое ожидается! Посмотри на Тиграна. На кого он похож? Словно оборванец. Как предстанет

перед народом, перед святейшими отпрыск Заруи, отпрыск Авака? О горе мое, горе! И в кого они уродились такие непонятливые!

Дядя Багдасар потребовал все мои наряды, строго осмотрел их, остался доволен.

— А что, сестра! Хорошо потрудились. Надеюсь, у ревнителей благочестия, даже у всевышнего, если он не сочтет за труд спуститься на грешную нашу землю, не испортится аппетит от вида нашего Тиграна. Никто в этот день кусок мимо рта не пронесет, будь спокойна.

— Не кощунствуй, Багдасар. Побойся бога,— пригрозив брату, тетя Нубар ушла, чтобы завтра прийти и снова все начинать сначала.

Настал долгожданный день. В церкви шла служба. На помосте алтаря стоял священник и, заглядывая в толстую книгу, читал молитву. Я едва узнал его. В другое время нашего священника не отличишь от любого другого шушикендца. На нем всегда мешковато висит старый-престарый крестьянский ватник, из потертых рукавов которого постоянно выглядывает свалявшаяся желтая вата. Такие же стеганные на вате брюки заправлены в разбитые сапоги.

В черной торжественной рясе, в таком же нарядном черном остроконечном капюшоне, прикрывающем лоб, он сегодня похож на патриарха Хримян-айрика, портрет которого висел в церкви

Я стоял тут же — ни жив ни мертв. Священник чужим, не своим голосом читал, водя пальцем по строкам книги. Читал он скороговоркой, невнятно, глотая слова.

Мне показалось, что он тоже выполняет какую-то повинность, ему тоже не по себе, торопится скорее уйти восвояси, и немного полегчало на душе.

Наконец настал и мой час.

— Подойди сюда, сын мой,— подозвал меня священник.

Я подошел не чуя под собой ног. Колени мои тряслись.

Священник взял меня за руку и подвел к массивной серебряной купели, полной воды.

— Возьми этот крест и повторяй за мной стих, который я скажу.

Я осторожно взял крест и сразу почувствовал, как всего меня проняла дрожь. То ли от холодной рукояти креста, которая как бы приросла к моей ладони, то ли от волнения. А стих прослушал. Уши словно ватой заложило.

Священник повторил стих. Уняв дрожь в коленях, я что есть силы в легких прокричал нужные слова. Кажется, перехватил, у меня чуть не лопнули барабанные перепонки от собственного крика. Я не рассчитал резонанс, какой бывает в церквах.

Священник даже не поморщился. Должно быть, обошлось.

— А теперь, сын мой, опусти крест в купель.

Я исполнил и это, опустил крест в воду. Батюшка погрузил кропило — три гусиных пера, сложенных вместе,— в серебряную купель и обрызгал меня святой водой. Это он повторил снова и снова, теперь уже обрызгивая клирос, амвон, алтарь, прихожан — что под руку попадет.

Мимо меня проходит причетник, помощник священника, с дискосом, собирая пожертвования прихожан. Дискос — плоское, длинное блюдо, куда прихожане бросают монеты. Дядя бросает три монеты, все золотые, и я вижу, как у причетника алчно загораются глаза.

Я ждал нового наказа, но наказа не последовало. Обряд окончен, я выполнил все, что от меня требовалось. Теперь можно убраться из этого святилища.

Но это было, как потом оказалось, только прелюдией, началом праздника. Настоящий праздник был на наатаке, где ждала нас богатая трапеза, данная дядей Багдасаром в честь крещения и оказанного нам высшего доверия духовного правления.

Наатак — место для жертвоприношения. Очень часто оно находится вдали от села, в укромном местечке, в тени больших деревьев, удобном для хорошего сытного времяпрепровождения. В Шушикенде было два наатака. На одном из них и ждала нас трапеза.

Надо было видеть тетушку Нубар: босая, так полагалось по обычаю, с исцарапанными ногами, она сту-

пала по наатаку, куда собрались со всей округи, подносяя каждому жертвенного мяса.

И случилось самое удивительное: в Шушикенде, где ни в одном доме, даже у самой набожной Exca-биби, не было ни одной иконы, имелись целых два наатака, где обильно, в праздник и не в праздник, в счастье и в несчастье приносились жертвы, пировали славно.

Славно пировали и в этот день, в праздник крещения, когда я стал святителем.

Много-много лет спустя я узнал, что святителем может стать только высшее лицо из церковной иерархии, и по-настоящему оценил, какая мне была оказана честь.

Я забыл сказать, что на этом пиршестве был и дедушка Чопур Григор, хорошо поел, попил и ни разу не вспомнил бога недобрым словом.

● ГЛАВА ПЯТАЯ

1

В Шушикенде уже знали: случись какая беда, Тадевос в ответе. Какой-нибудь беспорядок — тоже Тадевос.

Дедушка Тадевос был в селе уважаемым человеком. И был он мастер на все руки. Плотничал, столярничал по дворам. А если кому нужно бывало запастись дровами на зиму — тут уж двух мнений не может быть, — звали Тадевоса.

Все знали: дедушка Тадевос беднее бедного. И одинок. Но всегда чистенький, в чиненой-перечиненой одежке. Правда, редко брился. Большеносое лицо по самые глаза в бурой свалявшейся щетине с проседью.

В будни и не в будни дедушка Тадевос всегда носит под мышкой обушок в потертом брезентовом чехле. Он бережно хранил свой ржавый, зазубренный топор на коротком, растрескавшем и перевязанном бечевкой топорище. На всякий случай, если его призовут по делу — колоть дрова. Чтоб лишний раз не бегать домой. А колол он дрова, можно сказать, знаменито. Дедушка Тадевос знал особые приемы колки, что ли, и когда брался за свой зазубренный топор, шушикендская ребятня стайками слеталась смотреть, как он это делает. Занесет топор над головой, свистнет им в воздухе, ахнет — и чурки, блеснув желтой сердцевиной,

валятся набок, а то и летят в стороны, норовя клюнуть кого-нибудь из ротозеев-мальчишек.

Если в богатых домах Шушикенда, в сарае, в каком-нибудь углу двора, под навесом увидите аккуратно сложенные в поленницу наколотые дрова, приготовленные на зиму, так и знайте: это дело рук нашего Тадевоса.

Когда Тадевос не при деле, его часто можно было видеть медленно шагающим по селу с длинным чубуком во рту. От чубука валил дым, обволакивая обросшее щетиной добродушное лицо. Шел он, попыхивая дымом, приветствуя встречных, сам с достоинством отвечая на поклоны, всем своим видом давая понять, что живет не хуже других и не потерпит никакой поблажки, жалости к себе. А что он одинок, неухожен — то божья кара — кто в силах помочь ему?

И был Тадевос еще кроток, на редкость незлобив. Что греха таить, дети есть дети, им палец в рот не клади. А старик Тадевос не заботился оградить себя от шушикендских пересмешников и пустодомов. Бывало, он пройдется по селу — худой, тощий, с непокрытой головой,— с чубуком во рту, спокойно попыхивая дымом, как какой-нибудь богатей, а дети уже увязывались за ним и, кривляясь за спиной, оглашали воздух громким возгласом:

— Нищий гордец... Нищий гордец...

А многие ли помнят, чтобы, услышав эти слова, он на кого-нибудь обиделся, погнался за кем-нибудь, чтобы проучить наглеца-насмешника, за уши оттаскать? Он и это переносил легко и беззлобно, как и многие другие несправедливые обиды, удары судьбы.

Шушикендцы любили старика Тадевоса, жалели его и наперебой приглашали на хлеб-соль, желая чем-нибудь облегчить его участь, скрасить его одинокую жизнь.

Тадевос вежливо отказывался от хлеба-соли, хотя порою и жил впроголодь, а если садился за чужой стол, то только после того, как поколет во дворе дрова, поможет человеку в хозяйстве.

Так бы провековал свой век наш Тадевос тихо, никому не в тягость, если б не беда, неожиданно обрушившаяся на его голову.

На тракте как раз против нашего села колесо казенной повозки провалилось в ровчик, и сломалась ось. После распутицы дорога была плохо заровнена.

Урядник с есаулами не замедлили примчаться в село. Немедленно был вызван Тадевос. Урядник уставился на него своими выпуклыми рачьими глазами.

— Сто ударов, — коротко распорядился он.

Весь Шушикенд пригнали смотреть на эту экзекуцию. Люди хмуро отмалчивались, подальше спрятав свою обиду, боль за него. В гнетущей тишине было слышно, как шмякали шпицрутены по голому телу. И вдруг среди тишины — перехваченный болью голос Тадевоса:

— Прощайте, сыны мои! Запомните мой последний час. Отомстите за меня!

— Что он говорит? — осведомился урядник.

Один из есаулов, понимающий по-армянски, перевел слова Тадевоса. Урядник расхохотался.

— Где он взял сынов, этот несчастный бобыль? Видать, из ума выжил. Прибавить ему еще сто.

Но наказ Тадевоса был услышан. Не сыны, так другие услышали. Запомнили его последний час. Отомстили.

Не дальше чем через три дня, пробудившись ото сна, шушикендцы увидели: урядник торчит на заборе. Вернее, не урядник, только одна его голова, водруженная на кол, на котором в другое время сушились горшки из-под мацони. Только усы были при нем — длинные, рыжие, закинутые за уши.

Тоже для острастки, для устрашения тех, кто придет потом вместо него.

2

Давно это было. Когда еще жила моя бабушка и не было меня. Вот тогда и произошла эта история, которую я знаю так, будто при мне это случилось. Будешь знать, когда в каждом доме по сей день об этом разговор, моют, перемывают бабушкины кости.

Хотя я привык к героическим поступкам бабушки, где, по правде сказать, давно смешались были и небылицы, домыслы и действительные события, но я по

капле, по крохам собираю их, с удовольствием, смакуя, рассказываю другим, конечно же, прибавляя при этом толику своего домысла — не без этого.

Много воды утекло с тех пор, но не перевелись еще очевидцы, глубокие старики, которые, грея на солнцепеке свои старые кости, частенько предаются воспоминаниям, никак не наговорятся, не нахвалятся поступком моей бабушки.

— А помнишь, Карапет, как наша Заруи царских стражников проучила? — бывало, прокричит один другому на ухо. — Пришли за шерстью, а вернулись стрижеными.

— Бери повыше, Наапет, — пророкочет в ответ другой. — Самого пристава со всей стражей в полон взяла. Как нашкодивших мальчишек-сосунков, за шкирки — да в Шушу. Начальству на срам.

Если верить старикам, их разговорам, которые ведутся в домах Шушикенда, вот что произошло в то далекое время... Ночью все село было поднято истошными детскими воплями, раздававшимися в доме Чопура Григора. Один из сыновей дедушки Григора бежал с фронта, скрывался дома. Должно быть, власти пронюхали о нем, пришли за беглым солдатом.

Дети в доме Чопура орали, разбудив все село. Пробудились и в нашем доме. Бабушка первая выскочила на крик, на ходу обматываясь красным матерчатым жгутом вместо пояса.

Беглый солдат решил живьем не сдаваться. Началась перестрелка. Перепуганные дети закричали еще пуще.

Бабушка подошла к приставу, предложила снять осаду дома, пообещав вывести беглого солдата и отдать им в руки. Только бы не стреляли. В доме дети, куча сирот.

Пристав и ухом не повел, даже не выслушал, что бормочет женщина в пестром нарядном платье. Кто она такая, что ему, царскому чиновнику, условия предлагает? Беглого солдата он возьмет и так. Не таких брали.

Бабушка ждала ответа, но пристав и не думал вступать с нею в разговор. Он сильно толкнул ее в грудь. Бабушка упала.



Возле дома Григора стояла арба. Бабушка встала, отряхнулась, подошла к арбе.

В темноте что-то хрястнуло. Это бабушка вырвала из арбы тяжелое ярмо. Пристав и пикнуть не успел, как уже лежал на земле, оглушенный ударом ярма. Прибежавшие на помощь стражники были встречены тем же ярмом.

Стража присмирела, приняла условие. Перестрелка прекратилась. Бабушка вывела дезертира, прибе-

жавшие на помощь крестьяне помогли ей разоружить стражников.

Не тускнея, не слабея, живет во мне образ моей бабушки, с его былями, небылицами. Иди разберись в них, если свидетелей ее подвигов все меньше и меньше, если, передавая эти истории друг другу, каждый старается приобщить к ним свое, где убавляя, а где прибавляя к тому, что в действительности имело место.

И что бы там ни говорили, я дорисую портрет бабушки таким, каким он дошел до меня, какими бы неправдоподобными, сочиненными ни показались ныне подвиги бабушки.

Говорили, что в лесу появился человек в страшных лохмотьях, который бросается на людей. Сперва думали — выдумка, кому-то со страху померещилось. Но слухи подтвердились. В лесу живет дикий человек, одному опасно с ним встретиться.

Слухи дошли до бабушки.

— Посмотрим, что это за новый жилец появился. Потолкуем с ним, — сказала она, отправляясь в лес одна, не взяв с собою даже палки.

Все правильно: в лесу обитал полуголый человек. Они встретились. Завидев бабушку, он стал пятиться, пятиться, потом быстро-быстро забрался на дерево, гримасничая, устрашая ее.

Но бабушка, не обращая внимания на все это, подошла к дереву и велела лесному человеку сойти вниз.

— Спускайся, бесстыдник. Пойдем со мной домой. Я тебя накормлю.

Лесной человек перестал гримасничать, пугать бабушку. Еще минута, и он стал медленно спускаться по стволу.

Бабушка сняла с себя красный матерчатый кушак, которым она подпоясывалась.

— Набери хворосту, перевяжи кушаком. Дома дров нет. Надо подогреть обед.

Лесной человек, отворачиваясь от бабушки, принял из ее рук кушак, набрал хворосту, перевязал его и вскинул на плечо.

Так они появились в селе. Бабушка и полуголый человек с вязанкой хвороста на плече, смиренно ступавший за ней след в след, как завороженный.

Он оказался сыном известного шушинского купца. Лишившись рассудка, он сбежал из дому. Его давно уже искали по всем весям.

Вскоре нашлись родители больного. Забрали сына. А пока он жил у бабушки, был ниже травы, тише воды. Все приказания бабушки выполнял, слушался ее, не прекословя.

Говорят, что богатые родители, взявшие из рук бабушки присмиревшего сына, щедро отблагодарили ее. С этих благодарностей, мол, берет начало богатство дяди.

Прошу прощения, но здесь явная передержка. Известно, что бабушка умерла очень молодой, не увидев свадьбы первенца, а дядя стал богатеть много лет спустя после смерти матери, немало мытарствуя поначалу в поисках куска хлеба для себя, сестры и младшего брата, моего отца.

Это я в порядке разъяснения, для большей ясности.

Всех историй и историек, приключившихся с бабушкой, не расскажешь, не перескажешь, для этого нужно было писать не такую книгу. Но как умолчать, например, такое.

Как-то бабушка моя, Заруи, в поздний час ехала через лес. Навстречу ей Арзуман, ее деверь. Оба были верхами.

— Арзуман, — придерживая коня, спросила бабушка, — куда ты едешь на ночь глядя? Гачаки кругом.

Арзуман только улыбнулся. Это говорит ему, мужчине, человеку, прожившему свое, молодая женщина, мать троих еще не оперившихся птенцов. А сама спокойно едет через ночной лес. Ничего себе невестка, не правда ли?

3

Я поймал себя на том, что с некоторых пор, вернее, после того, как в сундуке у мамы появилась гербовая бумага, скрепленная печатью, на меня нашла такая важность, будто я не я, а сам господь бог поселился во мне.

Не только дядя Гегам, даже шушикендская пастушня разговаривает теперь со мною не иначе, как с под-

черкнутым уважением. Во всяком случае, не так, как раньше, до этой гербовой бумаги. Я даже слышал, как однажды мальчишка, поменьше нашего Ашотика, с которым я встретился на узкой горной дороге, пропустив меня, сказал такому же зеленому малышу, как и он:

— Знаешь, теперь кто он, этот верхолаз? Шушикендский Манташев.

«Верхолаз» — моя кличка, второе имя. Она пришла ко мне после того, как мы с Армо спасли лебеденка. Вот ведь спасли птицу вместе с Армо, а приписали это мне. К Армо запросто кличку не прилепишь.

Ну и пусть. Плечи мои не отвалятся, не перегнутся под тяжестью какой-то клички. Если хотите знать, не перегнутся они и от новой клички, которая будет. Вы же слышали, как мальчишка мне в спину сказал: «шушикендский Манташев». Думаете, он сам назвал меня Манташевым? У таких сосунков, как наш Ашотик или этот малыш, уши на макушке. Они всегда все знают первыми. Раз мальчишка сказал, значит... где-то эта кличка родилась, уже идет ко мне, но еще в пути, не дошла.

Манташев! По правде сказать, такая кличка почище Верхолаза будет. По крайней мере мне она больше по душе. И не потому, что Верхолаз хуже, а просто потому, что не имеет ко мне никакого отношения.

Эта кличка подходит Армо, Нерсику или Персику, Норайру или Жирайру, Аванесу, Ашотику, кому угодно, но только не мне. Я не верхолаз. Вы не знаете, что со мною происходит, когда я оказываюсь на какой-нибудь ветке. А что со мною было, когда мы с Армо влезли на скалу за инжиринами? Это когда мы еще лебеденка спасли. Вся душа ушла в пятки. И не потому, что я трус. Не в этом дело. Мне Армо рассказывал, что даже среди настоящих храбрецов встречаются такие: боятся высоты. Вот я такой. Боюсь высоты.

А Манташев, да еще шушикендский — мне в самый раз.

— Эй, Сарик-Марик, ты подсчитал сколько каштанов под хвостом осла? — кричу я мальчику, выскочившему из-за дерева.

Раньше, при встрече с ним, я таких слов, конечно, не сказал бы. Прежде всего я не назвал бы его Сарик-Марик. Его имя Саркис. Так взрослые называ-

ют. Мы же — Сарик-Марик, вроде дразнили. Это ничего не означает, возникло от Сарика, по созвучию. Его так называли, когда хотели поддеть, уколоть или просто подшутить над ним.

Про каштаны я тоже неспроста напомнил. Сарик-Марик даже до ста с трудом считает. Каштаны лишний раз должны были напомнить неучу его неумение считать.

Сарик с маху остановился, дружелюбно, с нескрываемой завистью разглядывая меня, будто не слыша моей дразнилки.

— Тигран, это правда, что дядя Багдасар половину богатства завещал тебе? — осторожно спросил он.

— Да, Сарик-Марик, — ответил я. — Теперь я сам Багдасар.

— Манташев!

— А ты и про это знаешь, Сарик-Марик? Наверное, и про то знаешь, как меня называет дядя Гегам?

Сарик мне погодок, но кажется моложе. Меньше ростом, хромоногий. Еще маленьким слетел с осла, повредил ногу и с тех пор хромает.

Мелкое лицо Сарика выразило крайнее сожаление.

— Нет, не знаю, как тебя дядя Гегам называет. Чего не знаю, того не знаю, — признался он. И, не скрывая любопытства, тут же спросил: — А как дядя Гегам тебя еще называет?

Но тут я вспомнил, кто я такой, коротко отрезал:

— Ты еще многого не знаешь, Сарик-Марик.

— Тигран, если я приду к тебе домой, покажешь мне «Майрени лезу»? — неожиданно спросил Сарик.

«Майрени лезу» — учебник по родному языку. Не каждый в нашем классе имел такой учебник, а я имел.

— Покажу, отчего же, приходи, — разрешил я. — Я тебе даже алгебру Киселева покажу.

Алгебру Киселева я прихватил, конечно, за компанию, для хвастовства. Нужна она ему, да, впрочем, и мне, как вчерашний день. Но Сарик вдруг проявил к ней такой повышенный интерес, что я даже растерялся. Неужели наш неуч, не умеющий считать до ста, имеет какое-нибудь представление об этом учебнике, которым пользуются лишь с третьего класса? Конечно же, нет. Ему просто надоело быть неучем. Надоело удивляться всему.

— Алгебра Киселева? — переспросил он так радостно, будто я приглашаю его есть из нашей давильни виноград. — Подумать только: я буду держать в руках алгебру Киселева!

Но я уже не слышу всех слов Сарика, иду дальше своей дорогой. Манташевы, наверное, подолгу не разговаривают с каждой размазней. А алгебру Киселева, которую мне прислал недавно дядя из Мерва, покажу. Пускай смотрит, если это доставляет ему удовольствие.

— Приходи, Сарик-Марик, — на прощанье снова великодушно разрешаю я. — Я тебе покажу «Майрени лезу» и алгебру Киселева.

Сарик еще долго ковыляет за мной, благодарно машет мне шапкой, зажатой в руке.

4

Даже сейчас, когда я много поездил по миру, многое повидал, улыбаюсь, услышав доброжелательно-снисходительный разговор о своем крае. Стороннего человека он всегда пугает обилием камня.

Спору нет, этого добра у нас хватает. Видите, по пригорку тянутся поля-террасы, как бы положенные друг на друга. Когда-то наши предки натаскали сюда, на эти террасы, землю в корзинах, и поля готовы. А вот и леса, карабахские леса, багряно-золотые гривы, чудом прилепленные к расщелинам неприступных скал.

Все это так, природа не в добрый день сотворила нас. Но попробуйте с таким разговором присесть к очагу какого-нибудь шушикендца. Он просто высмеет вас, постарается скорее избавиться от докучливого собеседника, позабыв угостить на прощание стопкой тутовки — неслыханный поступок, начисто перечеркивающий все азы широкого, не знающего границ карабахского гостеприимства. Только человека недоброго, оскорбившего честь дома, очага, так встречают-провожают у нас, без обязательной обжигающей душу огненной стопки.

Горек хлеб? Кому какое дело, каким потом взращен он? Мы на него не в обиде. Я не стану перечислять

всех богатств, которыми славится Карабах, начиная от недавно обнаруженного, отличного, с черным отливом мрамора близ села Гаров, других полезных ископаемых, минеральных источников, до целебного воздуха или лекарственных трав, о которых, разумеется, я тогда и слыхом не слыхивал и ведать не ведал. Но и без всего этого был он мил сердцу, наш Шушикенд. Мил своими близкими горами, на каменистых склонах которых ранней весной ярились синие крокусы, прохладой иссиня-черных, перезрелых ягод ежевики, которые мы срывали, продираясь сквозь ее колючие плети, раскиданные во все стороны. Не потому ли они так крепко засели в моем сердце, что доставались мне в поте лица? А бессмертник, крохотный, от рождения не особо яркий? Свитый в пушистые шары, он потом всю зиму щедро расточал стойкий, сильный, ни с чем не сравнимый аромат. Да что зима, если такой шар способен сохранить запах на долгие и долгие годы. Я знаю инженера, уже пожилого человека, пенсионера, живущего в Москве, у которого на письменном столе лежит этот огненно-желтый пахучий шар, свитый им в горах Карабаха еще в пору его молодости. Инженер уверяет, что этому шару более сорока лет, а возьмешь его в руки, так и обдает тебя сильным сладчайшим ароматом.

Никогда не перестану утверждать, что наши горы лучше всех других гор на всем земном шаре. Утверждаю, что если есть счастье на земле, то оно здесь, в наших горах. Точнее, у нас, в Шушикенде.

Так я думаю и сейчас, когда чуть ли не полмира исколесил, изъездив его вдоль и поперек.

Пока мы бродили мыслями далеко-далеко, сопоставляя весь земной шар с нашим Шушикендом, он взял да уткнул меня носом в ликующе-яркое зеленое чудо, стиснутое со всех сторон кручами гор. Чудо это — наши сады, тутовые сады, которые утвердились здесь с незапамятных времен, не замечая, а может быть, пренебрегая неудобством избранного им места для постоянного жилья. И не какие-нибудь чахлые деревца со скудной листвой, без тени, без плодов, насмерть перепуганные и солнцем, какое бывает здесь

летом, и каменной почвой, где так трудно окорениться, а целые зеленые фонтаны, устремленные к небу среди расщелин.

Нет, бога гневить не буду насчет туты. И язык не повернется сказать что-нибудь против. Она только и прижилась по-настоящему в наших горах. Все ему нипочем, нашему тутовому дереву. И палящее солнце, и неудобства ложа, и каменная безысходность. Ничего, даже если хозяин, занятый другими заботами, позабудет о нем, о своем кормильце, тутовом дереве, не польет, не срежет сухую ветку, не окажет ему никаких услуг, все равно в свой срок оно принесет свои дары. И зла не запомнит и обиды не держит. Такое дерево...

Вот с водой у нас плоховато. Не то чтобы полить огороды, сады — куда там! — для питья воды не хватает. Правда, для сторонних она есть. Насчитают вам три-четыре родника, названных громко — кягризами. Но мы-то знаем, какие они кягризы, если женщины, отправляясь за водой, домалывают по три пуда устаревших шушикендских новостей, да довязывают по две пары джорабок — шерстяных носков, пока дождутся своей очереди близко подойти к заветной струе, готовой в любую минуту вдруг захлебнуться, подавиться косточкой.

Только не делайте большие глаза, если после всех этих слов о кягризах Шушикенда я вдруг заикнусь о водяной мельнице Чопура Григора. Того самого Григора, что любил на досуге искать в папахе.

Да, да, я не оговорился, дедушка Григор поставил водяную мельницу, настоящую водяную мельницу, с подливным колесом, с отсеками-жабками... И поставил на круче, где не было воды.

Разве не ясно, что учудил старик, затеяв пустое дело?

Многие справедливо поднимали дедушку Григора на смех.

— На чем она будет у тебя работать? На двенадцати апостолах? Засмеют же нас люди!

— Будет вода,— спокойно отвечал дедушка Григор, который не любил вступать в длинные рассуждения.

Никто даже из близких не знал о его хитрых планах.

И действительно, нашлась вода. Дедушка Григор где-то в горах смастерил пруд, собрал в нем со всей округи дождевую воду, которая потом, сброшенная вниз, делала свое дело.

Увы, этой воды хватило всего на два-три дня. Только два-три дня вертелись жернова, перетирая зерно. Год тяжкого труда — три дня работы мельницы. Не слишком ли дорога плата за это удовольствие? Стоило ли огород городить на два-три дня?

Но вы глубоко ошибаетесь, если свои расчеты — выгодно и невыгодно — будете строить на простой арифметике. Здесь есть дальний прицел, расчет, не поддающийся арифметическому вычислению, тайный ход, известный тому, кто все это затеял.

Не понимаете? Поймете, если скажу, что в Шушикенде с некоторых пор стал действовать еще один источник — кягриз, который носит имя нашего Чопура. Кягриз этот так и называется: родник Чопура.

Остается пояснить, какая связь между мельницей и кягризом, где мельница, а где кягриз.

Связь, конечно, есть, и немалая.

Бежит вода по каналу, льется на колеса. Мерно стучит мельница. Вокруг нее помольцы, наши шушикендцы. И те, которые ждали помола, и те, которые уже успели смолоть свое зерно. И вдруг остановился жернов, прекратился ток воды. Озадаченные шушикендцы бегут вдоль арыка выяснять причину.

Причина найдена. Только не смейтесь, если скажу, что заминка на арыке произошла из-за буйволов. Обыкновенных буйволов, какие водятся в Шушикенде.

Пронюхав о воде, буйволы повадились ходить на арык. Спасаясь от слепней и зноя, будь они неладны, они садились поперек стока, завалив канал!

Буйволов выгоняли из арыка, и вода снова бежала по каналу.

За день помольцы сбивались с ног, гоняя буйволов, а Чопур Григор только усмехался.

— Правильная поговорка, шушикендцы: от дурной головы ногам покоя нет.

Помольщики сердились:

— При чем тут дурная голова, если буйволы, чтоб им ни дна ни покрышки, несносны.

— Несносны по нашему же глупому разумению,— спешил возразить Чопур.— Буйволы ни в чем не виноваты. Им тоже нужна вода. Был бы у нас лишний кягриз, разве буйволы потащились бы на арык?

Помольщики понимали, куда клонит упрямый Чопур. Сколько лет на всех перекрестках твердит он о новом кягризе, указывает, где надо его копать. Хоть верили шушикендцы в смекалку своего старожила, а за дело не брались: недосуг все им было.

Изведенные, сбитые с ног шушикендцы, проклиная несносных буйволов, ругая последними словами Чопура Григора, кряхтя, согласились наконец начать работы по рытью нового источника. Вся хитрость.

Кягриз этот существует и поныне и носит имя своего энтузиаста Чопура Григора — «Чопуранц кягриз». А мельницу, конечно, прикрыли, забросили. Спасибо ей, она свое сослужила!

Вот какое достопамятное событие произошло в Шушикенде, событие, которое еще долго будет занимать умы и воображение его людей,— одна из интереснейших историй, какую когда-нибудь знало наше село.

5

Как бы я Шушикенд ни любил, ни признавал его несомненных достоинств, должен сознаться: до сих пор на этом белом свете есть люди, которые не знают наш Шушикенд. Где он и что он такое.

Встречаются и такие, которые спрашивают:

— Какой Шушикенд? Это который рядом с Малибайлу?

Конечно, с такими, которые о Шушикенде и слыхом не слыхивали, разговор короткий — от ворот поворот. Но как быть с теми, которые знают Шушикенд, наслышаны о нем, но знают его по Малибайлу?

А никак. Ведь говорят же: скажи, кто твой сосед, и я скажу, кто ты. И мы бодро отвечаем:

— Да, он самый. Сосед Малибайлу.

Если хотите знать, такой разговор меня нисколько не унижает. Малибайлу такое же село, как наше. Те же дома, покрытые то шифером, то железом, а больше — под земляной кровлей или под соломой. Мы

всегда знаем, что варят в домах в Малибайлу сегодня на обед, малибайлинцам известно, что варится в котлах у шушикендцев. Такие соседи.

Но Малибайлу мне еще мил тем, что в нем живет мой побратим-кирва, с которым мы волос закопали. Зовут его Муртуза. Кирва Муртуза. Закопать волос — значит скрепить дружбу навеки. Такой обряд.

Я не сказал, что в Малибайлу живут азербайджанцы, а в Шушикенде — армяне. Не сказал, в каком почете в Карабахе слово «кирва», которое с давних пор связывает в кровном братстве оба народа. Кирва — это друг дома, который в счастье и беде рядом. Кирва — золотое слово, которым награждают друг друга кровные братья. Вот что такое кирва.

Во-он, видите — взберитесь на пригорок, что возвышается перед нашим селом, и оттуда посмотрите вниз — в долине сквозь кудрявую накипь зелени проглядывают темные, глинобитные дома. Это и есть Малибайлу.

Впрочем, я Малибайлу знаю не с пригорка. Может быть, кое-кто из шушикендцев и знает его с этого взгорка, но только не я.

Не забывайте, что Малибайлу — то село, где дядя Багдасар покупает на корню виноград. Чуть ли не два месяца здесь, в садах, работники дяди режут виноград, и чтобы я не знал малибайлинцев? Это раз. Затем Муртуза, с которым у нас дружба, с которым мы волос закопали.

В Шушикенде мальчишки кричали мне:

— Эй, кирва Муртузы, часом, не знаешь, когда дядя Мамед пожалует к нам?

Дядя Мамед — отец Муртузы. Его в Шушикенде обожают. Особенно мы, шушикендская ребятня. И как не любить такого, если он чуть свет появляется на улицах Шушикенда, услаждая наш слух сладко щемящим сердце возгласом:

— Сары-инжир, сары-инжир!

Бог ты мой, и чего только не привозил дядя Мамед в мешках или корзинах, перекинутых через спину осла. То арбузы. То дыни. Свежие огурцы. Даже шамам. Шамам — та же дыня, но круглая, вроде маленького арбуза. Нет, вру. Скорее он похож на клубок, свитый из цветов бессмертника. Но аромат! По-моему, ничто

не издает такой сильный запах, как шамам. Сильнее даже бессмертника. И тоже держится долго. Сколько лет живет шамам, столько же лет источает он свой неистребимый аромат!

Я не знаю, за что уважали взрослые дядю Мамеда, но нам было за что! Такой он догадливый! В корзинах его и мешках всегда можно было найти лакомства, которые у нас не росли.

Мы караулили дядю Мамеда на всех перекрестках и, завидев его громадную фигуру в большой папахе, со всех ног кидались ему навстречу.

— Дядя Мамед, дядя Мамед пришел!

Был дядя Мамед еще не стар, но изрядно лыс. Румяное круглое лицо обрамляла кудрявая черная борода с редкой проседью, тоже круглая. Всегда за поясом у него торчал чубук, который он то и дело доставал, и прежде чем закурить, подолгу большим желтым от курева пальцем уминал табак.

Я забыл сказать, что дядя Мамед был еще нашим добрым вестником. Если наш обостренный слух в суголоке наступающего утра улавливает вдруг слово «инжир», то мы уже знаем: пришло лето. Оно в Малибайлу, вот-вот перевалит через взгорок, что разделяет наши села, щедро и неудержимо разольется по нашим туговым садам, поднимется выше и выше в горы. Если же «шамам» — увы, прощай лето

В Шушикенде только Аванесбек не уважает дядю Мамеда. Но какой Аванесбек шушикендец? Залетный гусь, да и только. Кроме того, Аванесбеку есть за что быть им недовольным. Дядя Мамед все-таки ему конкурент.

Я не знаю, что на уме у Нерсика и Персика или Сарика-Марика, которые при случае не преминут спросить: «Тик, когда дядя Мамед привезет свежие огурцы?» Или знаю ли я, когда шамам поспеет?

Глупые, конечно, знаю. Если хотите знать, уже отведал и огурцов, которых вы и в глаза не видели, и дыни, и даже шамама. Показал бы вам, какой у меня шамам, который вчера подарил мне Муртуза, но я не покажу. А то совсем от зависти помрете.

Такой разговор еще ничего, проглотить можно. Но как поступить с теми, которые за глаза и в глаза несут всякий вздор, вроде: «Ну, наш Манташев на мокрое

место не сядет, зря постромки не порвет. Знает, с кем волос закопать. Теперь ему полное раздолье. Мало ему винограда — будет обжираться теперь огурцами».

Ах вы лоботрясы! Не верите, что я дружу с Муртузой бескорыстно? Думаете, дружу из-за его отца? Вернее, из-за огурцов или шамама?

Таким выскочкам я не отвечаю. Ноль внимания и фунт презрения. Дружил я с Муртузой и буду дружить. А что касается выгод, какие я извлекаю из этой дружбы,— это же курам на смех. Во-первых, знаете, чей я сын, какой я бедняк; во-вторых, дядя Мамед — беднее бедного. Хотя и торгует он огурцами, но торгует не своими. Весь его товар хозяйский, он только продает. Язык без костей, болтают, пустомели!

Если Малибайлу чем-нибудь отличается от нашего Шушикенда, то это водой. У нас, вы слышали, питьевой воды кот наплакал, а здесь — хоть пруд пруди. К тому же еще у самого села, в глубине ущелья, бежит звонкая речушка. Речушка маленькая, у нее даже имени нет. Бежит, бежит, играя галькой, и вдруг умолкает, перестает даже течь. И такое бывает с малибайлинской речкой: то мелеет, вовсе исчезает, то снова наполнится шумом, побежит во всю прыть.

Но что бы там ни было, как бы речка ни вела себя, здесь всегда найдется яма с застоявшейся холодной водой — память об обмелевшей речке,— где всегда можно всласть накупаться, нырнуть под воду так, что тебя совсем не видать. Этими затонами, разумеется, пользовались и мы, шушикендская ребятня. В Малибайлу не только у меня кирва, весь Малибайлу полон кирвами, которые также великодушно приглашали своих друзей из Шушикенда купаться в их речке. Сегодня здесь столпилась куча голых крикливых мальчишек.

— Эй, Муртуза, вода холодная?

— Смотря для кого,— отозвался один из огольцов, стоя по пояс в воде.— Для разных Манташевых, может быть, и холодная. А для нас, простых кяндчи[1], самый раз.

Это, конечно, Муртуза. Он без меня куска не съест, всем со мною делится, но при случае не прочь

[1] Кяндчи — крестьянин *(азерб.)*.

поддеть меня, как, впрочем, и я его. Такая уж у нас привычка.

— Жалкий кяндчи, и ты дразнишь меня! — кричу я в ответ, бросаясь с кручи.

Бросаюсь, однако, с умыслом, с превеликой хитростью — бултыхнуться в воду как можно поближе, угостив охальника холодным душем

Было начало лета, вода в речке убавилась, но не настолько, чтобы прогреться в ямах и затонах, куда все время поступал свежий приток воды.

От студеной воды и у меня перехватывает дыхание, но я со злорадством замечаю, что от моего душа и Муртузе не по себе.

И поделом! Пусть не распускает язык.

Вокруг меня барахтались, выбирая места поглубже, малибайлинские ребята. Брызгались, окунали друг друга с головой — им не до нас с Муртузой, не до нашей шуточной перебранки.

Хоть и посинели их рожицы, я все же многих узнаю, они узнают меня.

— Приходи вечером к нам ужинать,— предлагает Муртуза, будто ничего между нами не было.— Будет бозбаш[1]. Не пожалеешь, приходи. Можешь прихватить с собой и твоего дружка Армо. Как вы его еще называете?

— Сали Сулейман!

— Сали Сулейман? Так это совсем хорошо. И я — Сали Сулейман. И тоже атаман.

У Муртузы, несмотря на его грозную кличку, из носа течет, и весь он дрожмя дрожит.

— Хорошо, приду,— обещаю я, и тоже через силу. Проклятая холодина сковала и меня всего.

— Ну, чего уставился, давай поплывем! — снова кричит на меня Муртуза.

«Хитряга все-таки Муртуза,— замечаю я про себя.— Думает, я не знаю, почему он так кричит на меня. Он стыдится своего жалкого вида и скорее хочет улизнуть под воду. На здоровье, кирва! Вид у меня тоже не лучший, и я не прочь скрыть это от тебя».

— Давай,— соглашаюсь я, вслед за Муртузой ныряя под воду.

---

[1] Бозбаш — суп из баранины *(азерб.)*.

Перекупавшись, мы вылезаем из воды. Так полагается даже у самых заядлых купальщиков. Чтобы отдышаться, погреться на солнце. Солнце! Как хорошо, что есть на свете лето и такое жаркое солнце. До чего мы все жалки были всего минуту тому назад.

Я взглянул на Муртузу. Мальчишка как мальчишка. Смуглый, со смешливо-озорными глазами. Только волосы сбились в паклю, придется отмывать их в трех водах. Другие купальщики тоже ничего. Все пришли в себя. Выходит, холод, он не разбирается, кто из нас атаман или Манташев, а кто простой кяндчи.

Муртуза провожает меня до пригорка.

— Приходи вечером с Армо. Смотри, слово дал,— кричит он мне вслед.— Или, часом, у Манташевых не принято ходить к простым людям в гости?

— Хорошо, придем! — кричу я в ответ, все-таки погрозив ему кулаком.

6

Разомлев от жары и бесконечной беготни за разбредающейся скотиной, мы присели в скудной тени дикой яблони и принялись есть. Хлеб хоть и белый, пшеничный, но прокален зноем, посох, сильно зачерствел, крошится. Трудно было есть, застревало в горле. А тут еще вода кончилась в кувшине. Было лень сбегать к роднику за водой. У Армо где-то в углу сумки оказались крошки от сыра, и мы с величайшей тщательностью вылавливали их, уминали в хлеб.

Завтрак получился бы на славу, если бы вода. Но воды не было. Ни капли.

Откуда ни возьмись возле нас появились Норайр и Жирайр. Видно, они тоже что-то пасли поблизости.

— Доставайте, что у вас есть, и присаживайтесь к нам,— предложил я.

Норайр и Жирайр, глотнув слюну, переглянулись. Я только сейчас заметил: сумки у наших друзей пусты.

— А нам не с чем присоединиться. Мы только поели туты.

— Тута не хлеб и не шашлык,— заметил Армо.

— Это ты нам говоришь? Ты это скажи тем, кто

считает, что летом каждый куст кормит, можно обойтись без еды,— вздохнул Норайр.

— Даже без хлеба?

— Даже без хлеба. Так нам говорят.

— А кто такую басню придумал? — поинтересовался Армо.

— Понятно кто. Отец,— пояснил Жирайр.

— Так вы голодны? — засуетились мы.

— Как сказать. Наелись туты.

Армо махнул рукой.

— Опять тута.

Мы пригласили товарищей присесть поближе. Чем богаты — тем и рады. Норайр и Жирайр не заставили долго упрашивать себя. Присели, с жадностью набросились на еду. Армо отвернулся от ребят. Ему стало жаль их.

— Один хлебец был на двоих, мать тайком сунула нам, но мы его давно съели, — объяснил Жирайр с полным ртом.

— А как же ваш отец с работниками обходится? — спросил я.— Наверное, и их голодом морит?

Норайр и Жирайр весело посмотрели друг на друга, перемигиваясь.

— А они сами кормятся,— пояснили братья, перебивая друг друга.

— Как сами? Воруют?

— Зачем воровать? — братья снова весело переглянулись.— Совсем и не воруют.

Мы ничего не поняли. Перемигиваясь, они снова заговорили вместе:

— Очень просто. Один из работников — чабан, овец пасет. Артаваздом его зовут. Вот они у него и обедают. Надоит полную миску овечьего молока — и тюря готова. Да в придачу еще сыром попотчует. Он еще сыр может варить.

— А если отец узнает?

— Убьет.

— Убьет, и все-таки делает?

— Делает. Он и нас угощает.

— Так этот Артавазд просто герой.

— Герой,— подтвердили братья.

На склоне ближней горы паслись овцы. Кто-то оттуда энергично махал нам папахой.

— Он, — определил Норайр.— Артавазд.

— Что же он машет папахой?

— Это он зовет нас к себе. Махнем, а? — предложили братья.— Остальной хлеб доедим там. Устроим хороший пир. Тюря, сыр. Вода там близко.

Теперь переглядывались мы с Армо, раздумывая, принять предложение или нет. Ведь можно подвести парня.

— Ничего с ним не случится. Отца в селе нет. Десятский Акоп всех сегодня погнал на расчистку дороги. На перевале обвал опять перегородил тракт.

— Пошли,— согласились мы.

Артавазд оказался молодым парнем с крупным, коричневым от солнца лицом. Он встретил нас как старых друзей.

— Ну чем потчевать вас, ребята? Есть у меня холодный мацун, ножом не разрежешь. Свежий сыр. Молоко... Хлеб у вас есть? Отлично,— заключил Артавазд.— Будем на первое есть тюрю. На второе подам холодного мацуна.

Пир получился отменный. Только радость немного была омрачена сомнением: вдруг Бадунц Аршак дознается о нашем пиршестве?

7

Бадунц Аршак не дознался, все обошлось как нельзя лучше. Важные события разыгрались в Шушикенде, заставив Бадунца Аршака заложить уши ватой. Не одни же огорчения проторили дорогу к нам. И нам, малым шушикендцам, доставалось изрядно и того и другого. Как там ни суди, как бы мы ни были малы, а уже шушикендцы и живем жизнью всего села, радуемся, когда ему улыбается счастье, и огорчаемся, когда какая-нибудь беда стучится в его двери, переступает порог.

И я не думаю, что где-нибудь растут прямо на дереве жареные каштаны. Жареные каштаны не растут и у нас в Шушикенде...

Я не говорил вам, что иногда, отправляясь в Малибайлу, дядя Багдасар брал меня с собой. Дядя вообще не любил посвящать нас, детей, в дела взрослых, но

так уж получилось, что я невольно стал свидетелем одного разговора, который засел мне в голову.

Прохаживаясь по саду, дядя точно определял, сколько в нем винограда, вслух прикидывал, какую он будет иметь выгоду, и только тогда назначал цену.

Однажды, должно быть забывшись, при мне он принялся подсчитывать барыш.

— Конечно, здесь винограда столько-то пудов,— рассуждал дядя, называя цифру.— Если столковаться на столько-то пудов, получится чистого дохода...

При этом предположительная цифра урожая значительно превышала цифру, о которой дядя хотел столковаться.

Меня это оглушило. Я не сразу понял все арифметические выкладки, производимые дядей. Мне даже показалось, что я ослышался.

Мало-помалу случай этот забылся. Но не прошло и недели, как я снова вспомнил о нем.

Накупавшись в речке, мы с Муртузой отправились в сад дяди Мамеда. Было это в разгар сбора винограда. Наши работники маячили всюду.

Мы застали хозяина сада и дядю, стоящими друг перед другом, со скрещенными ладонями. Так всегда делают, заключая сделку.

Дядя Мамед и летом и зимою носил круглую мохнатую папаху из бараньей шкуры. Но сейчас он без шапки Дядя Багдасар — тоже. Должно быть, спор шел давно, и обе стороны успели уже порядком попотеть, поскидали шапки.

В горячке спора они не заметили, как мы выросли возле них и с любопытством наблюдаем за торгом.

Дядя Багдасар называл одну цифру, по обыкновению призывая в свидетели всех угодников, Мамед огорченно отнимал руку, не соглашался, называя свою.

— Бога у тебя нет, Багдасар. Ни армянского, ни мусульманского,— отбивался он, размахивая руками.— Забыл, какой снял урожай с этого же сада в прошлом году? Тоже прибеднялся, богом клялся, а надул меня за мое почтение. Почему же в этом году половины цены не даешь? Что стряслось с моим садом? Град побил? Мор напал? Что? Почему это вдруг он уполовинил урожай?

— Не знаю, не знаю,— чужим голосом тянул дядя.— Я своим глазам больше верю.

Увидев нас, дядя очень расстроился, поспешно отнял руку, недовольно буркнул:

— Куда вас нелегкая несет? — Потом сухо добавил: — Хорошо, пусть будет по-твоему. Ради наших детей, их дружбы. Где наша не пропадала!

И оба старика закрепили сделку рукопожатием.

Я хотел было уйти, но Мамед преградил мне путь.

— А виноградом кто полакомится? Или ты решил — раз взрослые ссорятся, так и дети — врозь? Нет, Тигран, я тебя так не отпущу. Пока мой сад, ешь с дружком сколько влезет. И инжир уже поспел. Марш к нему. Вам до нас нет дела.

В голосе дяди Мамеда еще звучали непримиримые нотки, а большая вспотевшая проплешина так и сверкала на солнце.

В село вернулись с дядей.

— Что, Тигран, не понравился тебе твой родитель? Вроде шкурником он тебе показался? Хотел обмануть отца твоего дружка.

Я, конечно, так не думал о дяде, но что-то сковывало мне язык, и ничего я не мог сказать ему в утешение. Только сопел да поглубже разгребал носком треха дорожную пыль.

— И правильно делаешь, что так считаешь,— продолжал дядя, не глядя на меня. — Жизнь наша несовершенна, я с тобой согласен. Человек не должен говорить неправду. Плохой человек говорит неправду. Еще хуже, когда он на людях говорит одно, а думает другое. Но ты пойми и меня. Вдумайся в такое слово «ар ев тур», что означает: купи и продай. Если ты будешь продавать за столько, за сколько купил... В трубу вылетишь, нищим будешь. Вот и рассуди, как взрослым быть? Нищим с сумой ходить по миру или иметь свой кусок хлеба? А с Мамедом я, может быть, и перестарался. С другом, говорят, ешь, пей, а торговых дел не веди. Торг дружбы не знает.

С пригорка, пока мы шли, Муртуза кричал мне какие-то слова, но я их не слышал. Мысли были далеко. Такой поступок! Дядя хотел обмануть Мамеда, отца Муртузы, который мне кирвой приходится? Убей меня, если я что-нибудь понимаю в делах взрослых.

8

По пыльной сельской улочке не торопясь идет Мухан, который на прошлой неделе прибыл к нам. И не откуда-нибудь, а с самого фронта, из гусарского полка его величества. Так по крайней мере говорят о нем взрослые, почему-то оглядываясь по сторонам, шепотом. Прибыл, не пожелав больше воевать Про это тоже говорят шепотом. И еще о многом шепчутся в Шушикенде по углам.

Откровенно говоря, если послушать взрослых, то и в малибайлинской речке, что облюбовали мы и славно купаемся в ней в жару, в той речке, которую иной раз курица свободно вброд переходит, опасно купаться, можно утонуть.

Увидел Мухана, и — ей-же-ей,— все, что говорили про него, будто ветром сдуло. Честное слово, от одного только его вида голова готова закружиться.

«Нет, нет, меня на мякине не проведешь,— думалось мне.— Не воробушек тебе. Навидался я за это время, нагляделся на всякие чины — дай бог каждому. Пристав с усами, закинутыми за уши, тот, что так бесславно кончил жизнь, увенчал своей персоной кол на заборе в Шушикенде, чтоб ему на том свете икалось,— это раз! Разные акцизные и другие чиновники — это тебе два с хвостиком! Тут же считай десятского Акопа. Как там ни говори — царев человек».

Но гусар Мухан... Весь Шушикенд смотрел, цокал языком, когда он во всем гусарском снаряжении шагал по селу. Жаль, что я не знаю всех слов, обозначающих эти бляшки, кресты, перья и нашивки на нем. Поломал бы язык, а всего бы не пересчитал. Но то, что я знаю, о чем уже наслышан, все же назову. Вот видите, на голове возвышается целая скирда. Это кивер с орлом. А перышко, торчащее из кивера, как стожковый кол, султаном называется. Еще что-то такое, тоже на кивере — тульей. Про остальное позабыл. Не знаю. Чего не знаю, того не знаю.

Но что это? Его чуть-чуть пошатывает. Он идет и тоненьким голосом, совсем неожиданным для его геройского облика, тянет что-то невнятное, слов нельзя разобрать. Впрочем, это ничего. Должно быть, по дороге заглянул в подвалы дяди. Эх ты, дядя Гегам.

Где же твой кашель? Видать, не на всех действует твоя хитрость. Ну да ладно! Кто только за день не заглядывает в наши подвалы, одним выпивохой меньше, другим больше. Переживем и это, не обеднеем.

Пока дядя Мухан, покачивая перышком в кивере, шел мне навстречу, я успел о многом подумать. Гусар. Только беглый. Знаменитый был, говорят, солдат, воевал что надо, кресты разные заслужил, потом война ему надоела, воткнул винтовку штыком в землю — это у них означает: хватит, отвоевался,— и был таков.

А все-таки посмотрите на этого беглого. Бахвал и задавака, да и только. Фасонит своим мундиром, красивыми нашивками, нарядным кивером с перышком.

Я шел навстречу ему и грыз в свое удовольствие сорванные где-то дички, жесткие, вяжущие рот. Почему-то среди мальчишек села дички ценились высоко. Должно быть, оттого, что они растут в расщелинах самых неприступных скал и не каждому под силу их доставать.

Поравнявшись со мною, Мухан щелкнул каблуками и приложил два пальца к козырьку.

Я чуть не подавился, не прыснул от смеха. Мухан, как бы соображая, кто я и откуда взялся, смерил меня с ног до головы взглядом. Наконец узнал.

— А-а-а, кулацкое благородие.

Он дернул за спиной мундир, стараясь тверже стать на ноги.

— Ты думаешь, я пьян и потому так с тобой разговариваю? И трезвый скажу, почему я дезертировал, почему я вашего брата не люблю. Ненавижу всяких обирал, даже твоего святошу Багдасара. Не желаю кровь проливать за вашего царя — и баста. Понял? Не желаю. Пусть теперь баре воюют за своего царя.

Он вскинул руки, как делают, чтобы поймать курицу. Но я ловко вывернулся из-под широко расставленных рук.

— Боишься? Думаешь, я тебя съем? Напрасно. Я с малолетней публикой не воюю. Запомни еще одно, малыш: волк ел, не ел, а пасть в крови. В какого бы доброго святошу твой Багдасар ни играл, он волк. Помесь волка с лисой. И пасть у него в крови. Иди, иди. Мо-

жешь даже передать ему, что я о нем думаю. Он со всякими урядниками садится-встает, приемы им устраивает. Засадить ему беглого гусара раз плюнуть. Даже бляху заработает на грудь. А добротой своей или дармовым вином мне глаза не замажешь. Я воробей стреляный.

Я вспомнил недавний разговор дяди со мной, как мы добываем свой кусок хлеба, и от этого мне ничуть не стало легче.

«Вот ведь,— с нестерпимой болью думал я,— нализался нашего вина, а еще такие слова говорит. Приемы устраиваем! Какие это приемы, если урядник сам навязывался к нам в гости? Начальство может избрать себе для ночлега любой дом в Шушикенде. Нашей вины в этом, ей-ей, ни капли нет, так и знайте».

Наговорившись, Мухан ушел, чуть пошатываясь.

Я долго смотрел ему вслед, не зная, как отнестись к его обидным словам. В конце концов я весело засвистел и пошел своей дорогой. Какой спрос с пьяного.

9

Нет, что там ни говори, а за дядю обидно. Правда, он богатый. У него чаще всего стоят казенные люди, когда они проездом останавливаются в Шушикенде. Но разве он слал за ними красное яблоко? Захотели с дороги передохнуть, перекусить малость и завернули к нам. Разве гостям дорогу закажешь? Не заказываем же самому Мухану дорогу в наши подвалы, почему другим должны заказать? Да чего там! Мухан просто пьян. Был бы трезвый, разве он наговорил бы столько глупостей. А что, если дядя возьмет и скажет о нем какому-нибудь из чиновников, которые часто наведываются к нам, про его дела-делишки? Но дядя этого не сделает. Пусть беглый гусар Мухан мелет себе, что на язык придет, мне от его слов ни холодно ни жарко. В одно ухо входит, а из другого выходит. Тоже мне нашел изъян — богатый! Кто в наши дни отказывается от достатка? Ты хоть не смешил бы людей, Мухан! Все знают — богатый богатому рознь. У одного в винных подвалах невозбранно можно пировать, а у другого горстью снега со двора зимою не разживешься.

Взять того же дядю Бегляра. Помните, я как-то начал что-то мямлить, но не договорил. Пришло время рассчитаться за тот поступок, дорогой сродственник, потачки уж не жди.

Всем известно, что у нас своего виноградного сада нет, виноград покупаем по соседям на корню, а у дяди Бегляра есть. Пусть небольшой, но сад, огороженный от всего мира высокой колючей оградой Вообще-то дядя Бегляр не из богатых, но слыл в селе крепким хозяином. У него не только виноград, но и свой мед, чего у нас никогда не водится. И дом у него, ей-же-ей, не хуже нашего. Да в придачу садик во дворе, который летом утопает в зелени, в цветах, в гудении пчел. Ну что ж! Это мне в радость. Дядя Бегляр нам не чужой. Как-никак муж тетушки Нубар, при случае можем полакомиться и медом и виноградом...

Если вы думаете, что по праву родства я частый гость этого сада, то вы просто ошибаетесь. Черта с два! Ни я, ни мой братик Ашот или Аванес не нюхали ни его меда, ни винограда. Не тот попался нам родственник!

Но все это пока цветочки, а ягодки зреют. И они вызрели, поспели.

Есть у нас такой неписаный закон — во время сбора винограда, если ты пришел поздравить с урожаем, к тому же не с пустыми руками, да еще помочь хозяину резать виноград, то ты желанный гость, никто тебе не преградит дорогу. А вот мне и Аванесу преградили. И преградил ее наш родич, дядя Бегляр.

Узнав, что завтра у дяди Бегляра начинается резка винограда, мы с Аванесом пристали к тете Марго, чтобы она сварила нам курицу для подарка. Тетя Марго сварила курицу, даже пирог испекла для такого случая — гату, но, когда мы пришли, дядя Бегляр принял у нас платок с харчами, а калитку перед самым носом закрыл, не пустив нас в сад.

— Идите гуляйте себе, — сказал он. — Вас только здесь недоставало.

Большую жизнь я потом прожил, много повидал, многое позабыл, время стерло из моей памяти даже целые события, людей, которые много значили в моей жизни, но дядя Бегляр остался. Вернее, не он, а

этот жест, движение руки, перед самым носом захлопнувшей калитку. Запомнилась даже калитка: плетеная дверь, в которой зияла щель — кто-то обломал три прута, чтобы лучше обозревать сад.

Давно это было, очень давно, может быть, лет за сорок, и ничего не забылось. Так бывает. Человек со временем забывает даже имя близкого, черты его лица, но не забывает самого главного, что наиболее полно выражает его характер.

Рад бы не тревожить прах давно почившего родственника, а пришлось...

Теперь вы догадываетесь, почему разные чиновники выбирают для ночлега наш дом. А не дом дяди Бегляра или Бадунца Аршака. В том, что высокие гости так и норовят заночевать у нас, а не у других, знайте, нашей вины никакой нет, и нечего за это тыкать нам в глаза.

Бондарь Айрапет-даи, которому не откажешь ни в уме, ни в знании жизни, сказал бы: человек не бочка, его по ладам не соберешь, обручами не свяжешь.

Дядя Бегляр такой, так он скроен, обручами стянут — что с него возьмешь? Ведь говорят же: из кувшина может вытечь то, что в него налито.

Дядя Багдасар перед гостем двери не закроет. Это уж как дважды два — четыре.

Впрочем, хлебосолом в Шушикенде был и Барсем-апер. Это у кого ульи, своя пасека. Барсем-апер нам никто, никакой он нам не родственник, но сколько раз я отведал его меда, стоило ненароком подвернуться под руку, когда он открывает ульи. И не только я. Многие шушикендцы и постарше помнят щедрую руку Барсем-апера.

Вспоминаю Барсем-апера, и сейчас же на душе делается тепло от одного только его имени.

Богатую жизнь прожил Барсем-апер, с японцами воевал, за Турецкую кампанию Георгиевский крест заслужил, но вот остались в моей памяти не Георгиевский крест, не разные другие кресты, а кусок хлеба, густо намазанный медом.

Так, очевидно, бывает и с каждым из нас. Чем-нибудь, порою мелочью, незначительным поступком, улыбкой, словом вдруг зацепишь за живое, и она, эта

мелочь, остается жить после тебя в памяти других, потому что в этой мелочи был весь ты.

Пасека Барсем-апера. Оговорюсь. Собственно, никакой пасеки и не было. Была небольшая поляна на отшибе от села, обнесенная ветхим забором, за которым ютились несколько ульев-колод, вот и вся пасека.

Я любил с мальчишками нашего тага приходить на эту поляну. И не только для того, чтобы в нужную минуту, как это может казаться, подвернуться под руку. Просто было интересно поглазеть на пчел, узнать, как за ними ухаживают.

Интерес этот особенно возрос после того, как на пасеке появился Мухан. Беглый гусар был сыном Барсем-апера.

Ведь интересно же в самом деле посмотреть, как Мухан во всем своем гусарском великолепии, на виду у всех, без дымаря и даже без маски открывает ульи. Или во время роения, когда гусар с ловкостью заправского пчеловода огребает отройки, живые клубки молодых пчел, и переселяет их в заранее приготовленные ульи. А чтобы они не разлетались, закрывает леток тряпкой.

Но сегодня я не хотел задерживаться возле заветного забора. Пусть наслаждается Мухан своим медом, какое мне до него дело? Если я для него отпрыск богача, ничего более, то и он мне никто. Жил как-нибудь до этого без Мухана и сейчас проживу. Не велика потеря. Подумаешь, гусар, да беглый. Нашел чем хвастать, своим перышком. Смешно даже.

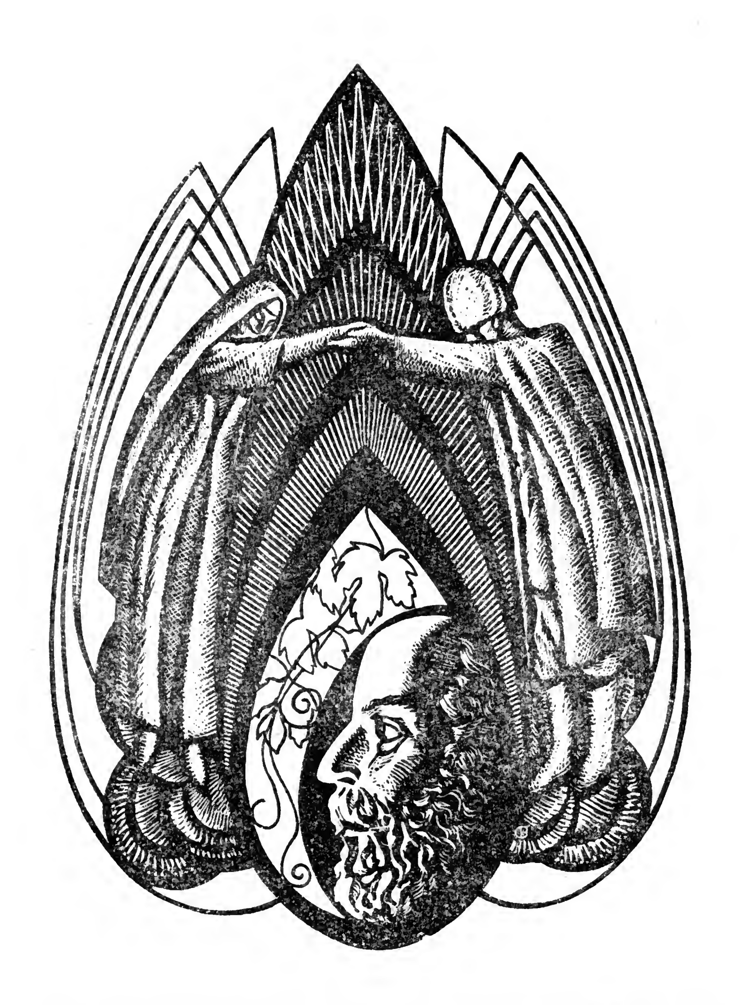
Но меня окликнули. Окликнул Мухан. Он стоял посреди поляны, между ульями, и подзывал меня на пасеку.

— Иди, сюда, Тигран, медком угощу. Ты же любишь мед?

Я стоял, потупив голову. Я, конечно, не забыл всех слов, которые он наговорил мне вчера.

Мухан подошел к ограде. На лице его играла приветливая, грустная улыбка.

— Многое разделяет нас, малыш. Ты еще мал, ничего не понимаешь. Вырастешь и мою правду поймешь. По справедливости рассудишь нас. Иди, иди, ешь медок, только что вынул. Да иди же, ну!



И, распахнув передо мною плетеную калитку, силой втащил меня на пасеку.

Я ел ноздреватый духовитый мед и чувствовал, как краснеют у меня уши. Не думай, Мухан, что только ты умеешь наносить обиды. Если бы ты знал, каких только слов я не наговорил тебе после вчерашней встречи, когда ты по пьянке всыпал мне и дяде Багдасару. Теперь мы расквитались. Как говорится, баш на баш.

Я ушел от Мухана, готовый простить ему все обиды. Нет, как бы там ни говорили, не такой уж отпетый наш беглый гусар дядя Мухан.

10

Мы идем по селу. Я по одну сторону, Армо — по другую. Посередине наш дед тер-айр.

Нам от этой прогулки хорошо. Должно быть, и деду тер-айру тоже хорошо. Он идет с нами по Авдуру и рассказывает нам какую-нибудь героическую историю, каких он знает великое множество.

Авдурцы нас теперь не дразнят. Привыкли, мы тоже им не показываем язык. Полная дружба и взаимопонимание.

Но я бы согрешил против совести, если бы наше пристрастие — мое и Армо — бывать в Авдуре приписал только любви к деду тер-айру и славным нашим прогулкам с ним по селу.

Я говорил, что Авдур и до сих пор славится своим тонирным хлебом, хлебом особой выпечки, какого не встретите нигде в Карабахе, а еще более грушей под названием маланчени. Таких груш, уверяю, вы тоже нигде более не встретите. Только в Авдуре, в этом милом моему сердцу селе деда и бабушки по матери.

Не груша — объедение. Когда она в руках, хочется есть ее вместе с пальцами, которые касались ее. Вот какие были груши, которыми мы с Армо объедались круглый год. Осенью — с дерева, из сада, все остальное время, включая и зиму, — из карасов, зарытых в землю.

Ну как после этого не любить Авдур, не проторить дороги к нему!

Тер-айр самозабвенно рассказывал разные умопомрачительные истории, одна заманчивее другой, но мы их не слушали: авдурские маланчени были так вкусны, так вкусны!

Как ни бодрился дед, как ни прикрывался разными историями, он не мог скрыть постоянных тревог и беспокойств, которые изо дня в день, из года в год грызли его сердце. У деда тер-айра была неприятность по службе, и это не давало ему покоя. Много лет спустя я узнал, какая у него была неприятность.

К деду, священнику григорианской церкви, ночью постучались два молодых грешника — он и она — и попросили, чтобы священник обвенчал их. Девушка по возрасту не подходила для замужества, но она ждала ребенка, и они слезно умоляли заключить брак. Дед долго колебался, он не мог нарушить законов церкви, но не мог и оставить молодых в беде. В конце концов обвенчал их.

О поступке священника авдурской церкви узнали в высшей церковной иерархии. Сам протоиерей был в Авдуре, наводил справки.

Высшая иерархия не спешила с наказанием. Богобоязненный дед долго ждал ее справедливого решения, похудел, ослаб, весь пожелтел. В конце концов он так и умер, не простив себе вины перед церковью, ее незыблемыми законами.

Бабушка же Аби-акер умерла совсем недавно, прожив более девяноста лет.

Чтобы завершить этот затянувшийся разговор о моей родословной, я хочу обобщить все сказанное.

Мой дед уста Авак и бабушка Заруи, давшие жизнь целому племени, разбросанному по всему свету, незримо живут в нас. То и дело среди его поросли попадаются тихие, неприметные побеги, склонные к наукам, искусству; попадаются и такие, которые холодную подкову могут разогнуть.

Две кровинки живут в нашей родне, подчас в каждом из нас — одна от кроткого деда, уста Авака, другая от Заруи, моей бабушки, наделенной необычной храбростью и силой. Живут эти кровинки бок о бок, причудливо уживаясь, дополняя одна другую, подсобляя, и я не знаю, какую из них больше предпочесть. По мне — обе хороши.

И когда сейчас моя семилетняя дочка Майя, просыпаясь ото сна, кричит с постели: «Папа, иди, я тебе слова придумала», — и, закатив глазки, нараспев произносит, что придумала, я уже не удивляюсь. У моей крошки в жилах, должно быть, течет кровинка кроткого, склонного к сочинительству дедушки — уста Авака.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Во дворе канцелярии стояли ящики. Заготовлены номера-бумажки, свернутые в трубочки. Возле ящиков толпился народ. Здесь были и те, кто удостоился чести занять место в летописи Шушикенда, и те, кто еще не успел, но ждет своего часа, чтобы каким-нибудь поступком, добрым или дурным, большим или малым, заявить о себе.

Впрочем, от того, как поступят сегодня шушикендцы, столпившиеся здесь, во дворе канцелярии, будет решаться заодно, что ждет каждого из них: слава или бесславие.

Как же можно спокойно взирать на эти ящики с бумажками-номерами, если в них такая сила? Вытащил бумажку с номером пять, это тебе один разговор, четыре — совсем другой. Интересно! Ей-же-ей, эти взрослые всегда что-нибудь придумают. Иди теперь досыпай себе в этот ранний час, когда такое делается в Шушикенде.

Мы шныряли среди обалдевших от разговоров взрослых, ко всем приставали:

— Что такое? Что за ящики?

Взрослые отмахивались от нас, как от мух. Видно, не до нас было им. Но все же среди них находи-

лись и такие, которые охотно пускались в беседы с нами, сосунками.

— Выборы... Выбираем Всероссийское Учредительное собрание...

Такой разговор, конечно, не привычен для нашего уха, понять что-нибудь в этой кричащей толпе было гиблым делом. Однако мы были не такими уж несмышленышами. Мы хоть и малы, но свои соображения все же имеем. Нет царя, на его месте будет Всероссийское Учредительное собрание.

Вот так новость! Был царь, который нас и в лицо не видел, а без нас, без нашего Шушикенда, не мог обойтись. Теперь Учредительное собрание, и тоже без Шушикенда не может. Выходит, наш Шушикенд — важная шишка, если без него не могут ни царь, ни Учредительное собрание.

За первый, второй и третий номера почти никто не голосовал. Голосовали за четвертый и пятый. Мой дядя голосовал за четвертый, а Гегам — за пятый. Только немного спустя я понял, что такое четвертый номер, а что такое — пятый. Четвертый номер — дашнаки, пятый — большевики. Выходит, дядя голосовал за дашнаков, Гегам — за большевиков.

Значит, кроме Учредительного собрания, есть еще дашнаки, которые тоже хотят царское место занять. Вон на выборах, для смеха, что ли, один голосовал за меньшевиков, один — за кадетов, один — за эсеров. Только большевики ни о каком царе слышать не хотят. Видать, он им порядком надоел. Так говорят взрослые.

Ой, как тесно будет на этом самом троне! Разве он выдержит всех? Наверняка второй раз рухнет.

Кроме Гегама, многие шушикендцы голосовали за пятый номер, но почему-то после этих выборов в селе открыто посмеивались над Гегамом.

— У нашего Гегама скромный вкус. Он не собирается сесть на трон. С него хватит шеи Багдасара.

Более сведущие в характере дяди Гегама при этом добавляли:

— Кто-кто, а Гегам на мокрое место не сядет.

А еще говорили:

— Тысячу раз прав сказавший: кто живет смир-

но, тот живет сытно. Посмотрите на нашего Гегама, может, слов и не понадобится.

Но что бы там ни говорили, Гегам голосовал за пятый номер, а дядя Багдасар — за четвертый.

2

Не знаю, что прибавилось или убавилось от того, что вместо царя пришло Учредительное собрание. Только и дела, что канцелярия наша опустела. Сбежал акцизный. Куда-то исчезли и другие казенные люди, и вместо них в селе появились всадники в черных башлыках, закинутых за спины, и с маузерами в деревянных кобурах. Всадников этих в деревне называли дашнаками и старались реже попадаться им на глаза. Особенно боялись их старшего — хмбапета. Он был весь в патронташах, ремнях и портупеях и почти не сходил с коня. Был раньше пристав, который тоже любил красоваться в седле, а теперь — хмбапет. Но какое нам дело до пристава или хмбапета, до их страсти к верховой езде. Не лопнули от зависти, когда под приставом приплясывал тугоуздый конь, екая селезенкой, не умрем, если такой конь будет красоваться под хмбапетом. Пусть по улицам Шушикенда вместо пристава гарцует теперь этот хмбапет. Нам от этого ни холодно ни жарко.

Не успела пыль осесть на дороге, по которой примчались к нам в село дашнаки как Мгер, сын лавочника Аванесбека, рослый губастый мальчуган чуть-чуть постарше меня, с разлившимся на толстых щеках румянцем, преспокойно стянул себе имя важного начальника. И не какого-нибудь простачка, а самого Нжде. Пусть так, Нжде, подумаешь. Но и мы не в верблюжьем ухе спим, кое-кого знаем почище Нжде. И вмиг перекрестили нашего атамана в Дро[1].

Армо всегда в единоборстве побеждал сына лавочника, теперь же, когда тот стал Нжде, так и ждал случая, чтобы по-настоящему прибить его.

И конечно же, такие случаи не замедлили представиться. Толстощекого, задиристого Мгера видели

[1] Нжде и Дро — предводители дашнаков, военачальники.

в селе то с подбитым глазом, то с синяками и шишками на лице. И мы знали: это дело рук Армо. Нжде частенько попадало от Дро.

Но недолго светила нам звезда Армо, вскоре она закатилась. И в этом повинны прежде всего Нерсик и Персик. Где-то дознались, несносные мальчишки, что Дро такой же дашнак, как и Нжде, как и все те, которые голосовали за четвертый список, и решительно восстали против Армо. Нерсик так и сказал, глядя себе под ноги:

— Я не хочу драться рядом с четвертым номером. Дашнакам не место в нашем отряде, если даже он Дро.

А тут еще этот побитый Мгер, атаман Нжде, подзуживал, подливал масла в огонь:

— Тоже мне Дро нашелся. Станет господин Дро заступаться за вас, голытьба несчастная. Кто не знает Дро? Он у дашнаков главнее главного.

Теперь уже ясно, нам не по пути с этим Дро, который за дашнаков, который сам дашнак.

Вот не думал, что, замахнувшись на Дро, которого нужно изгнать, попадут в нас, в меня и Аванеса. Это даже любопытно: Дро оказался дашнаком, мы за него в ответе. Мы с Аванесом, известное дело, не голосовали ни за четвертый, ни за пятый список, маленькие не голосуют, но почему-то все задирают нас. И опять же эти мальчишки, два лезвия кинжала — несносные Нерсик и Персик. Перебивая друг друга, они кричат, бросая колючие взгляды то на нас, то на Армо:

— Мало того, что он Дро. Еще детей богачей защищает. Ты настоящий Дро и есть.

Армо ничего не ответил.

— Тогда проваливай и ты, Дро. Не нужен нам атаман, который за дашнаков. Нам с ними не по пути.

Значит, дашнаки, с которыми не по пути Нерсику и Персику, это мы, я и мой брат Аванес. Дядя Багдасар голосовал за четвертый список, выходит, и мы четвертые. Богатые, с которыми им, нашим крикунам, также не по пути, выходит, мы, отпрыски Багдасара, отсевок какой-то. Ну и язвы же вы, Нерсик и Персик! Пустоплясы и крикуны несчастные!

Кто не знает Аванеса, того, что не дальше чем несколько дней назад, на зависть всему отряду, из пращи поразил цель, в которую не попал сам Нерсик. Сколько было разговоров! У всех на памяти еще случай, когда мой брат вцепился в горло самому атаману и не выпустил из рук, пока наши не подоспели, не взяли его в плен.

В отряде и я не на последнем месте. Но все это сейчас ничего не стоит. Это верно — дядя голосовал за четвертый список. Но какое нам дело, за кого голосовал Багдасар? Мы за него не в ответе. У Багдасара своя голова, у нас своя.

Меня обидело и другое. Подумать только: в нашем отряде спокойно разгуливали себе отпрыски Бадунца Аршака — Норайр и Жирайр, и ни одного слова против них.

Правда, посмотришь на них, беднее бедных — ни вида, ни обувки, худые, в замызганных одежках, которые так лоскутками на них и сползали. И трехи — дыра на дыре. Хуже чем у самого нищего. До того они не походили на богатых, что даже Нерсик и Персик ни разу не заикнулись о них, об их отце. Будто мироед Бадунц Аршак не имел никакого отношения к ним.

— Решайте, товарищи! Одно скажу: Тигран — красный. Краснее красного. Я сейчас больше этого ничего не могу сказать. Придет время, сами узнаете. И Аванес хороший малый. Ну что из того, что отец богатый? И у богатых бывают неплохие дети.

Это и успел сказать Армо. Поднялся шум.

— Вот до чего договорился, Дро! Хватит! Наслушались мы тебя, защитника богачей. Уши вянут от твоих гнилых слов. Ты нам теперь не атаман, а мы тебе не отряд.

И снова громче всех кричали Нерсик и Персик. Тыча пальцами в нашу сторону, в меня и Аванеса, они орали во все горло:

— Не место!

Это мне и Аванесу не место с ними, с Нерсиком и Персиком, в одном отряде. Нерсик и Персик считают, что мы, дети Багдасара, своим присутствием позорим их, отпрысков Гегама, который тем и жив, что есть на свете Багдасар Арустамян.

На какое-то мгновение я увидел в кучке возбужденно кричащих ребят Нерсика и Персика. Они стояли, как всегда, спина к спине, как сущие дьяволы, готовые к бою. Я поймал на себе выражение их глаз и вздрогнул от неожиданности: Персик и Нерсик готовы растерзать нас с Аванесом за то, что мы богачи.

Мне больно и обидно за себя, за своего брата, за дядю Багдасара. Больнее и обиднее вдвойне слышать такие слова от Нерсика и Персика, детей Гегама, которых в нашем доме считали за своих. Ну, конечно, не обошлось и без потасовки. Вечером, перед сном, когда мы с мамой остались вдвоем, мама спросила, где это я так разукрасился. Я чистосердечно признался во всем, рассказал ей о нашей драке, о Нерсике и Персике.

— Мама, почему нас все ненавидят? Волком на нас смотрят. Что мы им сделали плохого? — спрашиваю я и чувствую, что вот-вот брызнут слезы.

— Несколько мальчишек обидели тебя, а ты уже — «все», — уклончиво отвечает мама. — С каких это пор Нерсик и Персик стали всеми? Не обращай на них внимания. Мальчишки же!

Но я уже не могу скрыть накипевшую злость.

— Выросли на наших харчах, нас же презирают, — говорю я, выбирая слова пообиднее. — Паразиты. Неблагодарные свиньи...

— Не смей говорить о людях плохо, слышишь, — строго обрывает мама. — Ты не был в шкуре Нерсика и Персика. Не тебе судить об их поступках, попрекать хлебом, которого ты еще не заработал.

Помолчав немного, добавляет, но уже грустно, задумчиво:

— Сев на верблюда, за горб не прячься. А посеяв ячмень — пшеницу не жди. Ты сам избрал свой путь, сам и отвечай.

3

Из всей канцелярской братии только десятский Акоп и остался. Остался и службу свою не забыл. После каждой распутицы звал народ на воскресник: чинили мосты и гати, приводили в исправность тракт и полевые дороги.

— Кто бы ни был у трона — царь, Керенский или Учредительное собрание — один черт, дороги должны быть исправны. Не Керенским по ним ходить, а нам. Не у Керенского переломится нога от неисправности, а наши с тобою ноги. И нечего прохлаждаться в тени безвременщины. Давайте потрудимся.

К чести десятского будь сказано, призывая выйти на очередной воскресник для ремонта дорог, он первый брался за лопату. Только частенько, это верно, десятский бывал под мухой. По-прежнему те, которые уклонялись от дорожных работ, откупались вином. Что скрывать, наш десятский не прочь приложиться к вину, ему только рюмку покажи.

Мы, конечно, не отлынивали от дорожных работ. То дядя Багдасар выходил на воскресники, то Гегам. А если неисправность была против наших владений — к Гегаму дядя снаряжал еще других работников.

Все честь по чести, без намека на подкуп. Тем не менее в месяц раз десятский появлялся в наших подвалах. Стоя, привалившись грудью к бочке-толстухе, наш выпивоха тянул вино через соломинку. Он это делал с таким усердием, так уходил в свое занятие, что не услышал бы, изойдись Гегам кашлем. Пусть пьет, мне не жалко. Только не ругайте нас потом, вроде того Мухана с перышком, будто мы приемы устраиваем разным царским чинам. И вообще хитрим, позволяя каждому пастись в наших винных подвалах.

Опять за свое. Хорошо, я согласен. Если гостеприимство — это хитрость, то мы хитрые. Но не согласен, когда нас, Арустамянов, ставите на одну доску с мировым скупердяем Бадунцем Аршаком или даже дядей Бегляром, это который перед самым нашим носом, моим и Аванеса, захлопнул калитку, не пустив нас в свой сад во время сбора винограда.

Такими, вы хотите, чтобы мы были? Интересно, если мы, как богатые, хитрим, пуская вас пировать в наших подвалах, так почему же Бадунц Аршак не прибегает к нашей хитрости? Ведь он тоже богатый?

Нет, правильна поговорка: если хочешь потерять друга, сделай ему добро или одолжи ему денег.

В самом деле: у других, посмотришь, и орехи не шумят, а у нас и вата трещит. Разве не так?

Выпив из одной бочки-толстухи, десятский приложился к другой, с тем же усердием тянул вино через соломинку.

Интересно все-таки, куда подевался дядя Гегам со своим кашлем? Конечно, проглотил его, как это бывает с ним, когда в подвале появляется кто-нибудь из начальства, если даже это начальство в образе гизира — рассыльного канцелярии. И перед бывшим гизиром он готов переломиться.

Все знают, что десятский уже не десятский, начальник, так сказать, самодеятельный, тем не менее ему в подвале привольно, никакого кашля над ухом. И это не первый случай, когда милейший Гегам вдруг проглатывает кашель.

Тогда над самым ухом десятского, с большим удобством устроившегося у новой бочки, кашляю я. Иди, иди, дяденька, ты порядком задержался. И зачем нам вообще перед каждым раскошеливаться, мотовство показывать? Все равно между нами и Бадунцем Аршаком, у которого зимою снега не допросишься, или Абелом, бандитом из бандитов, чтобы ему икалось на том свете, разницы нет. Отмечены одной меткой: богачи. Иди же, ну, десятский Акоп!

Однажды, наугощавшись вдосталь, напробовавшись, десятский, польщенный гостеприимством Гегама, уходя, спросил:

— Так в чем здесь твоя работа, братец?

— Кашлять. Когда гость ненароком задержится, — чистосердечно признался дядя Гегам.

— Кашлять? — расхохотался десятский. — Не пыльная у тебя работа, я тебе доложу, братец.

4

Чур, забыл сказать, что десятский не только десятский, который нет-нет да и вспомнит, на чьих хлебах харчился, а еще — пехлеван, известный на весь район силач. Вы только попристальнее всмотритесь в него, может, и слов не надо будет тратить, чтобы ко-

го-то убедить в этом. Правда, ростом он не так вышел, невелик, зато широк в плечах и крепок, как орех.

Была еще одна причуда у нашего десятского: любил он по праздникам, нализавшись, куражиться для озорства. Засучив рукава, ходил по кругу, зазывая соперника на борьбу, и непременно побеждал его. А силу он имел необыкновенную. Тиснет разок противника и трахнет на землю, как кутенка, лапками вверх. Вся борьба! Ох и доставалось на орехи многим молодым шушикендцам от Акопа! После такого посрамления хоть на улицу не показывайся. И ничего, все сходило с рук. И никакой вражды. Даже тот, кто сам любил покуражиться, не таил обиды. Я же говорил, шушикендцы прощали десятскому-пехлевану любое озорство.

Но я, кажется, зубы заговариваю, рассказывая какие-то басни про десятского. При чем тут сила? Если десятский царев человек, его соглядатай, нечего ему после царя задерживаться. Укатили восвояси все царевы люди, пусть и он проваливает. Подумаешь, пехлеван!

Тсс! Про волка речь, а он навстречь! Уж не наш ли десятский идет, высоко задрав голову? Не пьян, а такой веселый, будто не имел никакого отношения к царю, которому дали по шапке. Даже посвистывает. Видать, не очень-то царь дорог нашему пехлевану, если это не попортило ему ни настроения, ни аппетита. Попрежнему ест вволю, на свадьбах и праздниках основательно закладывает и, конечно же, придравшись к случаю, устраивает шумную борьбу, посрамляя любого и каждого, кто отважится схватиться с ним.

Был праздник Вартавара. В тутовых садах, где уже перестали звенеть цикады, дело шло к осени, народу было невпроворот. Мальчишки моего возраста играли в лахты. Намотав один конец брючного пояса на руку, лупили по ногам тех, которые были за чертой круга, водили. Ну конечно же, шум, гам, визг. Такая уж это игра.

Интереснее было, конечно, у качелей, где парни и девушки, повзрослее нас, вооружившись гибкими ивовыми ветками, легонько ударяли ими по ноге качающегося, приговаривая:

— Ануны тур! Назови, кого любишь!

Чуть подальше — борьба. Здесь уже мерились силами парни.

Сегодня я с Аванесом. Армо что-то не видать с утра. Арев — тоже. Должно быть, они там, где качели.

Не знаю, как Аванеса, но меня, чего греха таить, тоже тянуло туда, где качели, где били веткой по ноге. Но мы туда не идем. Стыдно.

Пока я размышлял, к какой группе примкнуть, чтобы было и по возрасту и интересно, Аванес отбежал немного в сторону, исчез в толпе взрослых и, вернувшись, потащил меня за собой. Я понял: где-то поблизости и развлекается десятский Акоп.

Так и есть, слегка подвыпивший десятский в кругу обступивших его зевак, любителей борьбы, засучив рукава, вызывал противника.

В другое время он ничем не выделялся среди других шушикендцев, одевался кое-как, был весь в заплатах и носил трехи из воловьей сыромятной кожи, какие носили в Шушикенде. Но сегодня наш десятский Акоп был одет по-праздничному. Еще бы! Вартавар всем праздникам праздник, особенно для взрослых. Точнее, для тех, кто еще не женат. А Акоп, хотя ему немало лет, еще не женат.

На нем белая рубашка, подпоясанная узким поясом со множеством металлических насечек, которые, ударяясь друг о друга, все время позванивают. На ногах — начищенные до блеска сапоги, которые все же просят каши. Под рубахой играют круглые мускулы.

— Ким мэнэ бассар? — выкрикивает Акоп по-азербайджански, победно шествуя по кругу. Это означает: «Кто меня победит?»

Толпа не отзывается. Кто не знает недюжинной силы бывшего десятского? Кто решится схватиться с таким? И вдруг среди столпившихся людей — движение. Расталкивая локтями, протискивается вперед гусар Мухан. Со всеми нашивками, нарядным кивером, с орлом и тульей. Покачивая перышком, он вошел в круг и молча стал против десятского. Мухан высокого роста, широкоплеч, но все же много терял рядом с могучим, важным десятским, полным снисходительного высокомерия.

Толпа замирает от предчувствия веселого зрелища. Со всех сторон сбегаются люди.

Десятский минуту с любопытством разглядывает противника, как бы измеряя его рост, прикидывая, чего он стоит. Потом усмехается и с убийственным спокойствием говорит:

— А ты, беглый гусар, часом не оставил завещания, кому мундир твой после тебя передать? Или ты думаешь, пришел к теще на плов?

Мухан с тем же убийственным, неподражаемым спокойствием отвечает:

— А ты, царское благородие, сперва узнай, сколько стоит этот мундир. Может, не по карману тебе рассчитаться за него?

Обменявшись столь любезными приветствиями, противники затоптались на месте, готовые вот-вот схватиться.

Мухан поначалу только защищался, с трудом выдерживая натиск противника. Это, видимо, вдохновило десятского. Вихрем кружась вокруг Мухана, он выкрикивал какие-то слова, подзадоривая и подбадривая себя.

Борьба продолжалась недолго. Толпа вдруг ахнула. Что-то тяжелое, взметнувшись вверх, описало в воздухе нелепый круг и рухнуло на землю. Никто толком не разглядел, как все это было. Только и видели, как Мухан, железными руками прижав могучие плечи десятского к земле, выговаривал в лицо ему:

— Ну как, оценил, почем мой мундир? Часом, не продешевил его?

Десятский встал, растерянно отряхнулся, совсем без злобы разглядывая победителя, сказал:

— Вот не думал, что такой может германцу спину показать!

— Я показал спину не германцу, а царю. А от войны, не беспокойся, я в кусты не спрячусь. Знаю теперь, за кого воевать.

Кто-то в толпе схватил меня за руку. Оглянулся: Армо.

— Пойдем, Тик. У меня для тебя новость.

Выйдя из толпы, мы отошли в сторону.

— Пляши, Тик,— оглядевшись по сторонам, объявил Армо.— В Баку переворот. Всем богачам дали по шапке. Там коммуна.

5

Я пытаюсь уяснить для себя то, что происходит в Баку. Коммуна! Понятно. Это вроде нашего десятского. Самодеятельная власть, но только без царя.

Фу, черт, я, кажется, заговариваюсь, несу чепуху. При чем тут десятский? Где десятский, а где коммуна? Благо не было поблизости Армо, не подслушал. Лопнул бы от смеха от такого сравнения.

Я хочу вспомнить, что я тогда понимал и чувствовал. Коммуна против богатых, а мы богатые. Мне тягостно слушать об этом. Мало того, что нас поносят всякие Нерсики и Персики,— и коммуна туда же! Кто же мы и чего от нас хотят? И кто они, эти люди, что хотят нас разорить?

Конечно, Армо все знает. Конечно, не стал бы Армо поздравлять меня, если бы коммуна для того и пришла, чтобы нас придушить. Армо все-таки нам родственник, не стал бы он радоваться нашему несчастью. Тут что-то не то. Вот бы сейчас поговорить с ним. Но где там! В последнее время не очень-то увидишь Армо рядом. Совсем повзрослел. Раздался в плечах, вытянулся. Потемнело над верхней губой, того и гляди пробьются усики. Яснее ясного — ему неинтересно со мной.

Нет, нет, хоть и коммуна против нас, но я за коммуну. Потому что за коммуну был дядя Саркис. Был Ишхан. Интересно, что скажет по этому поводу Армо?

Нет, право, если я кому и завидую, так это Армо. Счастливый. Он всегда все знает наперед. Еще бы не знать. Жил в самом Баку, видел такое, что нам, деревенским мальчишкам, и не снилось. Вот и сегодня...

Правда, Армо изрядно щеголяет своим преимуществом, своим жизненным опытом. Иногда становится мучительно неловко, когда он начинает нести такое, что даже Ашотик недоверчиво таращит глаза. Этот рассказ о том, как среди бела дня он приклеил на спину городового прокламацию... Недоверие усиливается еще оттого, что одураченный городовой внешне очень похож на нашего блаженной памяти урядника. У него были такие же висячие рыжие усы и они закидывались за уши.

Пусть Армо даже немного привирает, но я его все равно люблю. Дорожу его дружбой, хотя он и старается подальше держаться от меня, водится с ребятами повзрослее. Что поделаешь. Армо почти взрослый.

На плечо мое ложится чья-то рука. Оглядываюсь: Мухан. Во всем своем гусарском снаряжении. При всех регалиях. С перышком. Он ободряюще улыбается мне, гладит голову. Никогда он не был со мною так ласков.

— Вот и конец моему дезертирству пришел, малыш. Теперь и мы повоюем. За нашу рабоче-крестьянскую власть.

И он показывает рукой в сторону дороги, где стоят наши шушикендские парни с дорожными мешками за спинами. Я знаю всех их как облупленных, они знают меня. Ребята тоже добро улыбаются. И, о диво, среди них я вижу десятского. Он тоже улыбается мне.

Мухан нагнулся, обнял меня.

— Прощай, малыш, и прости что было. Зря обидел тебя. Я твой корень знаю.

Попрощавшись со мною, он зашагал в сторону дороги, где ждали его другие шушикендские парни.

— Куда вы, дядя Мухан? — крикнул я.

— Известно куда. В Баку. Коммуну защищать. И я и мои друзья...

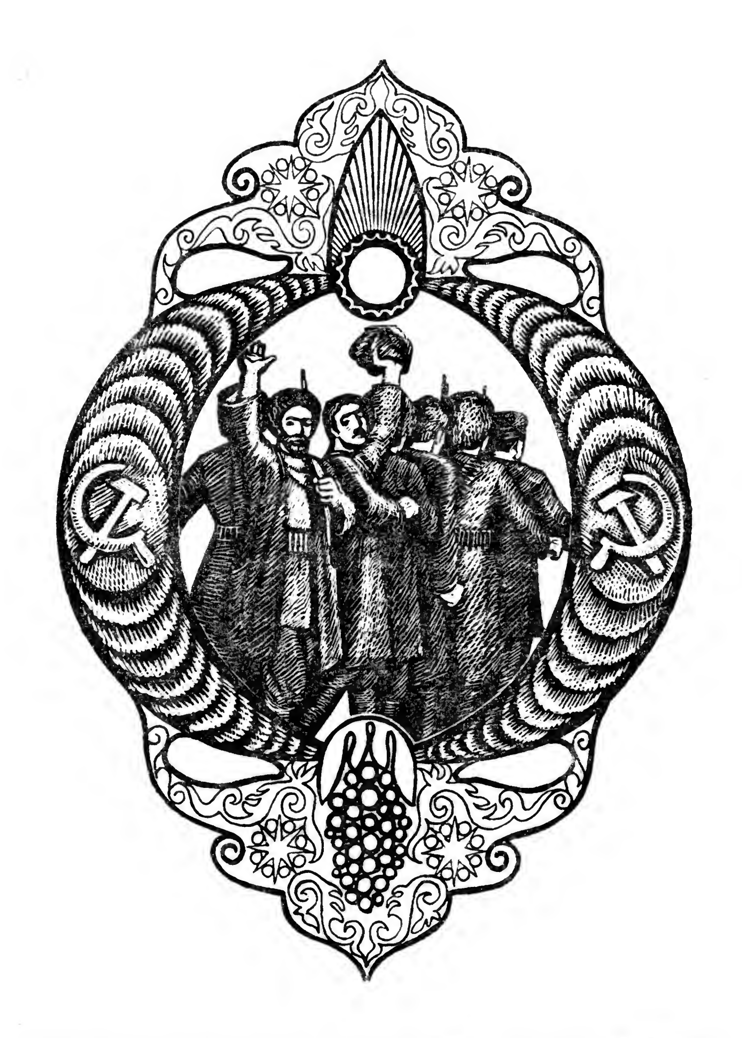
Мухан присоединился к ребятам, и вся группа с песней тронулась в путь.

Стоя у дороги, я смотрел на людей, поднявших за собой клубы пыли, слышал их звонкую песню. Еще долго на дороге среди пыли колыхалось перышко Мухана.

6

В нашем доме, как уже известно, сидеть без дела не полагалось, а потому после школы мы с Аванесом, который в этом году пошел в школу (Ашот пока не в счет, он еще недорос), как можем, помогаем взрослым: водим скот на водопой, задаем корма, чистим конюшню, вилами выгребая из нее навоз. Даже научились, соперничая друг с другом в мастерстве, лепить на стене кизяки, не хуже тех, какие лепит тетя Марго.

Хитер дядя Гегам! И здесь он сталкивал нас, меня



и Аванеса, лбами. И здесь находил для нас слова, которые разжигали наши страсти, заставляя работать с огоньком. И мы из кожи лезли, каждый старался показать свою сноровку, ловкость и силу, чтобы заслужить похвалу придирчивого дяди Гегама.

Мы так усердно трудились, стараясь утереть друг другу нос, что даже хмбапет, который подрядился по вечерам навещать нас, коротать длинные зимние ве-

чера за чаем и беседой с дядей Багдасаром о том, о сем, не преминул заметить:

— Смена растет, ага. Им уже сейчас в рот пальца не клади.

Дядя Багдасар не любил, когда при всех нас хвалили, но в разговоре с хмбапетом был очень предупредителен.

— Спасибо, парон хмбапет. Детьми своими я доволен,— коротко ответил он.

— Ты не меня благодари, а самого себя. Что накрошишь себе в миску, то и попадет тебе в ложку. Добрый хлеб накрошил в миску.

Хмбапет важный такой, с крупными чертами лица, густобровый. Любит в разговоре выдавать крылатые присловья по любому случаю. Страсть разговаривать поговорками и пословицами в нем была так велика, что очень часто, наваливая в кучу свои присловия, он путался в них, а потом долго, словно по дремучему лесу, добирался до сути.

Вот и сегодня. Наговорив с три короба пословиц, должных приободрить дядю, он вдруг посыпал такими словечками, которые не имели отношения ни к нам, ни к дяде. Попробуйте хоть отдаленно найти намек на нас в такой его пословице: «Волка с овцой не сосватаешь, а сосватаешь — овцу не обрадуешь» или: «Рожденный от мыши будет грызть мешки»... Голову трижды сломаешь — не догадаешься.

Разве не ясно, что господин хмбапет умничает перед дядей, себя показывает?

Поговорками разговаривал и дядя Багдасар, при случае мог переговорить ими хоть кого, но с хмбапетом старался быть кратким. Вернее, следовал совету азербайджанской пословицы: «Не трогай за хвост животное, нрав которого тебе неизвестен».

Явно тяготясь навязанной ему беседой, дядя Багдасар все же заметил:

— И в осторожный глаз соломинка попадает!

— Ты прав, тысячу раз прав, Багдасар,— немного подумав, согласился хмбапет.— В осторожный глаз и попадает соломинка. Двое сыновей у меня, один в комсомол записался, а другой вовсе ушел из дома. Не желает с папашей-хмбапетом под одной крышей жить. И ничего, снес. Или взять этих паршивых пар-

ней, шушикендцев, вздумавших уехать в Баку воевать за коммуну. Будто здесь им работы не нашлось бы. И это сейчас, когда вот-вот у нас тут начнется своя война. Взяли да укатили. Другой на моем месте нашел бы, с кого спросить за такую измену, а я молчу. Что поделаешь! Свои люди. Своих ножен сабля не режет.

Ай, ай, какой добрый и справедливый дяденька! Так по крайней мере может показаться иному. Но я себя к иным не отношу. Хоть и мал, но в делах взрослых я все-таки кое-что разумею. Хмбапет на людях такой добрый, мягкий. Вот кто, если на то пошло, помесь волка с лисой.

Я не знаю, как с сыновьями своими обошелся, но с парней, уехавших в Баку, он-таки спросил. Не с них, так с родителей. Даже добрейшего Барсем-апера не пощадили, на седую бороду его не посмотрели, избили, а ульи разорили. Если хмбапет такой добрый, почему к нам дядя Мамед из Малибайлу не приходит больше продавать огурцов? Или наши не идут в Малибайлу?

Хорошее дело — не ходить в Малибайлу! Интересно знать, а где дядя Багдасар будет покупать виноград, чтобы давить вино? Наверное, дядя очень сердится за это на хмбапета.

Ох, как я боюсь, что когда-нибудь и за этого гостя придется краснеть перед другими, как это случилось с урядником. И за него какой-нибудь дядя Мухан будет срамить меня, всех нас и дядю Багдасара, что мы такого приютили. А разве мы за ним, как и за тем недоброй памяти урядником красное яблоко послали? Сами нас избрали, загостились. Разве дядя Багдасар рад его приходу? Да нет же. Он только делает вид. Если дядя Багдасар был бы рад ему, разве так часто он сосал бы ус? Благо еще не поселился совсем у нас. Куда бы мы подевались от нудных, тягучих речей хмбапета?

У меня его речь уже в печенке сидит, и я незаметно ухожу из дома. Пусть Ашот и Аванес, они толстокожее меня, дослушают хмбапета, ну и я без дела не останусь. Не забывайте, что у меня не только в Шушикенде, но и в Малибайлу есть друзья, с которыми мне куда интереснее. Взять хотя бы моего кирву Муртузу. С ним не заскучаешь. Особенно сейчас, когда у

нас поселились дашнаки. Интересно знать, у них тоже стоят дашнаки или такую честь они оказывают не каждому селу?

Что? Дашнаки перекрыли дорогу в Малибайлу? Поставили на ней солдата? Ну и на здоровье. Что с того, что стоит? Пускай себе стоит. Будто в Малибайлу можно идти только по дороге, других путей нет. А может, прикажете еще подойти к солдату и спросить у него разрешения? «Пожалуйста, добрый солдат. У меня в Малибайлу кирва, без которого мне и жизнь не в жизнь. Отпусти, я мигом обернусь. Тебе еще гостинцы принесу».

Держи карман шире, мы так и отвалим тебе гостинцев! Если хотите знать, я даже дня не провожу без Муртузы. Раньше еще обходился, а теперь нет. Назло! Чуть что — я на пригорок. Короткий пересвист — и мы вместе.

Вот и сегодня. Совсем близко прохлаждается солдат, от скуки то и дело похлопывая ладонями. Должно быть, ловит мух. Винтовка торчит у него между ног, мешает ловле.

Устроившись нарочно в десяти — двадцати шагах от солдата, за разросшимся кустом краснотала, ведем беседу.

— А к вам много наехало дашнаков? — спрашиваю я, желая блеснуть перед другом своей осведомленностью.

— Дашнаков? Это у вас дашнаки. У нас они называются по-другому.

— По-другому? — удивился я.— А как еще дашнаков называют по-другому?

Муртуза улыбается. Он чуточку старше меня и того гляди вспомнит о своем возрасте и начнет важничать.

Меня это бесит, с меня хватит Армо, а тут еще Муртуза. Должно быть, я сморозил глупость, не надо было мне задавать ему такого вопроса, но уже поздно. Надо теперь с достоинством выходить из положения.

— Ах, да я попутал,— поправляюсь я.— Мусаватистами называют их, да? У нас — дашнаки, а у вас — мусаватисты.

Некоторое время мы молчим, вытягивая шеи из-за куста, чтобы посмотреть по сторонам. Мало ли что

может наделать этот мухолов, если он вдруг обнаружит нас тут.

«А как вашего хмбапета зовут? Асадулаев, что ли?» — хотел было снова блеснуть я.

Муртуза уже не улыбается. Но все равно улыбка сидит у него в блестящих черных глазах, в которых так и скачут озорные огоньки.

«Наверное, я опять что-то не так сказал?» — подумал я.

— Хмбапета у нас тоже нет,— как бы между прочим замечает Муртуза. — То есть он есть. Но называется иначе. И он не Асадулаев. У него совсем другое имя.

Тогда я начинаю хитрить.

— А у вас на дороге стоит солдат?

— Стоит,— невозмутимо отвечает Муртуза.

— Тоже с винтовкой?

— С винтовкой.

— Тоже мух ловит?

— Наверное, ловит.

— А эти самые мусаватисты против нас?

— Против.

Я уже развожу руками, ничего не могу понять. Как это нет хмбапета, если у них все точь-в-точь как у нас. Такие же порядки.

— Ну хорошо,— снова начинаю хитрить я.— А кто этот Асадулаев, если он не мусаватист и не хмбапет?

Здесь уже Муртуза не выдерживает. Сдвинутые к переносице обгорелые за лето брови разлетаются в стороны.

— Ты совсем еще зеленый, что ли? Асадулаева не знаешь?

Вспомнил-таки о возрасте, шельмец. Но я уже ни на что не обращаю внимания.

— Так кто же он, этот Асадулаев? Партизан, что ли? — почти кричу я, забыв о всех предосторожностях.

Муртуза зажимает мне рот.

— Не ори. Мухолов ваш услышит.

Потом, отняв руку, говорит:

— Гачак. Бандит с большой дороги. Промышляет грабежами. Вот кто твой Асадулаев.

Я хвастливо крутнул головой.

— Удивил. У нас тоже есть такой. Бадунц Абел. Наш, пожалуй, почище вашего будет.

Муртуза вспыхнул:

— Знаю тебя. У тебя все шушикендское почище!

— А то нет? — окрысился я.

— Если ты затем и пришел, чтобы свою голову хвалить, то лучше сразу от ворот поворот,— сказал Муртуза, вставая.

— Ну что ж, пускай от ворот поворот,— не на шутку обиделся и я.

В горячке спора мы забыли о всех предосторожностях. даже вышли из-за прикрытия.

— Эй, Багдасаров сын! С кем это ты там петушишься? Уж не с кирвой ли каким-нибудь? — крикнул с дороги солдат, которому, должно быть, смертельно надоело торчать без дела на этом пригорке.

От страха я будто разом лишился языка.

— Нет, дядя солдат,— залепетал я.— Какой он кирва? Это же... — я не сразу нашелся, что сказать. — Это же Армо, наш Дро,— выпалил я.

Солдат расхохотался

— Так прямо и Дро. Ни капли меньше?

— Есть и поменьше,— охотно вступил в разговор я.— Нжде, например, Мгер.

— А не заговариваешь ли ты мне зубы, малый? — вдруг насторожился солдат.— Все вы тут так перемешались — и кирвы и не кирвы, что сам аллах не отличит вас друг от друга.

Я снова перекрестился.

— Честное слово, дядя солдат, Армо. Наш атаман. Бывший атаман!

Хорошо, что сгущались сумерки, уже темнело и солдат не мог нас разглядеть.

— Ну, бывшие, мотайте отсюда,— распорядился солдат.— Не ровен час, покажется Асадулаев, хлопот с вами не оберешься.

И, по тому, как он все время оглядывался по сторонам, сжимая в руках винтовку, было видно, что сам он немало напуган возможным появлением Асадулаева.

— Мотайте, ну,— торопил солдат, все норовя поближе разглядеть нас.

— Хорошо, дядя солдат,— крикнули мы, обрадованные.— Прощайте.

Только нас и видели. Отбежав порядком от солдата в сторону, мы остановились.

— До завтра,— сказал Муртуза так душевно, будто не было между нами ни ссоры, ни сердитого разговора.

— До завтра,— ответил я так же мирно.— Салям дяде Мамеду.

Прыгая, ловко цепляясь за выступы камней, Муртуза спускался вниз по едва белевшей среди кустарников тропинке, увлекая за собой лавину мелкого камня и щебня.

7

Кроме Армо, моего кирвы Муртузы, есть у меня еще один закадычный друг, с которым меня водой не разлить. Это Андроник, сын бондаря Айрапета, того самого бондаря Айрапета, который не сходит с языка шушикендцев.

Не только в Шушикенде, а во всей округе знают Айрапета-даи, уважают его за разные смешные истории и за мастерство.

Пусть Армо развлекается со своими взрослыми друзьями, с которыми ему интересно, наплевать, а я пойду к Андронику. И не подумаю, что его взрослые друзья лучше моего невзрослого. Не побоюсь сказать, что рыжий Андроник мне ближе, чем Армо. Да, это верно, когда Андроник проходит по улице, мальчишки кричат ему вслед: «Пожар!» Так называют у нас рыжих. А Андроник, тут уж ничего не поделаешь, рыжий. Природа, казалось, не пожалела на него рыжей краски. У него даже брови огненно-желтые. Пусть мальчишки орут себе, что им в голову взбредет, какое мне дело до них? Я дружу с Андроником так же, как некогда дружил с Армо или сейчас с Муртузой. У меня не только с Андроником дружба, но и с его отцом. Не каждому бондарь Айрапет открывает душу, а мне он открывает. Сколько веселых россказней уже успел порассказать. Мне всегда хорошо в этом доме.

Андроник встретил меня у своей калитки, будто ждал меня.

— Хочешь послушать, как коммунары громят турок? — спросил он.

— Турок? — не понял я.— Откуда они взялись там? Где Турция, а где Баку?

— Оттуда же, откуда германы.

Я уже не понимаю Андроника.

— А разве в Баку и германы объявились?

— Объявились. За нефтью пришли,— вздохнул Андроник.— Ну да им не позавидуешь. Дали по шапке и тем и другим. Отогнали от города. А ты иди. Послушай сам. Так в газете пропечатано. В «Арев». Нам ее какой-то проезжий оставил.

— Понятно, сорока на хвосте принесла,— счел нужным заметить я для полной конспирации.— А собака привязана?

— Привязана.

— Идем.

— Но ты не сразу подступайся к нему с газетой,— предупредил Андроник.— С подходцем надо. Все-таки с хмбапетом дружите. Отец побоится тебя.

В другое время после таких слов я бы ногой не ступил на порог, но искушение было так велико, что, проглотив обиду, я молча прошел во двор.

8

Обида обидой, но ведь и бондарь Айрапет имел право осторожничать со мною. Ему тоже попало от милостивейшего хмбапета. Вместе с шушикендскими парнями ушел в Баку и один из сыновей Айрапета-даи, Лазарь, старший брат Андроника, другой же, самый старший, давно в Баку, работает литейщиком, уже взрослый, женатый. За Лазаря пришлось старику держать ответ.

А вообще с Айрапетом-даи не соскучишься. Какие только истории не случались с ним. Взять хотя бы случай, как однажды один из уездных стражников, поставленный к нему на ночлег, увидел в проеме стены, где складывают постель, берданку. Произошла не-

лепость: разбирая постель, Exca-биби забыла про винтовку, и она попалась на глаза постояльцу.

Бондарь, поймав взгляд стражника, обмер от страха. Но стражник спокойно заметил:

— Спрячьте ее в другое место. Чтобы никто не видел. Не бойся, я поляк. Мой отец тоже сельский бондарь. Я не выдам!

Имя этого доброго польского крестьянина, находившегося на службе в царской полиции, и до сих пор с почтением вспоминают в доме Арутюнянов.

А случай, когда Айрапет-даи выдал себя за толмача, знатока русского языка?

В село приехал важный начальник, а тут, как на грех, никого из канцелярии. Вызвали Айрапета-даи. Он слыл во всей округе еще и толмачом. Выслушав уездного начальника, он невозмутимо сказал:

— Знаю азербайджанский, знаю русский, а тарабарщины этого господина не понимаю. Чего не понимаю, того не понимаю.

Кроме Айрапета-даи в Шушикенде был еще один бондарь, бочки которого ценились больше, чем те, какие изготовлял Айрапет-даи. Звали его Галустом. Казалось, что тут такого? На лучшее есть еще лучше, раз на раз не приходится. Галуст сам по себе, Айрапет-даи — сам по себе. Ан нет, разыгралась-таки история, о которой до сих пор с улыбкой вспоминают в Шушикенде.

У Айрапета-даи, что скрывать, случалось, у готовой уже бочки, сбитой им, вдруг выскакивали клепки, рассыхались и рассыпались лады и обручи. Взрослые бы сказали: огрехов не бывает у того, кто не пашет. Что с того, что у кого-то бочка рассыпалась. Промашки бывают у каждого.

Но если такая бочка не порожняя, плакало твое вино. И моргнуть не успеешь, как оно все вытечет. Скажем честно, такое никогда не случается с бочками Галуста.

Как-то из Шушикенда везли в бочках-толстушках вино в Шушу для продажи. Вино было чужое, какого-то богача.

Вот тут-то и случилась история! На самом подъеме под Шушой на одной бочке треснул обруч. Из об-

разовавшейся щели между разошедшимися ладами ударила струя.

Бочка, давшая утечку, оказалась бочкой Айрапета-даи.

Аробщики, конечно, не растерялись, беду обернули в радость, устроив себе пир на дармовом вине. Подставив под струю сложенные вместе ладони, они пили пригоршнями, похваливая бондаря, который сбил эту бочку. Не забыли недобрым словом помянуть и Галуста, у которого бочки никогда не дают «утечки».

Вот тебе и мой посильный комплимент, бондарь Галуст, хотя, признаюсь, я в эту басню об утечке не верю. Придумка это, выдумка шушикендских пустомель. Как-нибудь мы и бондаря Айрапета-даи знаем. Знаем, видели, воочию убеждались, какой он мастер, чудо-бондарь дедушка Айрапет.

Если даже и так. Не басня, а сущая правда с утечкой. У кого только не бывает изъяна в работе? Зачем нам теперь тыкать человеку в глаза? Ненужное занятие. Дай бог нам отбиться от всех других басен, которые плетутся вокруг имени нашего расчудесного Айрапета-даи, плетутся упорно, настойчиво, намекая то на его повышенный интерес к определенному роду заказчиков, носящих у нас платье «в три полы», то на разные злоключения, связанные с его маленьким ростом, всякий вздор и измышления, многие из которых, к сожалению, имеют под собой вполне реальную почву.

Простите, только я не в силах сейчас ни подтверждать их, ни отвергать. Не вижу в этом необходимости. Жизнь сама подскажет, что из них оглашать, а что предать забвению.

9

Предать забвению можно, конечно, все, даже имя своего почившего родителя,— бывают и такие неблаговидные поступки. Но мы — перед судом всего Шушикенда, который не потерпит никакой фальши, не даст обелить там, где черно, или сгущать без нужды черные краски. Такое не в нашей воле.

Итак, Айрапет-даи. И мне обелять его нечего, сам

белый. Вот он, маленький, шустрый, удивительно подвижной старик, с лицом, словно побитым порохом. Ему сейчас седьмой десяток пошел, но посмотрите, как он волчком вертится вокруг большой, толстой, сорокаведерной бочки, громыхая молотком.

Чем еще знаменит наш дедушка Айрапет-даи, так это растительностью. Покойница матушка через край наградила свое чадо! У иных стариков брови как брови, даже не замечаешь, какие они. Но попробуй не заметь брови нашего Айрапета-даи! Это целые щетки — седые, из одного серебра, густые брови, опущенные книзу, за которыми нельзя уже разглядеть глаза...

Под стать щеткам-бровям и борода, которая растет даже там, где ей не следовало бы расти. Например, на носу. Уж там она могла бы не быть. Седая щетина торчит у него и из ушей, вылезает белыми хвостиками из ноздрей, оставив в покое только маленькие пятачки на щеках и лоб, изрядно тронутые следами от оспы.

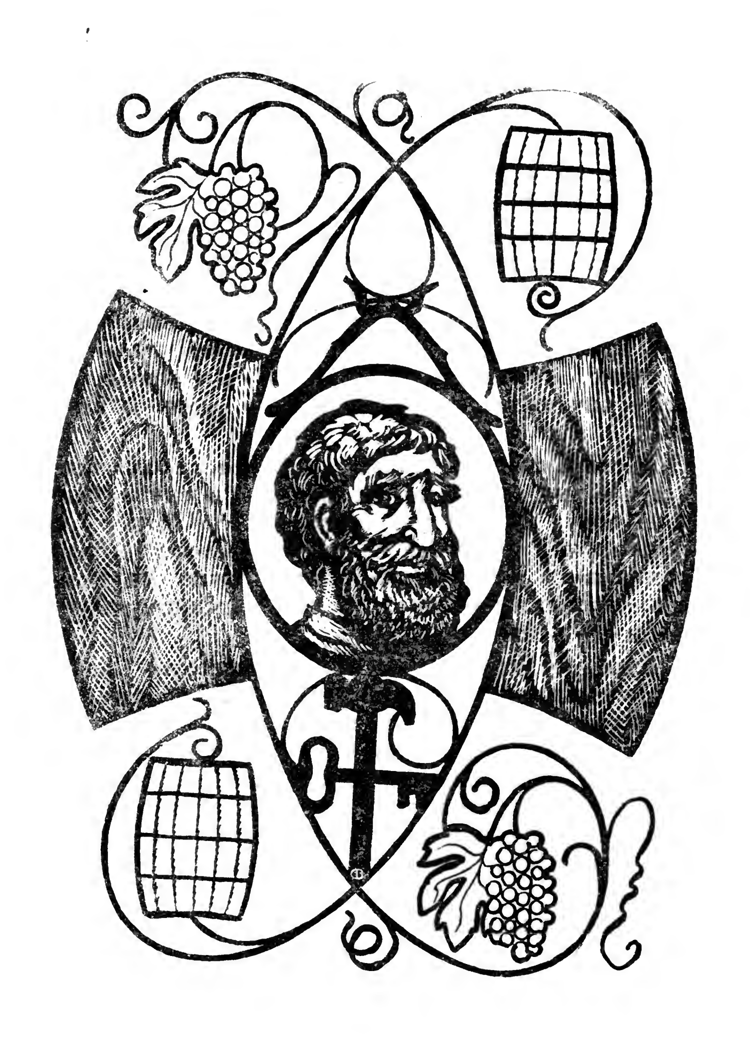
Сейчас ему, конечно, на все это начхать — на оспины, на маленький рост и на волосы. Но в молодости, чего греха таить, они ему в самую печенку въелись, портили ему немало крови. Особенно рост и невзрачный, до обидного нескладный вид. А если к этому прибавить, что его постоянно обуревали тайные помыслы, в которых он умыкал не одну красавицу, легко представить его обиды. Воистину бодливой корове бог рог не дает!..

Первую обиду учинил ему портной, которому он принес отличное сукно, купленное в самой Шуше. Айрапет, тогда уже бондарь, без памяти был влюблен в Ехсу — первую красавицу села — и всеми силами старался возвыситься в ее глазах.

Передав в руки портного свое дорогостоящее сукно, молодой бондарь наказал:

— Сшей, мастер, такой бешмет, чтобы он сидел на мне, как на Арзумане.

Мой знаменитый родич Арзуман, прославившийся в свое время на весь Карабах умом и добрыми делами, оказывается, был еще заправским абреком, которому старались подражать во всем молодые парни.



Портной, не обиженный ростом, сверху вниз сочувственно посмотрел на маленькую, тщедушную фигурку заказчика, сказал, не скрыв улыбки:

— Согласен. Только дай мне плечи Арзумана, и все будет сделано по-твоему.

Беда не ходит в одиночку, она тащит за собою другие. Так оно и случилось. Не успел проглотить Ай-

рапет насмешку портного, как на него обрушилась новая беда.

Еще часом раньше молодой бондарь чувствовал себя самым счастливым человеком. Он сбивал новую бочку, а с соседней крыши смотрели на него девушки, среди которых была и Exca.

Нужно ли говорить, как Айрапет старался? И вообще можно ли назвать то, что делал Айрапет, старанием? Нет, он действовал как волшебник, как чародей, лад за ладом собирая бочку.

Все бы хорошо, если бы в это время мимо не проходил Аслан, известный в селе силач и красавец. Подозвав его к себе, Айрапет жарко нашептал ему на ухо:

— Будь другом, Аслан, поборись со мною. И уступи мне победу. Мне это нужно для невесты. Если я над тобой верх возьму, может, Exca согласится выйти за меня замуж.

— Хорошо, — сразу согласился Аслан. — Для дружбы я готов уступить тебе победу.

Началась возня. Девушки-пустосмешки, сбившись на крыше в кучу, во все глаза смотрели на боровшихся. Но у Аслана были свои планы. Он сам хотел отличиться перед девушками.

Дав ничего не подозревающему жениху немного порезвиться, он вдруг схватил его за пояс — и вмиг тщедушная фигура бондаря взметнулась над головой и с силой грохнулась оземь. Девушки с визгом разбежались. Но только после этой борьбы свадьба чуть не расстроилась. Невеста ни за что не хотела выйти за посрамленного жениха. Говорят, Аслан себе места не находил от нехорошего своего поступка. Даже предложил снова «переиграть» борьбу. Но бондарь наотрез отказался, он не хотел больше иметь дела с лгуном.

Айрапет-даи и Exca-биби прожили большую жизнь в дружбе и согласии, нажили много детей, внуков и правнуков, но об этой досадной истории обе стороны не могли забыть...

Но напрасно я искал подступы, вспоминая одну за другой все истории и историйки, приключившиеся с нашим бондарем. Айрапет-даи сразу догадался, что мне от него нужно.

— А что, могу и показать. Я знаю, каких родителей ты сын. Каких кровей.

С этими словами, почему-то сгорбив плечи и осторожно переступая ногами, старик прошел в конец избы, в темноте долго шуршал бумагой. Вернулся оттуда уже веселый, весь освещенный каким-то внутренним светом. В руках он держал газету.

— «Ар-ев», — прочел я по складам заглавные буквы — название газеты.

— Вот незадача, — отобрал у меня газету старик. — Так ты у меня до большого заговенья не прочтешь, грамотей. Давай-ка я тебе помогу.

На столе тускло горела керосиновая лампа с наполовину отбитым почерневшим стеклом, в котором уютно трепыхалось пламя, поднимая длинную струйку черной копоти, как от исполинского чубука. Как ни кинь, как ни прибедняйся, Айрапет-даи почти богач — в то время не в каждом доме горел свет — фунт керосина стоил чуть ли не целого барана.

Под потолком у Айрапета-даи, как у нас, как и во всех богатых домах, висела другая лампа, большая, пузатая, десятилинейная, но она не горела. Ее зажигали только по праздникам. Тоже как у нас, как у всех богатых. Я же говорю, бондарь Айрапет-даи почти богач.

Поближе присев к колеблющемуся свету, Айрапет-даи усадил меня подле себя. Андроник, не дыша, не скрывая своего удовольствия, примостился к отцу с другого бока.

Прежде чем начать читать, как бы испытывая наше терпение, Айрапет-даи придвинул газету к лампе и долго водружал на морщинистый волосатый нос ветхие очки с обмотанной суровыми нитками дужкой.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

Слов нет, в Шушикенде хороших людей не один, не два, всех не перечесть. Но и плохих, я вам скажу, разных загребущих обирал, у других не занимать. О них был разговор и еще будет. Мы еще вдоволь наедимся горькой, крутой каши, которую они нам сварят.

А пока каждый день нас потчуют этой самой кашей, может быть, чуть пожиже, совсем другие люди, которых не назовешь обиралами, но и к хорошим людям тоже вроде не причислишь.

Не удивляйтесь только, если один из них будет единоутробным братом такого, как бы там ни говорили о нем, почтенного человека Шушикенда, каким является бондарь Айрапет-даи. Да померк бы, сгинул бы тот день, в который он родился, этот никчемный человек по имени Карапет. Бог тоже, я вам скажу, не очень справедлив к людям. В то время когда наш почтенный Айрапет-даи ел себя, недовольный маленьким ростом и лицом, что скрывать, неудачами и шишками, которые тот же несправедливый бог нет-нет да насылал ему в наказание за его возвышенные чувства и неравнодушие к некоторым замужним щеголихам, единоутробный брат его был наделен всеми теми качествами, о которых мог только мечтать наш бондарь. Высокий рост, развернутые плечи вну-

шительный вид и усы. Правда, толстые усы у него вечно сверкали от жира.

И не думайте, что Карапет какой-нибудь разбойник с большой дороги, вроде Бадунца Абела. Или обирала, вроде Аршака, брата Абела. Ничего похожего. Все, что у него есть, нажито собственным горбом. Умел он мастерить жестяные печи-времянки — лучше мастера в селе и не ищи, — а мы недаром носим кличку жестянщиков. Умел и плотничать и слесарить. Летом, как и многие другие шушикендцы, сунув под мышку зазубренный серп, завернутый в тряпку, уходил в другие деревни жать хлеб.

И если сейчас при упоминании о нем люди хмурят брови, стараются переменить разговор, то по причине одной очень дурной его привычки: любил наш Карапет гулять на поминках и, кажется, не без удовольствия произносил на них застольные поминальные тосты. Ну до того любил, такая обуревала его страсть кого-нибудь хоронить, что он пожелал бы кончины собственного брата, которого в общем уважал и защищал при случае.

К слову сказать, смерти ждал в Шушикенде и наш приходской священник — мы это знаем все и чуточку прощаем ему. Это его кусок хлеба: причащать умирающего, отпевать покойника... Умник нашелся, доискался на ком зарабатывать!

Жил Карапет рядом с Айрапетом-даи. Дом к дому. Стена к стене. Когда-то, еще при родителях, они были вместе, ютились под одной крышей. Но потом разделились. И при разделе крепко повздорили. До того, что долгие годы не разговаривали друг с другом. Причиной раздора люди считали ореховое дерево, растущее как раз между двумя домами, и ни одна сторона не хотела уступить другой это дерево. Впрочем, оно так и осталось ничейным. Но на самом деле Айрапет не любил брата из-за его пристрастия погулять на похоронах и поминках.

Бывало, утром Exca-биби выйдет во двор, чтобы посыпать корм курам, и тут же метнется обратно, истошно крестясь и бормоча проклятья. Айрапет-даи, который с полуслова всегда понимал жену и уже догадывался, что могло так расстроить ее, все же спрашивал, прикидываясь непонимающим:

— Что стряслось, Exca-джан? Какая муха с утра укусила тебя?

Exca-биби горестно ломала руки.

— Ты лучше брата спроси. Не успели люди перекрестить лоб, ни свет ни заря вскочил, принарядился, под ореховым деревом расхаживает взад и вперед, поглаживает усы. Похоже, кто-то помер.

И хотя Айрапет-даи знал: права жена, никогда чутье на этот счет не изменяло ей, все же заступался за брата.

— Что ты городишь, Exca? Мало ли у человека забот. Вот и рано поднялся. А что поглаживает усы — кому какое дело?

Но, как правило, выходило, что зазря ругал жену, зря заступался за брата: в селе и впрямь умер ночью человек.

Можно было бы еще назвать могильщика Сепуха, на своем веку вырывшего не один десяток могил, также не любимого в Шушикенде. Но стоит ли тратить на это слова? В конце концов и могильщик нужен. И он свой горький хлеб добывает трудом.

2

Фу, черт, опять история с Багиром. Попробуй не говори о ней, если история эта способна разорвать тебе зоб. Нет, нет, зоб свой я ценю. Пусть он еще послужит мне. Да и вам от этого рассказа не убудет. Еще лучше узнаете про дела и делишки нашего шушикендского Пулу-Пуги, неудачливого Багира, жизнь которого шла как-то вперекос. Со стороны смешно, а вглядеться — одна горечь. Что и говорить, невезучий был наш Багир. Как солнце ни светит — все ему беда. Неудачи следовали одна за другой и не меняли Багира: он оставался таким же, каким был. Тихим, незлобивым, доверчивым, исполненным веры в будущее.

Давно это было, когда Багир и Сато-биби, его жена, были еще молоды. Чего скрывать, и тогда их закрома не ломились от хлеба. И тогда Багир не ходил в белой бурке. Но была уже лошадь, была мечта разбогатеть. Тогда Багир занимался не извозом, а торговал мелочью. В базарные дни отправлялся то в Шушу, то в Агдам,

добирался даже до Кафана, привозил оттуда разную мелочь и потихоньку торговал. Но торговал так, что оставался при своих. Не будет же он с людей сдирать три шкуры. Если спичкам цена копейка, как же он будет просить за них больше?

Супруги старались, сбывали купленный товар и никак не могли взять в толк: почему от торговли все богатеют, а они нет?

По совести говоря, надоело Багиру заниматься пустым делом, зря обивать себе ноги, и решил было он переменить профессию. И тут, как на грех, привиделся Сато-биби такой сон, что, проснувшись среди ночи, она принялась будить мужа:

— Вставай, Багир. Такой мне приснился сон. Поезжай на базар. Будет нам большая удача.

И она рассказала о своем сне. Багир послушал ее волшебный сон, пуще жены загорелся, вскочил ни свет ни заря и стал седлать лошадь. Прошу прощения, седло для красного словца сказано. Какое там седло! Палан, какие кладут на спины ослов, только что побольше.

А приснился Сато-биби дивный сон. Будто ее муж, наш Багир, высокий и конопатый, — красавец джигит, с чистым, гладким лицом, да еще в белоснежной бурке на плечах.

Выслушал все это Багир, дух у него занялся, и он решил еще раз испытать счастье... И надо же было, когда во сне все так хорошо сложилось, встретить Багиру в пути разбойников. Остановили его, осмотрели под ним коня со всех сторон, даже в зубы заглянули, не стар ли, и только после этого сказали:

— Слезай, милейший, сними со спины лошади это барахло и кати себе восвояси.

— Как слезай? — не понял Багир. — Это же мой конь, и я спешу на базар.

Бедный Багир не знал, что разбойники не терпят длинных разговоров. Стащили они его с коня да еще хорошим пинком угостили под мягкое место.

— Иди, иди. По дороге обдумаешь, куда едешь и по каким надобностям. Нам твой конь очень приглянулся.

И, сняв истрепанный палан со спины коня, бросили ему в лицо.

Делать нечего, не пропадать же добру. Взгромоздил Багир на плечи тяжелый палан и таким фертом вернулся домой. Вот уж действительно сон в руку!

Сато-биби, отправив мужа на базар, не сходила с крыши дома. Даже с соседями не поделилась, какое их ждет счастье. Признав в странном человеке под паланом своего мужа, она чуть не лишилась ума.

— Что с тобою приключилось, разнесчастный ты мой? Почему ты под паланом?

Гнев Багира на жену, на ее злосчастный сон, должно быть, в пути порастаял. Даже нашел в себе силы отшутиться:

— Спускайся, спускайся, жена. Прими своего джигита в белой бурке...

3

Школа наша помещается в доме Асриянов. Когда я поступил учиться, она была в другом доме, теперь же здесь. Это не первый раз, когда школа меняет место. Ученики постарше нас перечисляют до десяти-двенадцати домов, где она на их памяти квартировала.

Все это потому, что школа наша своего здания не имела. Она всегда ютилась в чьем-нибудь доме, уступленном ей из милости. Не каждый согласится надолго отдать свой дом под школу. Благо если на годик, а то и на два уступит. Вот и кочует она по селу.

Дом Асриянов, где сейчас школа, находится на отлете, отсюда начинается вид на Джирин-багер. «Джирин-багер» — буквально: «поливные сады».

У людей, знающих Шушикенд, такое название вызывает только улыбку. Они знают, какая у Шушикенда вода. Но уж так назвали: должно быть, выдавая желаемое за действительное.

Джирин-багер внешне — сад как сад. Те же мощные деревья, прижатые друг к другу. Те же боковые ветки, которые, от тесноты загибаясь кверху, образуют на макушке густую крону.

Школа наша на пригорке, а сады внизу, в долине. Летом, когда деревья в цвету, ветки их так переплетаются, что сверху, из окна школы, они кажутся сплошной зеленой накипью.

С этим садом у меня, как и у других шушикендцев, связаны многие теплые воспоминания, я к ним еще вернусь, здесь же хочу рассказать о школе, о тех первых уроках, которые потом помогли нам открыть полный таинственной прелести мир...

— Иди к доске, Тигран!

Доска — это условное название фанеры, прибитой к стене.

Я беру мел и начинаю писать. Я делю трехзначные цифры, умножаю, решаю задачи на все четыре арифметические действия. Но фанерный лист не может вместить все мои колонки цифр.

Я вытираю их мокрой тряпкой и снова нацеливаюсь мелом, наслаждаясь моей властью над цифрами.

Все здесь, в нашей шушикендской школе, условно. Доска, глобус с помятым боком, карта полушарий с искусно отодранной Африкой, парты, видавшие виды за долгую свою кочевую жизнь.

Учителя у нас не держались. Работали они без жалованья, на подачках, какие перепадали им от родителей учащихся. Месяца через два, а то и меньше, намаявшись от неустроенности, от холода и голода, снимались и уходили. На их место приходили новые, чтобы, разочаровавшись, вскоре тоже податься восвояси. Но встречались и такие, которые связывали свою судьбу со школой, с ее неустроенностью, со всем ее бесправием, нищетой, как это сделал парон Седрак, преподававший все предметы, кроме русского языка и физкультуры. Для физкультуры он был стар, а русским языком не владел.

Бедный парон Седрак! Вы бы посмотрели на него, когда в школе начинался урок. В одном классе он задавал контрольную работу по математике и кто-нибудь из старшеклассников следил за тем, чтобы не списывали друг у друга, в другом классе под наблюдением другого старшеклассника проводили опыт по физике. А в третьем он сам проводил диктант по родному языку.

Парон Седрак был и директором школы. Если кто-нибудь из преподавателей задерживался, не успевал удрать, парон Седрак нагружал и его уроками, и работа шла в полный ход, на зависть школам, где и этого не было.

Но разве имеет значение, какой в школе инвентарь, каким чудом парону Седраку приходилось заполнять «окна», заменяя сбежавших учителей, если тебе только девять, если ты и порванную карту и фанерную доску готов считать верхом совершенства. В девять лет, особенно если ты дальше своего села носа не высунул, окружающий мир кажется тебе куда значительнее, чем он есть на самом деле. А уж родное село равного себе не имеет, краше всех сел на всей планете.

После этого стоит ли ждать от меня правильной оценки состояния нашей школы? Я доволен всем, что у нас есть. Доволен, что в нашей школе есть этот фанерный лист, на котором можно решать арифметические задачи, доволен, что есть этот глобус с продавленным боком, географическая карта полушарий без Африки. Даже тем, что у нашей школы, у входа ее, вбита потертая железная скоба, о которую в непогоду мы счищаем грязь с ног.

А о том, что в школе не хватало парт и мы писали, подставив под тетрадь кусочек доски, что у многих не было учебников, а у других были страшно затрепанные, я и не думал, не придавал этому значения.

В мои годы маленький ослик кажется ланью, особенно если ты хочешь этого.

О святая детская наша наивность! Я доволен, что ты у меня была, бедовая, нищая шушикендская школа.

4

Кто сызмальства не пил воду из облаков, не ощущал ломкого холода утренней росы на босых ногах, не знает, как пахнет земля в борозде, в море цветов не отличит жарких огоньков мать-и-мачехи от желтой сурепки, не видел, как над пропастью, озоруя, сшибаются головами взбудораженные весной круторогие бараны, тот потом, как бы его высоко ни занесло, будет в чем-то ущемленным.

Зима в наших горах быстротечна. Не успеешь обернуться, как ее и след простыл. В лучшем случае тянется до крещенья, а уж к масленице или до великого поста не дотягивает. Снег, не успев добраться до долин,

быстро сматывает удочки, взбираясь все выше и выше к вершинам, чтобы через день-другой вовсе исчезнуть.

Зато как привольно у нас весне, лету, даже осени, которые, кипя зеленью и солнцем, так и норовят перехлестнуть зиму, перечеркнуть ее совсем и все-таки не могут, вынуждены бывают уступить ей ненадолго правление, вверить ей нашу бренную шушикендскую землю...

На зорьке меня разбудили. Сегодня начало весенней засевки, и дядя Багдасар не мог в такой знаменательный день не взять меня с собой в поле.

В нашем хозяйстве, сами понимаете, много всякой суетни-маетни. Все мы трудимся. Даже дяде Гегаму, умеющему из воды выходить сухим, перекладывать все заботы на чужие плечи, все-таки приходилось подставлять и свои.

Конечно, всякий труд почетен, будь то стрижка овец или сбор винограда. Дядя Багдасар строго смотрел, чтобы за всем был глаз да глаз, но... хлеб! Этого нельзя было не замечать, дядя больше всего благоволил к хлебопашеству. Эту любовь он передал и нам. Я и сейчас без трепета душевного не могу смотреть, как земля переворачивается в борозде и от нее вокруг разливается пряный, ни с чем не сравнимый земляной дух.

Было ранее раннего. И очень свежо. Меня сразу обжег холод. И как только мама согласилась отпустить меня в такой одежке! Да если бы и не согласилась, что она могла мне предложить? Гимназическую форму, которую я так ни разу и не надел? Не было у меня никакой другой одежды. Дядя тоже был одет плохо.

В то время, какое я описываю, все обносились до крайности, и богатые и бедные были одеты одинаково убого.

— Ничего, — подбадривал меня дядя, — сейчас отогреемся. На чем мир стоит? Не на слонах, малыш, враки все это — он держится на хлебе. Заруби это, Тигран, на носу.

Я и раньше бывал на пашне, среди братьев я первый погонщик, умею петь оровелы, без которых погонщик не погонщик, но ни разу еще не приходилось



мне видеть, как засевают поле. Эту работу дядя Багдасар никому не доверял, делал сам. Меня он теперь взял с собой, чтобы показать, как это делается.

Сеял дядя быстро, уверенно, большими горстями разбрасывая зерно в лад своему крупному шагу.

Я потом дядю видел в разных переделках: во время нэпа, когда он еще больше разбогател; в дни аук-

циона, когда все его состояние было продано с молотка; в очень тревожное для него время, когда его должны были выслать и не выслали. Видел его хорошо одетым, в бухарской папахе, на белом выездном коне, видел и на осле, постаревшим, осунувшимся от пережитых невзгод. Но ярче всего запомнил я его идущим с обнаженной головой по вспаханному полю, в золотом сиянии разбрасываемого зерна.

И я не знаю, как отблагодарить его за эту память.

5

Правильна поговорка: пришла беда, открывай ворота. И знаете, в чьи ворота постучалась она? Собственным ушам не поверите: в ворота нашего Багира. Дорога проторена. Что ей, бедняге-беде, путаться в проулочках, словно в морщинах на лбу нашего столетнего аксакала бондаря Галуста.

Так что же еще стряслось над этим бедным домом? Какой черный ворон снова прокаркал над ним? Правда, здесь нужна оговорочка. Собственно, не беда, а одна пресмешная история, которая теперь у всех на устах.

Это про Сато-биби — мать Сарика-Марика. Вот, к слову сказать, «везет» парню. Мало ему невезучего отца, а тут еще мать. Как там ни говори, мне этого парня, Сарика-Марика, жаль. Очень жаль. Правда, он мне никто, этот Сарик-Марик. За него я и в воду не полезу, не промочу ног. Да и он тоже. Ему нужны «Майрени лезу» и учебник Киселева? Пожалуйста, отказа не будет. Я не жмот какой-нибудь. Надо — возьми, перепиши, что тебе нужно. Могу даже резинку подарить. Настоящую, а не кусочек от старой галоши. Не жалко. Ну, что еще нас связывает? Ничего. Ты же бедный, а я богатый. Не достоин твоей дружбы.

Но я отклонился от истории. Что же такое стряслось с бедной Сато-биби, что она стала притчей во языцех? Не знаете? Ха-ха-ха! Да весь Шушикенд гремит, как же до ваших ушей не дошло? Короче говоря, Сато-биби крупно оскандалилась. Пошла за родниковой водой, а вернулась без воды, без кувшина. Тоже, скажете, удивили шушикендцев! Сато-биби раз-

била кувшин! Вы лучше скажите, когда ей удавалось вернуться с родника с водой? Неспроста же за ней закрепилась кличка «Прощай, кувшин». Правда, на то каждый раз были свои причины. То старуха оступится, и кувшин грохнется с плеча об землю, то присядет в пути передохнуть, вздремнет на миг и снова — прощай, кувшин — выронит его из рук. Мало ли что может случиться с человеком, если ему не везет, если какая-то напасть висит над его домом и нет от нее спасения.

А тут вдруг повезло. Не вздремнула в пути. Не оступилась. Так с кувшином на плече явилась перед своим домом. Стоит старуха, кувшин на плече целехонький, невредимый, сияет мокрыми боками, из горлышка, заткнутого тряпкой, раз за разом падают капли прозрачной родниковой воды. Сияет Сато-биби от счастья, не налюбуется на себя, гордая удачей. Как же такой случай проворонить, не рассчитаться с злоязычным, пепел ему на голову, бондарем Айрапетом?

Бондарь Айрапет живет впритык с домом Сато-биби, стена в стену. Сами понимаете, какое наказание жить рядом с таким шумным соседом. Люди глохнут от его бочек, от стука молотка по обручу, даже ночью от него покоя нет, а тут спасайся еще от ядовитого языка вездесущего бондаря. Только попадись ему под руку с какой-нибудь промашкой.

Как не сунуть теперь этот кувшин в глаз пересмешнику, не заткнуть им его рот?

— Эй, Айрапет, — крикнула она через забор. — Что, проглотил язык? Или совсем ослеп? Не видишь, что я несу на плече? Теперь уж зубы не поскалишь!

И стоит Сато-биби возле своего дома с кувшином на плече, гордо подбоченясь, радостная и веселая. На голос Сато-биби отозвались одобрительными возгласами другие соседи, и приободренная старуха продолжала посылать оглохшему бондарю через забор свои призывы, полные укора.

Бондарь Айрапет за грохотом своего молотка, конечно, не услышал всех слов Сато-биби, но, когда он выглянул через забор, кувшина на плече оцепеневшей от неожиданности старухи уже не было. Он валялся в черепках у порога, оставив чуть потемневший след от пролитой воды.

И всему виной проклятая жердь на воротах! Сато-биби была уже дома, у самого крыльца, уже занесла ногу через поперечную жердинку. Будь она неладна, эта распроклятая жердь, она словно подстерегала Сато-биби, чтобы подстроить ей каверзу.

Короче говоря, Сато-биби оступилась, и, понятное дело, кувшин только и видели.

Ну и было разговоров после этого злосчастного случая...

Нет, нет! Пусть Сарик-Марик мне никто, но мне его жаль. Очень даже жаль.

6

Бог ты мой, разве все шушикендские истории переберешь, перескажешь, перезнакомишься со всеми шушикендскими знаменитостями, включая и пустомель и разных вралей, которых у нас тоже хватает,— пустое и безнадежное занятие. Как говорят: на каждое чиханье не наздравствуешься.

Но об одном случае, вспоминая о котором, до сих пор люди давятся смехом, я умолчать не могу. И на этом закончу о злоключениях Айрапета-даи. Не вчера приключился он, этот случай, не позавчера. И даже не позапозавчера. Словом, давно это было, когда нас и в помине не было и наш бондарь был еще молод.

Красавицу жену Exca-биби, как утверждают в Шушикенде все старожилы, он всегда любил, никогда не обижал грубым словом, но на других молодаек поглядывал. С особым усердием выполнял их заказы. Бывало, сладкие слова закидывал, как леску в речку, авось клюнет. И как на грех — клева нет. Крепко горевал бондарь, но пробовать леску не отказывался. Надеялся человек, а вдруг повезет!

Как-то в разгар тутового сезона, когда бондаря особенно осаждали заказчики, пришел кривой Сероп, мужчина, правда, не первой молодости, как, впрочем, и сам бондарь, но не по возрасту краснощекий, здоровенный детина, и слезно молит Айрапета-даи сготовить ему бочку. Тута пропадает, некуда сыпать урожай.

А бондарь Айрапет и слышать не хочет, стучит себе молотком и глаз не поднимает на заказчика. Просил, просил Сероп, да и ушел ни с чем. А дома у него жена-красавица, которая знает про замашки бондаря. Выслушав мужа, она говорит:

— Не горюй, будет у нас бочка! — и отправляется сама к бондарю.

Увидев молодуху, да еще ласково улыбающуюся ему, бондарь растаял.

— Как же такой голубке откажешь,— сказал он. — Возвращайся домой и считай, что бочка уже дома. Завтра же сделаю. Сам прикачу.

Отпуская молодуху, он все же рискнул, бросил свою испытанную удочку:

— Только, сама понимаешь, смазка нужна. Без смазки и арба не двигается с места. Скрипит.

Молодуха ушла, так многообещающе улыбнувшись, что сердце бондаря от радости чуть не выскочило из груди.

На другой день, как уговорились, наш обольститель принарядился, для бодрости хватил рюмку-другую крепкой тутовки и покатил готовую бочку по селу.

Когда бочка была водворена в сарай молодухи, вдруг, словно из-под земли, вырос перед оробевшим бондарем кривой Сероп и медленно, со знанием дела, стал засучивать рукава, обнажая могучие волосатые руки. Наш бондарь, наш неудачливый обольститель, все пятился, пятился назад, раза два натыкаясь на какие-то препятствия, падал. Получив должную мзду — хорошенького пинка, он благополучно выскочил из ворот и был таков.

Теперь, кажется, совесть моя чиста. Я рассказал об Айрапете-даи даже то, что не видел, что было до меня, о чем знаю понаслышке. За достоверность не отвечаю. За что купил — за то и продал. Баш на баш!

7

Если бы спросили сейчас, что особенно потрясло меня в те далекие годы, которые я описываю, что врезалось в мою память, кроме тех дней, когда дядя брал

меня с собой на засевки или дядя Гегам уводил в лес, я непременно назвал бы Джирин-багер.

Джирин-багер — тутовый сад, ничего более. В нем растут такие же ярко-зеленые великаны-деревья, какие вы можете встретить в любом уголке под небом Шушикенда. Все это так. И, однако, в Джирин-багер ноги сами нас несут.

У нас говорят: из любви к яичнице целуют ручку сковороды. Все дело в Вартаваре, в качелях, какие устраивались в честь этого дня — армянского праздника Ивана Купалы. Во время Вартавара парень узнает имя девушки, кем он любим, а девушка — кто ее суженый.

Нам, разумеется, до этого бесконечно далеко. Но придет это время и для нас. И для нас Вартавар станет тем праздником, который одарит нас первым тревожным счастьем.

Пока же мы все лето проводим под тутовниками. И сейчас этот сад нам дорог, но совсем по другой причине. Каждый возраст в нем находит свое. Сейчас он привлекает нас морщинистыми толстыми стволами, за которыми удобно прятаться, играя в прятки или в казаки-разбойники. Немного позже он станет незаменимым полем сражений, где мы давали баталии, шли друг на друга стеной, сперва атаманствами, а потом отрядами белых и красных...

В трещинах коры тутовника гнездились цикады. Мы не были равнодушны и к ним. Цикады — это вроде навозного жука, но только наполненного криком. Кто знает цикаду, при напоминании о ней не может не вспомнить и этот крик. Только не думайте, что от этого воспоминания кривится лицо. Ни-ни! Цикада — музыкант с хорошо поставленным голосом, она не просто исходит криком, а поет в хоре, наполнявшем весь сад своеобразным музыкальным концертом.

Мы уже знали, что этот великий музыкант живет только один день. День его рождения является и днем его смерти. Мы не раз видели, как на наших глазах совершалось это таинство жизни и смерти. Цикады рождались и умирали, а песня оставалась, будто смерти не было и нет. Она жила, переходила от старой цикады к молодой, и мы, как завороженные счастливо глохли от этого самозабвенного хора.

Как знать, может, по давности лет мы амнистируем все неприятное, плохое, как это часто бывает с нами, когда вспоминаем о детстве?

— Ну как, живы твои барабанные перепонки? Они еще не лопнули от твоих псаломщиков? — раздается над ухом.

Оглядываюсь. Андроник. Огненная голова его полыхает на солнце. Он трудно дышит. Должно быть, бежал.

Я настораживаюсь. Андроник не был бы Андроником, если бы говорил без каверзы, без подвоха.

— А как твоя кавалерия? — на всякий случай поддеваю я.— Еще не дала тебе понюхать землю?

Кавалерия — это безнадзорные ослы, к которым Андроник имел особую слабость. Поймает где-нибудь вислоухого и — будь здоров, целый день гоняет бедное животное по всем дорогам и сам же потом сердится, что натер себе копчик. Бывает, наш наездник так смертельно надоест ослу, что тот возьмет да и сбросит с себя седока. И часто нашего кавалериста приводит в чувство длинная ругань, потрясающая горы. Это хозяин осла спохватился, грозит негоднику расправой.

По обыкновению честолюбивый Андроник в долгу не остается. На каждый прозрачный намек отвечает двойной мерой, ни в чем не уступая мне.

Но сегодня он даже ухом не повел.

Я прикинул: приключилось что-то важное, раз Андроник по собственному почину оставил незлопамятных вислоухих друзей и примчался сюда. Но я молчу, не тороплю его. Если действительно что-то случилось, у него не хватит духу долго важничать, сам скажет.

Андроник все еще надеется расшевелить меня:

— Знал бы, что ты коптишь здесь, у своих звонарей, я бы не пришел. Терпеть не могу этого звона.

— А я — твоей кавалерии. Тоже мне абрек, нашел скакунов.

Помолчали, не сводя друг с друга любопытных глаз. Мне не терпелось скорее узнать, с чем он явился, а Андроник хотел как можно выгоднее преподнести свою новость. Как в игре в моргалку: кто первый моргнет. Андроник первый заговорил. Ненадолго хватило у него духа играть в молчанку.



— Хочешь посмотреть, какие подарки привезли для школы? — неожиданно грохнул он, разглядывая меня круглыми маслинами глаз.

Я ждал какой угодно новости, но только не этой.

— Врешь! — вырвалось у меня.

— Не сойти мне с места! — поклялся Андроник.

— Пойдем покажи! Только уговор: обманул — потачки не жди. Получишь горячего.

— Хорошо. Но тоже с условием. Будут подарки без вранья — получай мои тумаки.

Ударили по рукам.

Школа от Джирин-багер рукой подать. Через десять минут мы были у школы, куда сбежалось все село.

Пари я проиграл. Во дворе, посреди толпы, возвышалась арба, битком набитая всякой кладью.

Парон Седрак стоял в арбе и суетясь проводил разгрузку арбы. Разгружали прибежавшие на помощь шушикендцы. Здесь были и старшеклассники, в том числе и Армо, которые вместе со всеми, пригнувшись, подставляли свои спины для клади.

— Осторожно, разобьются! — то и дело предупреждал парон Седрак.

Разобьются! Это парты-то разобьются! Глобус новенький, без всякого изъяна, с ясными на нем морями, океанами и материками, который нес с такой необычайной осторожностью Армо, разобьется! Или доска, настоящая классная доска, сверкающая ослепительным черным глянцем?

— Из Шуши? — спросил я, задыхаясь от счастья.

— Бери повыше, мальчик, — ответил стоящий рядом возница Багир. — Из самого Баку.

— Из самого Баку? Там же война, дяденька.

Багир вздохнул:

— В том-то и ценность, малыш, что воюют, да нас не забывают. Такой подарок вдвойне дорог.

Радостный, счастливый Седрак, увидев меня в толпе, поманил пальцем. Я сейчас же, протиснувшись вперед к арбе, подставил свое плечо.

Когда арба была разгружена и мы порядком насладились подарками, на улице догнал меня Андроник:

— Ну как, принимаешь тумаки?

— Принимаю. Только убей меня, если я что-нибудь понял... Кто все-таки прислал нам все это?

— Известно кто. Шаумян. Степан Шаумян. Кто же еще?

— Это тот, который глава Бакинской коммуны?

— Тот, — признался Андроник и, понизив голос до шепота, пригласил: — Хочешь, забеги к нам вечерком. В «Арев» такое напечатано! Страсть, как коммунары

бьют турок. Приходи, не пожалеешь. Отец к тебе уже привык. Ничего от тебя не скроет.

— А газету вам кто привозит? Все тот же заезжий? — осторожно спросил я.

Андроник доверительно прошептал мне на ухо:

— И никакой не заезжий. Мой старший брат, Асатур, присылает по почте.

— Дядя Асатур? Который литейщик?

— Он самый. Он тоже воюет. Вместе в Лазарем. Против турок и германов. Против всех интервентов.

— Как интересно!

— Приходи, приходи. Потом скажешь — интересно.

— Приду, Андро,— пообещал я.— Только ты меня встреть. Собаки боюсь.

— Хорошо. Свистнешь с улицы, выйду.

В следующую минуту я уже бежал домой, не чувствуя под собой ног. Мне не терпелось, хотелось рассказать маме, какие подарки прислал нам дядя Шаумян.

8

Айрапет-даи рокочущим, приглушенным басом читает из газеты все подряд. Я уже знаю, кто такой Степан Шаумян. Знаю, что интервенты — это те же турки и немцы, с которыми воюет коммуна. Знаю многое такое, что Армо и не снится.

Если хочешь знать, моей вины в этом нет, парон Арамаис. Ты сам первый заважничал, возомнил себя взрослым, ну и воображай себе на здоровье. Только не спрашивай, откуда мне все известно. Все равно не скажу, не выдам Айрапета-даи.

Я прислушиваюсь.

— «Братья крестьяне! — гудел бас бондаря Айрапета.— Настал час, когда вы окончательно должны сбросить с себя всякое иго помещиков-землевладельцев, ханов, беков, богачей... От имени рабоче-крестьянского правительства я приветствую ваше пробуждение и вашу борьбу... Земля должна принадлежать народу...»

В этом месте пламя лампы, вырвавшись из стекла, взметнулось чуть не под самый потолок, на мгновение

осветив черные, закопченные слеги, и снова вернулось обратно, к своей исходной точке.

Я забыл сказать о нраве великого достояния Айрапета-даи — керосиновой лампы с отбитым стеклом. Стоило во время разговора сгоряча хватить по столу, как заветное пламя мигом уносилось вверх, погрузив все во мрак, а потом снова, будто привязанное, возвращалось обратно.

Все понятно. Айрапет-даи, у которого не было ни клочка земли, не мог спокойно читать такие слова и, должно быть, ненароком слегка двинул кулаком по столу.

Пока Айрапет-даи, водрузив на морщинистый горбатый нос свои ветхозаветные очки, почти по складам, путаясь и сбиваясь от возбуждения, то и дело отправляя под самый потолок огонек лампы, читает газету, я вспоминаю истории, какие доводилось мне слышать от взрослых или самому воочию видеть, истории, приключавшиеся с ним за долгую его жизнь.

Айрапет-даи! Бондарь Айрапет-даи! Я хорошо слышу из невероятной дали дробный перестук твоего молотка по обручу, перестук, с которым мы вставали по утрам и ложились спать. Явственно вижу поляка-стражника, случайно наткнувшегося на винтовку в доме дедушки Айрапета, слышу слова: «Уберите подальше винтовку, чтобы другие ее не видели. Я поляк, я не выдам...» Или случай, когда молодой бондарь захотел возвыситься в глазах своей невесты, и чем это кончилось. Только вот не всегда могу отделить то, что видел, от того, что слышал.

Я не знаю, почему из всех россказней о дедушке Айрапете задержались в моей памяти пирующие аробщики. Да, да, это случай, когда бочка с вином, сколоченная Айрапетом-даи, по дороге в Шушу дала утечку. Чем это кончилось, помните? Подвыпившие аробщики взахлеб расхваливают Айрапета, благодаря которому они досыта напились дарового вина. И поносят, поносят Галуста, другого бондаря, у которого жди не жди, не дождешься утечки.

В голову приходит картина, которую я видел потом в учебнике по истории. В ней изображались запорожцы за письмом к турецкому султану. Пирующие

аробщики, ей-же-ей, мне почему-то напоминают запорожцев из картины. А Галуст?..

Но я лучше помолчу.

На столе уже давно стоит миска с медом, только что вынутым из улья. Молодой, золотистый, сотовый мед. Но мы его не трогаем. Айрапет-даи за чтением забыл о нашем нетерпении. Я говорю «нашем», имея в виду себя и Андроника. Не думайте, что раз у них водится мед, он каждый день объедается им. Недаром же говорится: кто держит пчел, тот лижет палец.

Черт бы побрал этот мед с его зовущим душистым запахом!

Я тихонько проглатываю слюни. От Андроника я не таюсь. Не глядя на него, знаю: он страдает побольше моего.

Конечно, все эти слова о земле, которую нужно передать бедным, нам по душе. По душе они и мне. Мы хоть и не бедные, но тоже безземельные. Дядя Багдасар еще не успел обзавестись своей землей. Все это так. Но разве земля пострадает или потускнеет газета, если мы немного повременим с чтением, попробуем этот проклятый мед?

Еха-биби, мать Андроника, хлопотавшая во дворе, снова входит в избу. Застав нас за чтением, она в сердцах всплескивает руками:

— Вай ме, они все постятся. Ну-ка, старый, отложи газету. Дай ребятам поесть. Не для показа выставила вам еду. Полакомятся медом, крепче запомнят умные слова.

Айрапет-даи, по всему видать, не очень любит перечить жене. Он, ей-ей, чуточку ее побаивается.

— И то верно,— сразу же соглашается Айрапет-даи, бережно складывая газету.— Посмотрим, чем нас попотчует старуха.

Еха-биби принесла еще чай.

— Вот это пир! — сказал Айрапет-даи, первым начав трапезу.

Я ем, запивая мед чаем, выплевывая воск, а сам снова мыслями несусь в ту невероятную даль, когда Айрапет-даи, вздумав отличиться перед невестой своей удалью, схватился с первым силачом в селе. Хочу представить, какой была Еха-биби в те времена, когда она, не стерпев посрамления суженого, в слезах

кинулась бежать от подруг. Не верится даже, что Exca-биби была когда-то молодой, такой, как наша Арев.

— Слышал, старый, люди хмбапета Агалара снова разорили ульи Барсема, весь мед выгребли,— шепотом сообщает Exca-биби мужу, но этот шепот услышали и мы.— И все из-за Мухана. Агалар простить себе не может, что такого солдата выпустил из рук. Он ему пригодился бы здесь. Хорошо еще, что нас не трогает. За Лазаря.

— Говори всю правду, старуха. И за Асатура,— с полным ртом поправляет Айрапет-даи.— Пусть знает дашнакский ублюдок, что за коммуну от нас воюют двое.

— Побойся бога, старый, услышат! И стены имеют уши,— зашикала на мужа Exca-биби и, вздохнув, добавила: — И когда этот разговор кончится?

— Когда коммунары прогонят всех интервентов и протянут нам руку! Разве ты не слышала, старуха, что Шаумян пишет о нас?

Айрапет-даи снова придвинул к себе газету, долго искал очки и, не найдя их, на память прочел:

— «Земля должна быть нашей!» Запомни, старуха, эти слова. Они наши крылья.

— Шаумян далеко, а Агалар близко,— снова вздохнула старуха.— Сломать эти крылья может.

Айрапет-даи сердито посмотрел на жену, потом на нас, смягчился и задумчиво произнес:

— Слабый рот мякоти ищет. Ульи Барсема разорить он может. Застращать баб — тоже. А поломать наши крылья ему не дано, силенки не хватит. Попомни мое слово, придет к нам Шаумян. Не он, так его люди. Избавимся от всяких хмбапетов.

Встав из-за стола, Айрапет-даи снова сложил газету, уже потертую в сгибах, спрятал ее и вышел из дома. В дверях, повернувшись ко мне и Андронику, продолжавшим уплетать мед, сказал:

— Вы тут ешьте без меня, а я поработаю немного. Ешьте, ешьте, не стесняйтесь. Твердые духом должны еще иметь крепкие руки, чтобы за себя уметь постоять.

Он ушел, а через минуту во дворе раздался дробный стук молотка по обручу.

9

Разомлевший от еды и питья, я выхожу из дома Айрапета-даи. Андроник провожает меня до калитки. Собака никак не привыкнет ко мне и заливается долгим лаем.

Было еще светло. На улице нос к носу сталкиваюсь с Армо. С ним мы не то что в ссоре, а просто избегаем друг друга. Он корчит из себя взрослого, ходит с мальчишками постарше меня, и пусть. Не собираюсь навязываться к нему со своей дружбой.

Правда, в последнее время, как только я стал бывать с Андроником, дружить с ним, Армо переменился. При встрече останавливает меня, первым заговаривает. Как бы обменялись ролями. Теперь я важничаю, разговариваю с Армо через плечо. Что посеешь, то и пожнешь. Не хотел со мной по-простецки, по-хорошему — получай сдачи.

— Домой? — спросил Армо.

— Домой. Куда же еще? Уроки надо готовить,— кисло отвечаю я.

— Молодец,— похвалил Армо.— Делу — время, потехе — час. Мне тоже нужно выучить одно стихотворение. Никак не выучу.

Пошли вместе. Наши дома близко, друг против друга.

— Скажи, Тигран, кто такие интервенты? Знаешь?

Я кинул на Армо недоверчивый взгляд. Мне показалось, что Армо шутит, подтрунивает надо мною. Но он говорит серьезно.

Мне это, конечно, льстит, что наш Сали Сулейман, можно сказать, главный атаман среди всей ребятни Шушикенда, так внимателен ко мне, спрашивает о чем-то, даже заискивает, но я не забыл, как он чурался меня, и не собираюсь так сразу простить его зазнайство.

— А может, тебе еще растолковать, Армо, кто такой Дро, под именем которого ты некогда славно атаманил?

Армо не сердится на мои слова, только смешно щурит глаза.

— А я серьезно, Тик. Может, по старой дружбе сделаешь такое одолжение, разъяснишь мне, что это

за слово? С чем его едят? Вроде слышал, да из головы вылетело.

— А если и я не знаю? — хитрил я, уклоняясь от ответа.

Ответь такому, потом начнет расспрашивать, откуда знаю. Придется сказать, у кого узнал. А этого не следует говорить. Слово дал.

— Так я и поверил тебе, что не знаешь. С Айрапетом-даи садиться-вставать и не знать, что такое интервенты? Кто тебе поверит!

— А я ни с каким Айрапетом-даи не вожусь. И близко там не бываю. С чего ты взял? — соврал я.

— Ври больше. У Айрапета-даи не был, а на губах мед. Вытер бы его, прежде чем врать.

Я облизнулся: действительно сладкие губы и, пойманный с поличным, зло крикнул на Армо:

— Я не знаю ничего о твоих интервентах и слыхом не слыхивал о них. И меда я не ел. Иди своей дорогой и не устраивай допросы, как хмбапет. Все равно я Айрапета-даи не выдам. Не скажу, кто меня уму-разуму учит.

С каким-то непонятным сожалением Армо смотрит на меня.

— Вот и выдал, сердечный. Иди доверяй такому тайну.— Помедлив немного, сказал: — Ну-ка, Тик, вспомни, где ты слышал вот такие слова?

Закатив глаза кверху, как делают, когда собираются читать стихи, Армо без запинки прочел:

— «Братья крестьяне! Настал час, когда вы окончательно должны сбросить с себя всякое иго помещиков-землевладельцев, ханов, беков, богачей...»

Я опешил. Армо слово в слово повторил те слова, которые я только что слышал в доме Айрапета-даи.

— Откуда это тебе известно, Армо? Ты же у Айрапета-даи не был.

Армо снова с сожалением смотрит на меня:

— «Арев» не только для твоего Айрапета-даи печатают. А эти слова — воззвание Шаумяна. Их теперь все знают. Понял, конспиратор?

И Армо снисходительно, шутя, как кнопку, нажал мой нос.

10

Деревня гудела. Задавали тон старики. С четками в руках они собирались на шенамече и начинали свой неторопливый разговор. Обычный мирный разговор стариков, который не имеет ни начала, ни конца. Иногда в голос смеялись. Должно быть, вспоминая какую-нибудь шушикендскую байку...

Хитрые деды. Перебирая четки, пропуская между сухими пальцами потемневшие от времени янтарные зерна, снизанные на суровую нитку, они толковали будто о своем, ветхозаветном, но если прислушаться, между байками о старине можно было услышать: «Ленин», «Шаумян», «раздел земли».

То же самое и крестьяне помоложе.

— Сдается мне, ага, что все у вас тут с ума посходили по этому Шаумяну. Конь повертится — найдет свой прикол. И Шаумян найдет. Антанта разгуляться ему не даст. Давно сказано: слоны трутся — давят комаров.

Это хмбапет Агалар за чаем ведет свой нескончаемый разговор с дядей Багдасаром. Он по-прежнему навещает нас и подолгу развлекается умной беседой, оснащая речь цветистыми поговорками.

Дядя Багдасар тоже говорит поговорками, в тон ему, но осторожно, обдумывая каждое слово. Должно быть, чтобы не проговориться.

Как бы хмбапет Агалар ни был добр к дяде, лучше с ним не связываться, не настораживать его каким-нибудь двусмысленным намеком.

Хмбапет вдруг рассердился на дядю:

— Что ты скрываешься за чужими словами, ага? Разве тебе не известно, что коммунары в Баку взашей прогнали хозяев? Фабрики, заводы, промыслы все взяли в свои руки и призывают делать то же самое и здесь!

— Землю у нас не мешало бы делить поровну,— раздумчиво заметил дядя.— Земля задержалась у беков, томится без дела. Да и против интервентов справедливо воюют. Что они потеряли в Баку? С мечом они идут к нам, с хитростью. Все они нам враги. Нашего бека и в лицо не видели, промышляет он да-

леко, а десятый сноп ему отделяй. Налоги разные... Правильные слова! Откупиться от беков надобно!

— Багдасар! — строго сказал хмбапет. — Или ты хитер, как старый лис, или прикидываешься простачком. Разве ты не знаешь, что богачей комиссары пускают по миру?

— Кто трудится, у кого корни в земле, по миру не пустят,— спокойно возразил дядя Багдасар, посасывая ус.— Да и не обо мне сейчас речь. Сдохшая корова — всегда молочная, а у пропавшей козы рог золотой. Что мы видели от царя? На что безобидны дети, он и с ними воевал: не давал им спокойно учиться. Одни поборы и побои. Что нам оглядываться назад? Там ничего хорошего для нас не было. А эти еще не успели ногой твердо стать на землю, а позаботились о школе, разные подарки шлют нашим детишкам.

— И тебя этими подарками-одарками, ага, улестили? — недовольно проворчал хмбапет. — Я о тебе и подобных тебе богачах пекусь. Если вам Шаумян не помеха, и мне он, считай, на мозоль не наступил. Пусть живет. Но только считаны у него дни, помяни мое слово, ага. Придушат их интервенты, в крови потопят вашу коммуну.

Дядя Багдасар запоздало принялся поправляться.

— Я это так, парон Агалар,— медленно подбирал слова.— Шаумян, я знаю, не на нашу мельницу льет воду.

Затем долго молчит, посасывая белый ус.

11

Типун тебе на язык, хмбапет Агалар! Твои слова, кажется, сбываются.

Одна за другой приходят из Баку три черные бумаги. Трое из добровольцев, ушедших в Баку, погибли в бою. Смертью храбрых пал десятский, убит Лазарь, брат Андроника.

Шушикенд погрузился в траур. Плакали в тех домах, куда пришла черная бумага, и у тех, кого она счастливо обошла. В Шушикенде издавна бытует обычай: моя беда — твоя беда, моя радость — твоя радость.

Безутешное горе согнуло и Exса-биби. День и ночь плакала. Выплакав все слезы, она пришла к нам. Мама моя и тетя Марго не знали, куда посадить разбитую горем женщину.

— Бери, дочка, свое перо,— обратилась она к моей маме, едва усевшись на тахте.— Будем с тобою писать письмо.

Мама молча достала бумагу и чернильницу. Писать письма и прошения, особенно когда надо было писать в казенные дома и на русском языке, было для мамы не в новинку. Даже из окрестных деревень шли к ней.

— Куда будем писать, Exса-биби, и кому? — спросила мама, поудобнее устраиваясь у стола.

— Пиши, дочка.

Exса-биби вытерла мокрые от слез глаза.

— «Дорогой Шаумян! — сказала и запнулась. Казалось, вот-вот она расплачется и не сумеет ничего сказать. Но Exса-биби не расплакалась. Вытерев сухие глаза, она продолжала: — Армянские матери немало пролили слез, но я не слезы свои шлю тебе, а свою материнскую решимость. Говорят, и заморские бесштанники сунулись к нам. И немцы и турки, алчущие нашей крови. Бейте распроклятых басурманов, всех обирал и ворюг, откуда бы они ни прибыли. Отомстите и за моего сына, за всех тех, кого недосчитались. Вон и в России идет такая же война. Большая война за нас, крестьян, за наше правое дело. И ведет эту войну, сказывают, сам Ленин. Тебе видней...»

Не дослушав последних слов письма, я выбежал из комнаты. Слезы душили меня.

● ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

Все знают, каждый третий шушикендец — литейщик, обучен городскому ремеслу. Это в придачу к тем ремеслам, какие он имеет в самом Шушикенде. Что тут удивительного? Покажите мне село в Карабахе, где бы на зиму не отходили в город, где отхожий промысел — не главное средство для существования! Главным он был и для нас, шушикендцев.

Правда, Шушикенд не какой-нибудь захудалый Автараноц, у которого своей земли кот наплакал, где живут тем, что работают по соседям, жнут и молотят чужой хлеб. Худо-бедно, Шушикенд имеет свою землю. Другое дело, если ее все же маловато и она не может полностью прокормить всех шушикендцев. Нет-нет, смотришь, кто-нибудь подался в город, в отход. Смазал трехи — самодельную обувку из сыромятной воловьей кожи,— запасся на дорогу харчами — и был таков.

Кто-то когда-то открыл для Шушикенда литейное ремесло, и укоренилось оно, даже стало переходить от отца к сыну. Среди шушикендцев-отходчиков другой профессии и не ищи.

Даже пикетчик Ишхан был литейщиком. И дядя Саркис, отец Армо. Нам этот промысел больше с руки.

И вот к нам в село из Баку приезжает теперь литейщик Асатур. Тот, кто вместе с погибшим братом Лазарем за коммуну воевал.

Казалось бы, что тут такого? Все литейщики, уходя из Шушикенда на заработки, не забывают свой дом, почти каждое лето приезжают в село на побывку, родных повидать, себя показать. Как Баку ни хорош, но не роднее же Шушикенда! Вот и приезжают, наведываются, всем на радость.

Приехал литейщик Асатур, ну и на здоровье, не бить же в колокола.

Все это было бы так, если бы не некоторые обстоятельства, заставившие даже нас, шушикендских малышей, повнимательнее приглядываться к литейщику Асатуру, к его неожиданному приезду. Во-первых, он пожаловал к нам не летом, а в конце осени. И не в рубашке, подпоясанной узким кавказским поясом — предмет воздыханий всей шушикендской пастушни,— а в разношенных сапогах с низкими голенищами, в рваной шинельке и фуражке, с которой был сорван околыш. Во-вторых, при ходьбе он как-то странно волочил за собой правую ногу.

Дядя Асатур такой же рыжий, как его брат Андроник. Пожалуй, даже больше. У него не только волосы рыжие или брови, он как-то весь рыжий, как бы пронизанный огненно-желтыми красками.

Есть еще одна новость, но о ней я умолчу, пожалуй. Буду я говорить о девчонке, которая, не успев сойти с арбы поразмяться после длинной дороги, уже вертится под ногами, горланя несуразную считалку:

Аты-баты,
Шли солдаты...

Это я о дочери литейщика Асатура, Амалии! В самом деле, кто она, эта вздорная пустосмешка с торчащими за спиной косичками, которая целый день только и знает, что со своей считалкой носится по улицам да нас же, тертых мальчишек, побывавших в разных выволочках, называет не иначе как «мальчики».

Пусть она дочь Асатура, но нам до нее нет никакого дела. Пусть себе горланит свои «аты-баты». И прикусит немного язык. Какие мы ей мальчики?

Все это так. Но почему я, куда бы ни направлялся, избираю себе тропинку, где чаще всего можно было встретить Амалию? Неужели нарочно, чтобы подстеречь ее? Быть того не может!

— Эй, мальчик, куда в такую рань бежишь?

Это Амалия. Я ее голос отличил бы среди многих. Других девочек, даже нашу Арев, по голосу не угадал бы, а Амалию угадываю. Интересно, отчего это так?

— А тебе-то какое дело? — неожиданно огрызаюсь я.

Девочка по-мальчишески перепрыгивает через колючки и тут же оглядывается — не зацепилась ли юбкой. Нет, все обошлось.

Я только сейчас как следует вижу ее. Ничего особенного. Девочка как девочка. Худенькая, с проступившими лопатками. Даже веснушки на носу. Да и косы... на месте не лежат. Все время прыгают, колотя спину. Только глаза какие-то особые. Честное слово, если бы она не была внучкой Айрапета-даи и Ехсабиби, я бы на нее ноль внимания, фунт презрения.

Амалия вскидывает на меня удивленные брови.

— А почему ты такой сердитый?

— А почему ты меня мальчиком называешь? — против воли петушусь я.— У меня есть имя.

В руках у Амалии прыгалка. Стоять с полминуты без дела сверх ее сил, и она перепрыгивает через прыгалку, ловко пропуская ее под ногами.

— А я знаю, как тебя зовут,— говорит она как бы между прочим.— Даже то, что ты парон. Только не верю в это. Может, понарошке так тебя прозвали?

— Совсем не понарошке. Я парон. У меня бумага с сургучной печатью на это есть. В сундуке у мамы!

Я думал, это известие поразит Амалию, возвысит меня в ее глазах. Но Амалия будто и не услышала моих слов. Сощурив глаза, она спросила:

— Это правда, Тигран, что ты умеешь петь оровелы?

«Вот глупая,— про себя подумал я.— При чем тут оровелы, если я парон? Понимаешь, богатый? Ну, как ваш бакинский Манташев».

Делать нечего, я киваю головой.

— И слова сочиняешь сам?

— Сам.

Амалия смотрит на меня как на чародея. В красивых ее глазах так и прыгают огоньки.

— Оровелы сочиняешь. Лебеденка спасаешь. Какой же ты после этого парон, Тик? Я в это не верю.

Меня чуть не взорвало.

— Ты не веришь, что я богатый? Что у меня на это есть казенная бумага?

— Не верю, не верю! — на одной ножке, перепрыгивая через прыгалку, проскакала она вперед, оборачиваясь и показывая мне язык.

Через минуту, будто ничего не произошло, она снова поравнялась со мной.

— А ничего, если я с тобою, богачом, пройдусь немного? Я одна ящериц боюсь. Можно? — осторожно осведомилась она.

— Почему нельзя? Шагай себе. Только я богач-не богач, это не твоя забота. Поняла? Нечего меня учить.

— А я не учу. Я только удивляюсь, как это ты до такой жизни дошел.

Меня давно подмывало расспросить Амалию, как ей жилось в Баку, когда там был голод, про коммуну. Момент был подходящий. Проглотив обиду, я спросил:

— А что вы в этом самом Баку при коммуне ели? Рацион какой-нибудь был?

В разговоре с Амалией я стараюсь как можно больше употреблять городских слов. Мне их занимать у чужих не приходится. Мама моя, живя в Шушикенде, не отучилась говорить по-городскому. Кроме того, что мама училась в гимназии, она еще дочь священника, как-нибудь знает литературный язык. У мамы я не научился правильному языку, надо мною посмеялись бы товарищи, как смеялись над маминой речью, но кое-что все же перенял. Рацион — было то слово, которое должно было поразить Амалию.

— Рацион? — переспросила Амалия, ничуть не удивившись этому.— Ну конечно был. Осьмушка черного

хлеба, горсть мелкого ореха и с полкило икры. Какой хочешь. Паюсной, зернистой. кетовой.

— Полкило икры? — опешил я.— Какой же это голод, если вы там обжирались икрой?

— Икры у нас хватало,— похвасталась Амалия.

— И войну ты видела? — недоверчиво спрашиваю я.

— Видела. Вот как тебя вижу.

— И турок видела?

— Видела.

— Видела и живой осталась?

— Как видишь.

«Так не бывает», — решил я про себя, отвернувшись от Амалии. Я теперь не верю ни одному ее слову. Я не знал, что она такая врунишка. Подумать только, идет война, а они там объедаются паюсной икрой. Все выдумывает. И про турок и про икру. Один обман.

Почти враждебно я разглядываю Амалию. Вот нистолечко я не верю словам этой девчонки. В одно ухо входит, в другое выходит.

Мой свирепый вид нисколько не смущает Амалию. Она продолжает дразнить меня:

— Ты небось даже не слыхал про Шаумяна? Нет?

Тоже сказала, не знаю Шаумяна! Я хотел было послать Амалию куда подальше, но, снова взглянув на ее худую шею с проступавшими ключицами, прикусил язык. Вижу, вижу, какой у вас при коммуне был рацион, Амалия-ханум. И мне стало нестерпимо жаль ее. Но я все же огрызнулся:

— Про Шаумяна у нас не хуже вашего знают. Мы здесь не в верблюжьем ухе сидим. Кое о чем наслышаны.

— И про то, как мой отец за коммуну воевал, ранен был? — не унималась Амалия.

— И про это знаю,— не сдавался я.— Мне Андроник рассказывал. Я с ним дружу.

Я все-таки решил проверить слова Амалии окольным путем.

— А твой папа с Шаумяном заодно был?

— Ну да, с ним заодно.

— А ты Шаумяна видела? — продолжал я свой допрос.

— Ну да. Он даже меня на коленях держал. А я дернула его за бородку, думала, она приклеена. Такая черная-черная.

— Ой, и врешь же ты, Амалия! Все ты выдумываешь. Ну кто ты такая, чтобы Шаумян тебя на коленях держал?

— А вот я такая!

Тряхнув прыгающими косичками, Амалия снова вприпрыжку, как воробей, побежала вперед, не забыв на прощанье показать язык. Только и видел я, как мелькает над головой прыгалка. Да еще, далеко отдаваясь в горах, звенит ее считалка:

Аты-баты,
Шли солдаты...

— Куда ты одна, Амалия, ящериц же боишься? — крикнул я ей вслед.

Амалия дошла до пригорка, повернулась лицом, крикнула в ответ:

— Я соврала тебе, Тик, что ящериц боюсь! Ящериц пусть пароны боятся. А мне они нипочем.

И она снова тоненько запела свою считалку.

Горы подхватили ее голос, разносили далеко:

Аты-баты,
Шли солдаты...

2

Холодея от любопытства, я слушаю литейщика Асатура, который любит рассказывать про коммуну. Одно дело разные россказни, идущие от уха к уху, пусть даже из уст Айрапета-даи или даже Амалии, другое — слушать самого Асатура, который за коммуну воевал, а может, с Шаумяном за руку здоровался.

Литейщик Асатур, конечно, мог бы рассказать про коммуну, про войну, которая там сейчас идет, но он говорит о красных пикетчиках, про забастовку, которая была в Баку еще до коммуны. Дядя Асатур сам был пикетчиком, во время забастовки ходил с

красной повязкой на рукаве, но когда говорит об этой забастовке, он воздает хвалу Ишхану.

— Запомните это имя, ребята. Из наших мест он.

Я не первый раз слышу это имя и каждый раз наполняюсь гордостью за его геройство. Я силюсь представить Ишхана. Но из этого ничего не выходит. Образ расплывается. В моем воображении Ишхан то похож на десятского, то на Мухана. То на самого дядю Асатура.

Мы зачарованно слушаем живого пикетчика.

— Дядя Асатур,— спрашиваю я.— Если бы Ишхан не был в ссылке, он воевал бы за коммуну?

— Факт, — утверждает Асатур. — Ишхан настоящий революционер. Большевик. А большевики за коммуну. Сражаются сейчас за нее.

Я еще и еще раз силюсь представить себе Баку, где сейчас коммуна, где воюют наши шушикендские парни, где погибли смертью храбрых десятский Акоп и Лазарь, брат Андроника, где был пикетчиком большевик Ишхан.

Когда-то я был в Шуше, меня прихватил с собой дядя Багдасар, и теперь в моем представлении Баку почему-то кажется похожим на Шушу. Я вижу церковь Акулеци с большим золотым крестом на голубом куполе, и сердце замирает от ее величия, вижу шушанское реальное училище. Малый и Большой Майдан, лавки, куда ни кинь взгляд, улицы, запруженные людьми. Колышется море красных знамен, лес вздыбленных винтовок, наш Мухан в своем щегольском гусарском мундире с тульей и перышком на островерхой шапке...

— Дядя Асатур, а в этой самой коммуне... — сразу раздается несколько нетерпеливых голосов.

— Про коммуну потом, — отмахивается Асатур. — Сейчас я загадаю вам загадки. Кто первый отгадает — тот первый и задает вопрос. Согласны?

— Хорошо, давай свои загадки, — соглашаемся мы.

Дядя Асатур хитро щурит глаза:

— Что такое: мир кормит, а сама не ест?

— Соха, — залпом выпаливают Нерсик и Персик.

— Правильно, — соглашается дядя Асатур. — Вам обоим первым по вопросу. Теперь отгадайте. Что такое: все к себе, все к себе?

— Коса, — на этот раз отгадывает Армо.

— А такое: и к себе и ко мне, и к себе и ко мне?

— Пила, — хором орем мы уже все, стараясь перекричать друг друга.

— Опять правильно. Молодцы! — хвалит дядя Асатур, окончательно расположив нас к себе. — Теперь я ваш должник. Задавайте свои вопросы.

Он хотел еще что-то сказать, но вдруг замер на полуслове, с любопытством разглядывая нашего атамана, который был не кто иной, как Андроник. Атаманом он стал после Армо. Взъерошенный, страшный, весь обвешанный самодельными арбалетами, маузерами и патронташами, он стоял, схватившись за один из маузеров. Рыжие вихры на голове пылали. Сверкали огненные, решительные глаза. Всем своим видом атаман как бы говорил: «Не думай, коммунар, что мы тут в жмурки играем. У нас, брат, здесь своя коммуна».

Асатур понимающе оглядел брата с ног до головы. На рыжем его лице застыла улыбка.

— Нжде или, как его там, Асадулаев? — спросил он как можно серьезнее.

— Не Нжде и не Асадулаев, — отрезал Андроник, хлопнув по маузеру. — На кой черт нам они, которые за богатых и грабят на больших дорогах. Мы теперь играем в красных и белых. Только ты зубы не заговаривай, — строго заключил он. — Давай про коммуну. Как обещал. По-честному.

Асатур уже не смеялся.

— Конечно, по-честному. Разве я отказываюсь? Давайте свои вопросы. Только, чур, не все сразу.

Но вопросы все-таки задавали хором, не дожидаясь очереди. И все про войну, про коммуну.

Дядя Асатур умел героически выкручиваться. Он мог говорить про коммуну битый час и ничего не сказать ни про голод, ни про смерть. Будто ничего такого и не было. Он не сказал и про то, как сам воевал за коммуну и отвоевался.

Не то Нерсик, не то Персик в упор спросил его:

— Дядя Асатур, а кто такие дашнаки? Они тоже делают коммуну?

Дядя Асатур громко расхохотался.

— Дашнаки делают коммуну?

Он даже от смеха схватился за бока:

— Как же, как же! Слышали мы про одного такого. Да в трудную минуту стрекача дал.

Он вдруг, оборвав себя на полуслове, скосил глаза на меня.

— А ты, парень, часом, не проболтаешься? Как ни говори — парон. Может, и в самом деле контра в тебе сидит?

Я не знал, что такое контра, но всеми фибрами души понял — это очень плохое слово. Вспыхнув от обиды, я хотел было встать и уйти, но крепкая рука дяди Асатура легла мне на плечо.

— Сиди, сиди. Я пошутил. Какой может быть контра внук нашей Заруи!

И он рассказал о генерале Амазаспе, который предал коммуну, открыл англичанам фронт.

Потом дядя Асатур сказал:

— А теперь расходитесь. Оставьте меня с Тиграном.

И он сделал знак, чтобы я остался.

Когда все разбежались кто куда, Асатур ласково погладил меня по голове:

— Какого бы ты богача из себя ни разыгрывал, будешь нашим. Я твой корень знаю. А теперь встань, пойдем вместе. Мать твоя, надеюсь, не заругает, если меня с тобой увидит.

Я неуверенно мотнул головой.

— Я так и знал, — подхватил он. — Мне про маму твою Ишхан рассказывал.

— А разве дядя Ишхан маму знал? — удивился я.

— Знал, знал, милый. И очень хорошо. Он даже тебе родственником приходится. Но ты меня больше ни о чем не спрашивай. Потом узнаешь. Все узнаешь.

Мы возвращались из садов. Дорога шла все время вверх, по косогору, усыпанному мелким бутовым камнем и большими валунами. Шушикендцы с ног сбились, очищая это поле, убирая с него камни, которые сыпались с горы, висевшей синими кряжами прямо над косогором.

Дядя Асатур шел, с трудом преодолевая подъем. Раненая нога мешала ему идти. Мне стало жаль дядю Асатура.

— Это тебе турки, да? — осторожно осведомился я.

— Нет, англичане, — вздохнул Асатур.

— А разве и англичане против коммуны воевали?

— Да, и англичане, и немцы, и турки.

— Дядя Асатур, это правда, что при коммуне по полкилограмма икры выдавали? Такой был рацион!

Я снова блеснул изысканным городским словом.

— Это тебе Амалька, козочка наша, насплетничала? — грустно улыбнулся Асатур. Потом добавил: — Верно сказала тебе наша козочка, по полкилограмма икры в зубы. Но только не с чем было есть эту икру. Мы маму свою с Амалькой потеряли от такого рациона.

Всю оставшуюся дорогу мы прошли, перекидываясь ничего не значащими словами. Не хотелось говорить ни мне, ни ему.

3

Не знаю, может быть, какие-то богачи и сдирают с людей три шкуры. Какое нам до них дело? Дядя Багдасар не имеет к ним никакого отношения. Ей-богу, никакого. Он не в ответе за всех богачей. Если на то пошло, дядя Багдасар от дашнаков больше пострадал, чем кто-либо. Прокормить, напоить такую ораву, какая у хмбапета Агалара, — не шутейное дело.

Иные скажут: «Ну и ну! Знает, перед кем блеснуть гостеприимством твой хваленый дядя». Ай-ай, какие слова! Не бросайте, пожалуйста, в наш огород лишний камень. Этих камней на нашем огороде невпроворот.

Во-первых, станут хмбапет и его дружки ждать, чтобы их угощали! Как-нибудь при надобности сами угостятся. Во-вторых, вы видели только подвыпившего хмбапета и его дружков, но не видели дядю, который по вечерам что-то слишком уж часто посасывает свой пожелтевший ус. Да и как не посасывать, если дашнаки ведут себя хуже пристава и казенных людей.

Разве дядя Багдасар радуется такому? Или тому, как прикрыли дорогу в Малибайлу. Кто от этого больше пострадал? Конечно же, дядя Багдасар. Он

теперь не скупает там на корню виноград. Не может к ним съездить, дороги нет. Вот видите, какие дядя Багдасар с хмбапетом друзья! Какая нам выгода от этой дружбы?

Еще одно я заметил за дядей: ему стало невмоготу таскать деньги, вырученные в городе за вино. А считать их еще тяжелей. Попробуй сосчитай такое количество банкнотов, если этих банкнотов хватило бы, чтобы заклеить ими все окна в домах Шушикенда. Не будь такой перемены, не смени пристава хмбапет, может, нужды бы не было в этом бумажном половодье? Может быть. Нет, дядя Багдасар явно недоволен обилием «керенок». До глубокой ночи, яростно стуча костяшками счетов, он посасывал, посасывал ус.

Иногда дядя Багдасар за счетами засыпал. По-настоящему спал, выпятив нижнюю губу, звучно храпя.

Не хотелось выдавать одну пренеприятную историю, но куда денешься! Припертый к стене, я вынужден признаться: пользуясь обыкновением дяди засыпать за счетами, мы таскали из-под носа у него деньги. Собственно, таскал Ашотик, который спал в той же комнате, где дядя считал деньги. Может быть, в этом и был весь талант нашего меньшого брата. Ему это делать было — раз плюнуть. Как только рука дяди замирала на костяшках, а губа выпячивалась, Ашотик, который прикидывался до этого сладко спящим, вылезал из-под одеяла, подползал на коленях к какой-нибудь стопке денег и сейчас же назад, захватив с собой всю стопку.

Брат не был скупердяем: все уворованные деньги до последней бумажки мы потом делили между собой поровну. Даже Арев не забывали. Она получала свою долю и очень удивлялась нашей щедрости.

Но какой толк от ночных бдений Ашота, если на кучу денег, доставшуюся тебе, лавочник Аванесбек, у которого мы покупали конфеты, выдавал по одной горсти подушечек и при этом так небрежно хватал добытые нами деньги и швырял их в открытый мешок, что, казалось, делал одолжение, беря их у нас.

Я не знаю, кто начал, чьих рук это дело, но после того, как в селе появился литейщик Асатур, в Шу-

шикенде стали собирать хлеб для Баку, для голодающей коммуны. Получилось две арбы, доверху набитые тяжелыми мешками. Один только дядя Багдасар отвалил два мешка чистейшей пшеницы. Такие же арбы с зерном снарядил в Баку и Малибайлу, многие другие карабахские селения.

День и ночь через наше село, скрипя несмазанными колесами, тянулись повозки в Баку. Чтобы отличить повозки, следовавшие в Баку, от других повозок, на перемычку ярма цепляли маленький красный флажок. Повозки с трепыхавшимися флажками на передке шли и шли через наше село. Их еще называли красным обозом и уступали ему дорогу...

Подумать только: Нерсик и Персик еще куда ни шло, у них и дом, и крыша, и какая-то живность во дворе, но и Сарик-Марик, у которого последнего ослика задрал волк, туда же: требуют изгнать меня и моего брата из отряда.

И кто это говорит — Сарик, который только вчера-позавчера бил передо мною поклоны в благодарность за алгебру Киселева и «Майрени лезу». Сарик-Марик, для которого дружба со мной и моими братьями всегда была пределом мечтаний. Еще бы не мечтать. Достаточно сказать, кто он, этот Сарик-Марик. Сын возницы Багира. Того самого Багира, который так славно встретил запоздалого проезжего всадника.

Хотя бы ты помалкивал, Сарик-Марик. И с чего это ты вдруг задрал нос? Ну с чего? От подвигов отца? Смешно даже. Что, собственно, произошло? Ну, дядя Багдасар на выборах голосовал за дашнаков. Но ведь за дашнаков голосовал не один мой дядя. Это во-первых. Во-вторых, кто может поручиться, что пятый номер, то есть большевики, за которых голосовал дядя Гегам, лучше дашнаков? Но любопытно: за большевиков голосовали одни бедняки. Голь. Чего стоит один возница Багир, так бесславно развенчавший себя, показав свою бедность перед чужим человеком, проезжим всадником! Или даже Чопур Григор, известный пока только тем, что умеет с вывертом ругаться да искать в папахе.

Ну хорошо, несчастные болтуны. Вы бедные. А мы вместе с дядей Багдасаром — богатые. Припомните-ка, несносные горлопаны, Нерсик и Персик, или ты, Сарик-Марик, сколько вы отдали зерна на помощь коммуне, когда всем миром снаряжали обоз с хлебом в Баку? Не можете припомнить? Да и вспоминать нечего. Ничего вы не сдали. Ни зернышка. Чтобы дать, надо иметь. А вы ничего не имеете. А вот дядя Багдасар отвалил. Целых два мешка пшеницы взял да отвалил. Во!

Ну что, прикусили язык? Говорите же, ну! Подумаешь, вытащил четвертый номер...

Вообще эти списки — если хотите знать, как неразрезанный арбуз. Кто мог раньше подумать, что четвертый номер — это хитрющий Агалар, который, как говорят, с волком ягненка задерет, с хозяином погорюет.

Вы бы послушали, как он песочил дядю Багдасара, когда тот, отозвавшись на призыв оказать голодающему Баку посильную помощь, больше всех внес свой добровольный пай — два мешка зерна.

Не прошло и двух-трех дней после того, как меня с Аванесом прогнали из отряда, я лицом к лицу столкнулся с Сариком. Сарик беспечно насвистывал, должно быть, для меня. Дескать, смотри, какой я везучий, мой отец не какой-нибудь Багдасар, он вытащил пятый номер. Я гнал впереди себя осла с тяжелыми плетенками по бокам и страшно злился, что он поминутно опускал голову, обнюхивая каждый помет, такая у ослов привычка. Этих темных шариков попадалось великое множество, и осел только и делал, что останавливался, обнюхивал их, и нипочем ему были удары моей палки. Или, может быть, он меня в грош не ставит из-за возраста? Ослы детскую руку чувствуют и не больно подчиняются ей.

С Сариком мы встретились нежданно-негаданно на повороте тропинки, он не успел убрать с лица беспечной улыбки, я же — злости, вызванной упорством непослушного осла.

Мы остановились, меряя друг друга изучающим взглядом, не зная, как поступить дальше, пройти мимо, изображая обиду, или все-таки заговорить.

Осел нашел овечьи орешки и стал сосредоточенно обнюхивать их.

— Здорово, Тигран! Что везешь? — первым заговорил Сарик.

— Если я скажу — навоз, поверишь? — отозвался я, не глядя на него.

— Не поверю. Виноград.

Сарик облизнул губы.

— Не бойся, я у тебя просить не буду,— сказал он, все-таки кося глазом на корзины.

— Ну и хорошо. Теперь сойди с дороги, дай мне проехать.

Сарик сошел с дороги, но я не торопился уходить.

— Ты на меня сердишься? — почти дружелюбно спросил он, мужественно отворачиваясь от корзин, в которых угадывались сочные кисти винограда.

— Нет, не сержусь, с чего ты взял? — соврал я.

Сарик улыбнулся.

— Вижу, как не сердишься. Проезжай!

Я со всей силой огрел осла по крупу, но он не обратил на это внимания и продолжал обнюхивать свой заветный букет.

Хотя мы с Сариком шли в разные стороны, я в село, а он — из него, все-таки он увязался за мной.

— Не думай, Тигран, что я из-за винограда с тобой иду. Винограда твоего мне не нужно, — уточнил Сарик, задумчиво сшибая палкой головки цветов, росших по обе стороны дороги.

— А из-за чего? Ради нашей великой дружбы? — посмеялся я.

Сарик все-таки сильно прихрамывал, и я замедлил шаг, чтобы ему не трудно было идти со мной.

— Слушай, Тигран, — сказал он очень серьезно, перестав размахивать палкой, сузив и без того узкие темные глаза. — Хочу спросить у тебя, что такое революция?

Вопрос был так неожидан, что я не сразу нашелся, что ответить. Или это тактический ход, чтобы потом огорошить меня новой какой-нибудь выходкой? Разве узнаешь этих мальчишек, которые так и ждут случая, чтобы нас, детей богачей, поддеть.

Но нет, не похоже, что Сарик меня испытывает, замышляет против меня недоброе. Для осторожности я все же исподволь выведываю:

— А почему об этом ты меня спрашиваешь?

— А кого еще спросить? У тебя такие в доме книги. Алгебра Киселева, «Майрени лезу». Да в придачу еще мама твоя в гимназии училась.

Я вздохнул, от души отлегло. Нет, Сарик ничего не замышляет против меня, никакого тактического хода здесь нет.

— Революция? — переспросил я, мобилизовав все запасы своих познаний по этому вопросу. — Ну как это тебе сказать, чтобы понятней было. Революция — это когда с тронов летят цари, как наш полетел. И когда народ избирает себе Учредительное собрание,— как мог, объяснил я.

— А кто такой Ленин? Ты о нем тоже знаешь? — поверженный в прах моей осведомленностью, допытывался Сарик.

— Конечно, знаю, — храбро откликнулся я. — Ленин самый главный революционер. Главнее даже Шаумяна.

— Главнее даже Шаумяна? — Сарик окончательно был покорен моими познаниями.

— А ты Ленина уважаешь? — неожиданно спросил он.

— Ну конечно. Кто Ленина не уважает?

Сарик ударил шапкой оземь.

— Я так и знал. А наша пастушня — ни в какую. Раз он богатый, наш Манташев, говорят, значит, против Ленина.

— Знал и требовал изгнать меня из отряда?..

Сарик потупил голову, пряча от меня лицо.

— Это я для солидарности. Не мог же я против своих идти. Они все же мне ближе.

Меня тронула откровенность Сарика. Я готов был расцеловать его за эти слова, но, чтобы не распустить нюни, сказал с улыбкой:

— Прямо как забастовщик Бахши.

— Ну да, как забастовщик Бахши. Он тоже не хотел идти против своих.

Некоторое время мы шли молча, каждый думая о своем.

— Сарик-Марик, — предложил я, — а может, все-таки отведаем по кисточке? Это ведь не помешает твоей солидарности, не повредит делу.

Сарик сразу сник, помялся.

— Делу, конечно, не повредит, если только не шутишь.

— Зачем мне шутить? Вот сейчас я сам съем кисточку и тебе дам. Это первый виноград. Скороспелка. Грешно скороспелкой не делиться.

Чтобы дотянуться до корзин, перекинутых через спину осла, я взобрался на камень. Осел, наткнувшись на помет, блаженно засопел носом, приложившись мордой к куче шариков, над которыми вилась мошкара. Я достал здоровую кисть белого винограда и протянул Сарику:

— На, попробуй!

Сарик, должно быть, еще не верил в мое честное намерение и, боясь подвоха, не спешил принять мое угощение.

— Бери, Сарик-Марик. Это я без дураков. За твою честность.

Сарик осторожно взял кисть, ощипал всю, до последней виноградины, хотя не все ягоды были спелыми.

Я достал еще кисточку:

— Ешь спелые, кислятину оставь, набьешь оскомину.

Я никогда не был таким щедрым. На прощание даже высыпал ему в подол целую горсть винограда.

— Спасибо, Тигран, — не знал как поблагодарить меня Сарик. — И за виноград и за хорошие слова. Только не думай, Тик, что я тебе какой-нибудь кусочник дядя Гегам. Меня сладкими словами или виноградом не смажешь, вокруг пальца не обведешь. Ты богатый, я бедный. У нас с тобой разные дороги.

В дикой ярости я хватил осла палкой по крупу. Осел, мирно пощипывавший у придорожного тына колючки, не понял моей выходки и не сразу тронулся в путь.

— Я, вижу, тебя обидел, Тигран. Может, заберешь свой виноград обратно? — сочувственно посоветовал мне Сарик.

Я не удостоил его ответом. Вернее, от гнева и неожиданности я не смог вымолвить даже слова. От хромоножки Сарика я не ждал такой прыти.

Прежде чем разминуться, я снова со всей силой огрел осла.

4

И каково мне, когда после таких слов Сарика я вдруг вижу, как Гегам, проглотив кашель, водит разных выпивох, любителей дарового вина, по подвалу дяди Багдасара да еще предлагает попробовать то из одной, то из другой бочки. Особенно не нравилось мне, когда он выламывался перед хмбапетом Агаларом, который в последнее время, бывает, так напробуется, что потом его силком приходится вытаскивать из подвала. И даже перед пьяным хмбапетом голос дяди Гегама истекал сахаром. Я злюсь на него и ругаю про себя на чем свет стоит.

«Назвал тебя Сарик кусочником, — утешаю я сам себя. — Вот и наслаждайся своей кличкой. Кусочник ты и есть. Ку-соч-ник».

Пил хмбапет со знанием дела и с таким видом, будто делал нам одолжение, удостоив нас своим посещением. И не прочь был даже пофилософствовать.

— Пользуйся моей добротой, большевик Гегам. Другой бы на моем месте отправил тебя на тот свет телят пасти, а я тебя не трогаю. Понимаю человеческие заблуждения. Считаю, что ты просто ошибся, вытянув большевистский номер.

Гегам вился вокруг хмбапета вьюном. Не до кашля теперь, когда за здорово живешь можно потерять голову.

Гегам водил хмбапета по длинному прохладному подвалу между рядами бочек, выискивая лучшее вино.

— Пейте из этой бочки, господин хмбапет. Не вино, а бальзам. Для самого Манташева приготовил Багдасар, да, видать, Манташевым не до вина сейчас.

— Вот-вот, говорю, ты большевик,— икая, выговаривал пьянеющий хмбапет. — Это почему же Ман-

ташевым не до вина?.. Манташевы были и будут. А вот таких болтунов, как ты, мы очень просто к ногтю прижмем. Научим, как распускать язык. Ладно, ладно, не трясись. Сказал, я добрый, пачкать руки о тебя не стану. Давай открой бочку для Манташева...

Кто только не перебывал за день в наших подвалах! Приходил литейщик Асатур. Но не для того, чтобы напиться, как другие, хотя не брезговал при случае приложиться к штофу и он. Наш коммунар, должно быть, любил Гегама, дружил с ним, но когда встречались, всегда ссорились.

Я любил, забравшись в угол подвала, будто за делом, прислушиваться к разговору старших. В подвале для такого случая всегда много дел. Валявшаяся на полу деревянная затычка, которую непременно нужно вбить в отверстие бочки. Подобрать за опившимся гостем забытый им штоф. На весь разворот руки я бью колотушкой по затычке, водворяя ее на место, а сам вслушиваюсь в разговор. Шум от моих ударов по затычке стоит в подвале нестерпимый, до меня доходят лишь отдельные слова:

— Ну как? Удалось опоить дашнакское начальство? — сквозь грохот слышу насмешливый голос.

В подвале сыро и темно. Я не вижу говоривших, но хорошо слышу их голоса. И уже знаю: сильный, грудной — Асатура; тихий, вкрадчивый — Гегама.

Ответ последовал не сразу. Должно быть, дядя Гегам вышел из подвала посмотреть, нет ли поблизости кого.

Наконец слышу и ответ:

— Двери подвалов Багдасара Арустамяна открыты перед всеми.

— Ты свои сказки рассказывай другим. Я воробей стреляный. Знаю, как они открыты. Со здоровым кашлем в придачу.

— Кашель мой не для всех.

— Разумеется. Во всяком случае, не для дашнаков. При виде их ты забываешь о кашле.

Снова молчание. Какая-то возня. Конечно, Гегам снова вышел из подвала оглядеться по сторонам. Я бью, бью по затычке, а сам — весь внимание.

— Ты словно львиное сердце проглотил, Асатур, — слышу я вкрадчивый голос Гегама. — Зачем говорить такое, за что голова может слететь с плеч?

— Ты о моей голове не печалься. Она крепко сидит на плечах.

Асатур говорит, говорит какие-то слова, но я не слышу. Грохот, поднятый колотушкой, заглушает их.

— Что же это в мире делается, Асатур? — через минуту слышу я сквозь грохот. — Царя свергли, а все по-прежнему остается. Богачи сдирают с нас шкуру пуще прежнего.

— С тебя сдерешь! У тебя шкура хитрая! — весело рокочет голос. Потом серьезно: — Это потому, что в Карабахе хозяйничают дашнаки. Если бы не они, дело повернулось бы иначе.

— Послушаешь тебя, Асатур... Можно подумать, что там, где их нет, — благодать. В России дашнаков нет, а там, видать, тоже нет порядку. Отчего бы это?

— Я же говорил. В России белые. Русские дашнаки. Это одно и то же.

Бедный дядя Гегам! Наш Аферим! От этих слов он так раскашлялся, что долго не мог прийти в себя.

— Что ты давишься кашлем, Гегам? — осведомился Асатур. — Если ты поперхнулся словом о дашнаках, то напрасно. Пусть боятся те, у кого под ногами земля горит. А нам с тобой бояться нечего. Мы в своем доме. На своей улочке и курица храбра. Но ты мне зубы не заговаривай. Налей-ка манташевского. Все равно скоро вытрясем твоего Багдасара. Все реквизируем — и манташевское и неманташевское. Как в Баку. Как по всей России. Да не трясись, ну! И не прикидывайся овцою, волк съест.

Тут Гегам зашелся отчаянным кашлем. Сквозь кашель я услышал жаркий шепот:

— Да уймись же ты. Мальчишка услышит.

— И пусть услышит. Пусть и он на ус себе мотает. Нам с богачами не по пути.

Всех слов Асатура я не услышал. Я выскочил из подвала и кинулся бежать куда глаза глядят. Мне было больно слышать все это.

5

Получилось так, что вся наша орава, не исключая моего младшего брата Аванеса, села на коней. На настоящих. А случилось это с легкой руки дашнаков. Повадились они своих коней давать нам водить на водопой. Сами понимаете, что это значит — дать мальчишке вести коня на водопой! Не мне сейчас рассказывать, не вам слушать про эти веселые минуты. Вот была утеха!

Конечно, мы водили вверенных нам коней на водопой. Чтобы не было кривотолков, обмывали их водой, даже завязывали им хвосты, переплетали в мокрые косички их гривы... Топот копыт наших бешеных скачек до сих пор эхом отдается в горах!

Я знаю, сегодня литейщик Асатур будет говорить о красных пикетчиках... о коммунарах...

Но я не пойду. И Аванес не пойдет. Пусть он свои байки рассказывает Нерсику и Персику. Даже Сарику-Марику. Или там Норайру и Жирайру. Кто мы ему, этому литейщику? Дети Багдасара Арустамяна, которых надо сжить со свету.

Пусть он с Ишханом дружил, с самим Шаумяном знался, но он мне никто. И Аванесу тоже. Жили мы до сих пор без него и сейчас проживем. И без его рассказов обойдемся. Только, чур, чтобы и он забыл дорогу к нашему подвалу. Приходит будто с дядей Гегамом перекинуться словом, а там, глядишь, приложился к штофу.

Этих слов при встрече с Асатуром я, конечно, не говорю. Я это про себя так думаю. Пусть он даже приложится к штофу. Мы от этого не обеднеем. Впрочем, пустые слова. Нипочем ему все мои переживания. Станет коммунар Асатур, который презирает всех богачей, цацкаться со мною, с сыном винодела. И кашель ему нипочем. Если хотите знать, он приходит к нам в подвалы не напиваться, а нашего работника Гегама уму-разуму учить. Да и кто закашляет ему под ухом, если дядя Гегам робеет перед ним, все его колкие слова проглатывает.

Не успел хмбапет со своими дружками, покачиваясь, уйти, как на пороге подвала показался Асатур в своей выцветшей шинели и разбитых сапогах с низ-

кими голенищами. Он, должно быть, был где-то поблизости, видел, с каким усердием дядя Гегам старался ублажать важных гостей.

Косо посмотрев на Гегама, Асатур велел подать ему штоф. Отпив из горлышка, он сказал:

— Глазам больно на тебя смотреть, Гегам. За большевиков голосовал, а перед дашнаками готов переломиться. Увидел бы Ишхан, как ты кривляешься, холку бы натер. И за дружбу с Багдасаром не погладил бы по голове. Запомни, умник, сколько раз надо тебе втолковывать: волк ел не ел, а пасть в крови.

Я хотел было кинуться из подвала, но, заметив меня, Асатур согнутым пальцем поманил к себе. Я нехотя подошел.

— Ты, кажется, собирался уходить? — спросил он меня.— Мне тоже пора. Могу составить тебе компанию.

Через минуту-другую мы вышли из подвала. Был полдень. Солнце жгло. Дорога в село вилась по тому же косогору, по которому мы шли совсем недавно, после нашего первого знакомства. Как и тогда, кругом камень, камень, еще раз камень, а среди них узкие полоски наделов. Ошалев от жары, неистово свистят в полинялой траве толстые, голенастые кузнечики...

Дядя Асатур шел, не прихрамывая. Ему иногда удавалось идти, не волоча за собой ногу.

Я молчу. Я никогда не прощу ему всех слов о дяде Багдасаре.

— А ты на меня не сердишься, верхолаз? — ласково спросил Асатур. С некоторых пор он называет меня не иначе, как верхолазом. — Тигром меня представляешь? Но я не тигр. Я за свою правоту стою.

Я не понимаю всех слов Асатура. Не знаю, о какой своей правоте он толкует. Если хотите, и не хочу знать. Все равно он меня с Аванесом, детей богача Багдасара, не любит. Ему больше по душе Нерсик и Персик. Ну и пусть. Какое мне дело до его правоты?

— Ну, как тебе объяснить, малый? — развел руками Асатур. — Наша правота — это когда человек живет сам по себе, не кривляется ни перед кем, не кашляет другому над ухом по чужой указке, когда человек человеку — друг...

Но я опять-таки не понял.

— Смотри! — Асатур показал мне на нарядную птицу на дереве, которая, зарыв голову под крыло, чистила перья. — Смотри, — повторил он, весь расплывшись в доброй улыбке. — Бессловесная тварь, а сколько в ней заботы о красоте. Вот о том я и говорю. О красоте жизни. Чтоб во всем красота была. И чтобы человек не унижал себя ни фальшью, ни ложью. Как ты думаешь, верхолаз?

Я слушаю Асатура и думаю о своем. Вот ты такой умный, добрый, почти святой, а готов съесть дядю Багдасара. Всех богачей. Значит, не такой добрый и не святой.

Асатур угадал мои мысли.

— Придет время, не будет ни богачей, ни дашнаков. Дождемся красоты. И будет она повсюду, как воздух.

Хитрые слова, готовые пронять даже каменное сердце. Попробуйте устоять против них. Но я сдерживаю себя от проявлений непрошеной нежности. Знаем мы коммунара Асатура. Мягко стелет, а жестко спать.

Я все же спрашиваю:

— Дядя Асатур, это правда, что пикетчик Ишхан, который маму знает и мне родственником приходится, того жандарма одним ударом...

Асатур огляделся по сторонам, уставил на меня строгие глаза.

— Это тебе Армо всякие побасенки рассказывал?

— Зачем Армо? Все говорят.

— А ты поменьше слушай глупые разговоры. Ишь ты! Одним ударом. Я, брат, побольше тебя знаю его, но таких страстей за ним не помню. И за дядей Саркисом тоже. Они революционеры. Большевики. Все, что делали, они делали по поручению Шаумяна.

— А Нагашидзе? Кто убил князя Нагашидзе? Тоже по поручению Шаумяна? — не унимался я.

Дядя Асатур развел руками.

— И про него дознался? Да ты, я вижу, порядочный сыщик.

Некоторое время мы шли молча. Кузнечики ошалело верещали. Асатур сказал:

— Цепной пес был этот Нагашидзе. Против красных пикетчиков и забастовщиков казаков пускал, кровь рабочих проливал. Туда ему и дорога. А кто убил его — не знаю. Чего не знаю, того не знаю.

Я вспомнил разговор о дяде Багдасаре и спросил:

— Дядя Асатур, а Ишхан тоже против богатых? Даже если этот богатый — добрый?

Асатур захромал. Ему, наверное, все-таки трудно идти в гору.

— Да, конечно, — поспешно отозвался Асатур. — Если он даже святой. Рабочий он, наш Ишхан, и честь рабочая ему, голубок мой, дорога.

Я хотел еще что-то спросить, но тут же прикусил язык, увидев всадника, вынырнувшего из-за кустов нам навстречу. За спиной у всадника развевался черный башлык, на боку бился маузер. Сам хмбапет.

Конь с запала горячился под ним, приплясывал, а хмбапет ладно красовался в седле. Не приведи бог, если он дознается, что на его коне раскатывает Армо.

Поравнявшись с нами, хмбапет резко осадил коня, пропустил нас мимо и долго смотрел нам вслед.

● ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

Наш Шушикенд, всем известно, закинут высоко, разбегается по пригорку скученными домами, как, впрочем, многие другие карабахские села. Я написал эти строки и остановился, задумавшись. Правильно ли я представил Шушикенд? Нет ли здесь передержки?

Все как будто верно, он закинут действительно высоко. О домах тоже сказано правильно: они скученны, прижаты один к другому, крыши налезают на крыши. Все верно.

Но поставить здесь точку, не сказав о домах иного толка, которые, как минареты, высятся среди соседствующих с ними низкорослых домишек с плоскими крышами, значит, не все сказать, прибедниться, принизить в глазах людей наш Шушикенд. Нет, друзья мои, Шушикенд не таков, каким я изобразил его. Я чуточку покривил душой.

Слов нет, начнешь считать домишки с плоскими крышами, похожие на сакли, счет потеряешь, до вечера не сосчитаешь. Таких ветхих домов, на крышах которых, между прочим, можно траву косить, хоть отбавляй. Но есть же, есть среди них дома, которые, возвышаясь то здесь, то там, придают селу совсем другой вид. Словно ты в каком-нибудь Багдаде.

Вы думаете, что это дома богатеев? Конечно, и богатеев. Не хватало еще, чтобы они ютились под плоскими крышами, роняли имя Шушикенда. Как ни говори, они тоже шушикендцы и, как все шушикендцы, любят шик, любят при случае пыль пустить в глаза, с достоинством подать себя.

Все это так. Но много ли в нашем Шушикенде наберешь богачей, кроме дяди Багдасара, братьев Бадунцев и лавочника Аванесбека, понастроивших себе хоромы? Нет, совсем не много. Раз-два — и обчелся.

Стало быть, такие дома строили в Шушикенде не только богачи. Вот-вот, мы и подошли к главному. Значит, в домах под кровельным листовым железом с резными петушками на коньке, живет и простой шушикендский люд. Конечно же! Иначе откуда им, этим щеголям, да в таком количестве взяться тут?

Как он, этот Багдад, мог возникнуть здесь, на нашей нищей земле, да еще расхватанной беками, уже другой вопрос. Для этого нужно просто знать моих шушикендцев. Помните, мы говорили об отходниках. Вот они, те отходники, и строили. Жили впроголодь, в нищете, но, умирая, оставляли после себя эти каменные памятники.

В одном из таких домов под железной крышей, даже с люстрой посередине зала, которая никогда не видела света — не хватало у потомков, поставивших этот дом, достаточных средств, чтобы хоть раз осветить ее,— жила бедная-пребедная семья — семья нашего Армо: сам Армо, старый-престарый дед Тавад-апер и мать, тетя Ашхен, еще молодая, но очень больная женщина, вечно перевязанная крест-накрест шалями.

Первый камень этого дома поставил Погос, дед или прадед самого Тавад-апера, может быть, первый шушикендец, отправившийся в отход. А достроили его Тавад-апер и его сыновья. Почти всех своих сыновей пережил Тавад-апер. Остались только дочери, которые давно повыходили замуж, оставили отчий дом. Вся надежда была на младшего сына — Саркиса, а с ним вот такое приключилось.

Благо после ареста сына невестка с внуком вернулись под родной кров. А то пустовать бы этому дому после Тавад-апера.

Теперь в этом красивейшем доме Шушикенда, стоившем жизни трех поколений, бедствовала семья Армо. И бедствовала она по одной простой причине: не было работника в доме. Сам Тавад-апер был стар, а Армо для работы еще не подрос. Был у них небольшой виноградник, за которым еще ухаживал Тавад-апер. А вот на делянку, которая считалась неплохой землей, уже сил не хватало, чтобы обработать, он сдал ее в аренду. Арендатор оказался нечестным, все прибеднялся, жаловался то на град, побивший урожай, то на засуху, на недород, охаивал вообще делянку, уверяя, что она каменистая, негодная, ничего не родит.

Что после таких слов может перепасть хозяину надела? С виноградника тоже доход был небольшой. Тавад-апер умело ухаживал за ним, урожаи здесь бывали отменные. Но вот беда: как только поспевал виноград, все дочери, которые давно забыли о старом своем отце, не наведывались месяцами, вдруг начинали пылать к нему любовью, и дня не проходило, чтобы какая-нибудь из них не явилась к отцу, окруженная толпой своих детей, а то и внуков.

Тавад-апер был на редкость гостеприимным и хлебосольным человеком. Родственников своих, внуков и правнуков он встречал радушно, но так как в доме ничего другого не было, водил их в сад.

И когда подходил срок снимать урожай, на кустах уже не оказывалось ни одной кисточки. Будто саранча прошла по саду.

Каюсь, я тоже не раз побывал в этом саду, тоже на правах родственника, и я испытал на себе щедрую руку Тавад-апера, который водил меня по саду, выбирая для угощения самые увесистые кисти.

Правда, была у них еще корова, но молоко ее полностью продавалось дачникам, которые летом приезжали сюда из разных городов. На вырученные деньги летом семья Армо еще кое-как перебивалась. Но зимою...

Я знаю еще другое: мама потихоньку, под разными предлогами, посещая, что-нибудь таскала с собой. То хлеб, то муку, то разные гостинцы.

Тетя Ашхен, принимая подношения, смущенно

краснела и каждый раз умоляюще выговаривала сестре:

— Не надо больше, Варсеник. Узнают, неприятность может получиться.

— А я не совсем тайно. Марго знает.

— Спасибо ей. Добрая душа. Да ниспошлет ей всевышний одни радости.

Однажды мама что-то несла тете Ашхен и у самых ворот столкнулась нос к носу с дядей Багдасаром. Мама обмерла. Она держала руки под фартуком, а фартук предательски отдувался.

Дядя Багдасар ничего не сказал, но холодно и косо посмотрел на отдувающийся фартук.

Мама дальше не пошла. Вернулась обратно, бросила мешочек с пшеницей на пол, разбросав золотистые зерна по всей комнате, и, уткнувшись лицом в подушку, горько-горько рыдала, сотрясаясь всем телом.

Я собрал по зернышку пшеницу, ссыпал в мешок.

В соседней комнате, где спали дядя Багдасар и тетя Марго, слышались голоса, что-то разбилось и зазвенело.

— Это он на тебя сердится, да, мама?

Мама не ответила. Она продолжала плакать.

— Из-за этой пшеницы? — допытывался я.

— Уйдем отсюда, бала[1],— прерывающимся голосом взмолилась мать.

— Как уйдем, мама? Это же наш дом.

— Если бы он был нашим, из-за этой горсточки пшеницы не было бы такого разговора.

Мама понемногу успокоилась, а за стеной дядя Багдасар с тетей Марго еще долго препирались. До меня доносились только отдельные слова.

— И ты хороша, Марго. С твоей помощью вы скоро по миру пустите меня.

Тетя Марго говорила тихо, невнятно, слов ее нельзя было разобрать, но ясно было, что она укоряла мужа, стыдила за его поступок.

Это потрясло меня до глубины души.

— Мама! А разве наш папа такой? — не своим голосом спросил я.

— Такой, такой,— горячо зашептала мама.— Как

---

[1] Бала — дитя, мальчик.

все богачи. Только в щедрого играет. Ты еще ничего не знаешь о своем отце.

Мама часто-часто дышала. Отдышавшись, перевела дух, добавила:

— Он еще сердится из-за Ишхана, своего родственника. Наш папа считает, что дядя Саркис наставил его на дурной путь.

— Дурной путь? — я не поверил своим ушам.— Быть забастовщиком, красным пикетчиком, стоять за правду — это дурной путь?

— Он так считает.

Мама понизила голос, прижалась ко мне, еще горячее прошептала:

— Хоть и близким родственником Ишхан нашему папе приходится, но он его не знает. Ни на мизинец не знает. Ишхан не из тех, кого за руку можно вести. Он сам кого хочешь поведет. У него своя голова. И крепкая рука.

В темноте я не видел лица мамы, но чувствовал, как оно оживилось, похорошело. От прежней безысходности не осталось и следа.

— А как ты думаешь, мама, если бы этот Ишхан был вместо нашего папы, он сердился бы на тебя за эту пшеницу? — осторожно спросил я.

— Что ты, Тик! Ты совсем не знаешь Ишхана. Да будь он вместо папы...

— Мама, а ты хотела бы, чтобы я стал таким, как этот Ишхан?

Мама повернулась ко мне, и я почувствовал на своем лице ее жаркое дыхание.

— Иного счастья, бала, я тебе не желала бы. Быть во всем, как Ишхан. Сильным, добрым. Это так нужно людям, Тигран.

Во дворе уже прокричали первые петухи, а мы все говорили, говорили. И все об Ишхане.

2

Вот у кого непыльная работа, так это у чабана. Овцы — это тебе не коровы. Не теленок-отъемыш. Овод им нипочем. Слепень тоже. В жару, приткнувшись носом к носу, будут жариться и не догадаются даже ид-

ти в тень, пока не прогонят их туда. Холода они тоже не боятся. Уже осенью, после стрижки, они обрастают такой шубой, что им зима нипочем. Может быть, им и холодно, но они и этого не понимают. Если что они умеют делать, так весной биться между собой насмерть. Бог ты мой, если бы вы видели этот поединок! Для начала сходятся, голова к голове, свирепо дышат друг другу в морды, расходятся, быстро-быстро пятясь назад, не выпуская противника ни на миг из виду, потом со всего разгона несутся навстречу, сшибаясь лбами. И так не раз, не два, а до тех пор, пока один из них не упадет замертво. Но, как правило, до этого не доходит. Прибегает чабан и разгоняет дуэлянтов.

Здесь нужна оговорка: бьются одни бараны. Из-за овец. Такая у них ревность. А в остальное время — это покорные и безропотные существа. Пасти их одно удовольствие.

Чу! Слышите, льется, льется однообразная, ликующая мелодия. Хоть и не так светло, уже сгущаются сумерки, но я хорошо вижу силуэт чабана с накинутой на плечи буркой явно не по росту, играющего на дудочке.

— Артавазд,— определил не то Жирайр, не то Норайр, которые сегодня вместе со мною пасли свое стадо. Армо тоже был здесь. С Норайром и Жирайром мы теперь почти дружим, вместе пасем наших коров и делимся, конечно, едой. По-прежнему у них сумки или тощи, или вовсе пусты.

И в самом деле, на склоне противоположной горы, став на камень, чтобы казаться выше и лучше видеть, стоит наш Артавазд с большим посохом в руке и неустанно дудит.

В том, что это Артавазд, а не кто иной, мы не сомневались: его все узнают издали по широкой, длинной, не по росту, бурке, по посоху и, конечно же, по дуде. Рядом с ним, задрав голову с обрезанными ушами, торчит его неразлучный друг, пес, готовый исполнить любую прихоть чабана. По первому зову кинуться, куда прикажут, повернуть отару, пригнать отбившегося или замешкавшегося барана или овцу и, конечно же, зорко смотреть за тем, чтобы к отаре не подкрался ворюга-волк.

Но мы, деревенские мальчишки, знаем: есть в отаре еще один хозяин, это козел-вожак. Он ведет всю отару. С него и спрос. А козел у Артавазда хоть и с мощными витыми рогами, но старенький, не любит отару далеко водить: то ли чабана жалко, то ли надоело ему это занятие — знай топчется на месте, не решаясь подняться на кручи.

Словом, работа у нашего Артавазда, как сказал бы десятский Акоп, непыльная.

— Давайте махнем, а? — предложили братья, облизнув губы.

Мы не дали себя долго уговаривать. Вкус мацуна, которого мы тогда отведали, у нас до сих пор на языке.

— А-а, Манташев и его компания! Милости просим! Только сегодня будет небогато: одна тюря. Доставайте свой хлеб.

Позже, провожая нас, сторожко озираясь по сторонам, Артавазд все же предупредил:

— Смотрите, ребята, насчет молока — могила. В землю зарыли, сверху, прикрыли камнем.

— Могила! — заверили мы.

Вечером, возвращаясь домой, когда мы остались одни, Армо сказал мне:

— Все. Теперь мы с тобой больше коров пасти не будем.

Я опешил.

— Это почему же? Снова заноситься стал? Вспомнил, что ты старше меня?

Армо грустно улыбнулся.

— Дурачок ты, Тик, ду-ра-чок! Ты даже не спросишь, как мы обходимся. Мама больна. Отца нет. Дед стар.

Я вспомнил недавний разговор с мамой, когда всю ночь тетя Марго с дядей Багдасаром препирались. Из-за того, что мама хотела отнести сестре немного пшеницы.

— А я знаю, — смущенно, сгорая от стыда, признался я.

— Мало знаешь. У мамы чахотка, а мы молоко продаем. Не на что жить. — Насупив брови, глядя себе под ноги, добавил: — Тетя Варсеник помогала. Те-



перь мама не берет. Не хочет, чтобы у тети были неприятности.

Некоторое время мы шли молча.

— Что же ты думаешь делать? — спросил я.

— Поступаю в работники к Бадунцу Аршаку.

— Нашел к кому идти в батраки! Ты же знаешь, как он своих детей кормит. Или как на селе о нем и о его брате говорят: из-под стоячего подошву вырывают.

— Кто из богачей не вырывает?

— Мой отец. Багдасар. Пусть он погорячился с мамой, но он не такой. Если в батраки, так лучше к нам.

Я говорил это, пряча глаза. Меня все-таки жег стыд за поступок дяди Багдасара.

— К вам я не пойду,— сказал Армо. — Снова маму твою будут пилить. Скажут, родственнику за столом лучшие куски перепадают. А мне это не нужно. Зачем мне новые неприятности делать тете Варсеник?

Я расстался с Армо, даже не попрощавшись. Я не мог смотреть Армо в глаза.

3

Из всех людей хмбапета Агалара я хорошо помню Вардкеса-кери. Был он при хмбапете вроде денщика. Маленький такой, тщедушный, с неожиданно громким голосом. И выпивоха каких поискать. Любил Вардкес-кери вести «высокий» разговор и очень часто, напившись до чертиков, задерживался у нас, чтобы перекинуться с дядей несколькими словами. Общество дяди, должно быть, устраивало его. Дядя ведь не кто-нибудь, а первый богач в селе, с таким не худо на короткой ноге быть.

Дядя Багдасар не уважал Вардкеса, за глаза называл его пьяницей, овечьим орешком, но когда Вардкес бывал у нас дома, держался с ним так, будто у нас в гостях сам хмбапет.

— Старому коню на водопое не подсвистывай,— спесиво разглагольствует Вардкес.— Кого-кого, а меня на мякине не проведешь. Был бы я дурнем, разве его благородие царский офицер Волков держал бы меня при себе в денщиках? Ну скажи, ага Багдасар, держал бы его благородие меня, будь я дурнем?

— Нет, не держал бы,— поддакивает дядя, поглубже спрятав усмешку в седых усах. — Чтобы состоять при его благородии денщиком, надо голову иметь.

— Вот я то же самое говорю,— подхватывает Вардкес.— У денщика, я тебе скажу, ага, деликатная служба. Не так блестят сапоги, не так подал мун-

дир — зубов недосчитаешься. А у меня зубы, видишь, целы. А почему целы? Да все потому, что у меня на плечах голова. А когда у человека голова, он службу свою знает. Думаешь, хмбапет не зуботычник? Еще какой! Только положи ему в рот палец! А я не кладу. Сколько месяцев я при нем состою? И ничего. Обратно зубы целы. Придут товарищи...— это слово он старается произнести потише, но все равно получается громко, и я слышу его свободно через дверную щель. Скажем в скобках: сколько раз Вардкес затевал разговор с дядей, столько же раз я вырастал за дверьми. Пусть стыдно подслушивать чужой разговор, но я подслушиваю. Так нужно. Меня просил об этом Армо. А Армо всегда знает, что говорит. Он так и сказал: «Это твое первое партизанское поручение». Я уже знал, кто такие партизаны. Это люди Шаэна. Товарищи. Те, которые по ночам поднимают стрельбу, беспокоят дашнаков. Даже смешно. Я у себя дома подслушиваю пьяное разглагольствование хмбапетова денщика, и это называется партизанским поручением. Нечего сказать, хороши эти партизаны, если они нуждаются в моей помощи. Партизаны, конечно, мне никто, но об этом просит Армо, а для меня слово Армо — закон. Я давно простил ему все обиды. Если ему надо, пожалуйста. Мне это особых трудов не стоит. Я в своем доме. Захочу — подслушиваю. Кто мне судья?

— Придут товарищи,— повторяет Вардкес еще тише,— и обратно Вардкес не пропадет. Зачтется его усердие. Склоненная шея всем нужна.

— Как ты сказал, Вардкес-кери? — прикидывается непонимающим дядя.— Если я не ослышался, ты назвал товарищей. Что это за «товарищи» объявились?

— Ну и хитер же ты, ага Багдасар,— поднимает коричневый от курева палец Вардкес.— Не знаешь, что за товарищи? Почти дня не проходит, чтобы они не поднимали шума, не убивали кого-нибудь из нашего отряда.

— А-а, партизаны,— догадывается дядя Багдасар.

— Они самые. Чтобы им с их Шаэном ни дна ни покрышки. Говорят, этот Шаэн угольщик, а получше нашего воюет.

Однажды, в присутствии отца выпив лишнего, Вардкес заныл:

— Плохи наши дела, ага Багдасар. Очень плохи. Повсюду красные теснят белых. Того и гляди Советская власть перекинется к нам. Да и Шаэн покоя не дает.

— Что же ты, Вардкес-кери, говоришь такое! Узнает хмбапет, головой вниз повесит тебя,— сказала мама.

— Что я такого сказал, ага Багдасар? — спохватился перепуганный насмерть Вардкес.— Не я ли говорил, что белые генералы разобьют Ленина? Вот и Шаумяна прижали.

Я давно замечаю, что дядя Багдасар с Вардкесом-кери — одно, а при хмбапете — совсем другое. С денщиком он откровенен, говорит такое, что у дашнакского подручного от его откровенностей пересыхает во рту язык.

— Не знаю, кто кого прижал, — бесстрастно вставляет дядя Багдасар. — Шаумян белых генералов, или те — Шаумяна. Одно знаю наверняка: если во главе стаи орел, стая берет высоту, если ворон — стая садится на падаль. Запомни это, Вардкес-джан. Еще одно: хозяин стада об унесенном баране печалится, волк — об оставшемся. Заруби и это себе на носу. Тоже на всякий случай.

— Не-е, ага Багдасар, — лепечет Вардкес-кери. — Я твоих слов не переварю, не проглочу. Поперек горла станут они. Я не слышал их и ты не говорил. У меня дети — и тебя, слава аллаху, бог не обидел, дом полон ртов. Как это так: волк, ворон. Что за намеки?

— Какие же это намеки, Вардкес? — наступает дядя.— Разве это не так? Скажи на милость, сколько раз ты напивался в моих подвалах? Или твой хмбапет?.. Всем открывай стол, щедрость свою показывай. Конское копыто только конь и выдержит...

— Что ты говоришь, ага? Я тебя плохо понимаю,— совсем теряется Вардкес-кери.

— А что тут непонятно? — не сдается дядя.— Ешь мед, да берегись жала. И плох тот сокол, что на воронье место сел.

Я не понимаю, что в этих словах есть такого, от чего так кисло Вардкес воротит нос. Дядя добивает его новой пословицей. Страшно перепугавшись то ли пословиц дяди, то ли своей откровенности, которую

он по оплошности допустил, Вардкес-кери уже до конца вечера путался и говорил разные трескучие слова, от которых дядя Багдасар только морщился.

4

По вечерам заходит к нам и Асатур. Только не за выпивкой и не за тем, чтобы угоститься. Если хотите знать, дядя Асатур сам может угостить хоть кого. И выпить у него найдется. Он тебе не Вардкес-кери и даже не хмбапет, у которых в Шушикенде своего дома нет.

Асатур приходит, не ест, не пьет, да уходить забывает. Смотрит на мою маму, прямо в ее глаза, грустно улыбается.

— Как же так получилось, тикин[1] Варсеник? В школе Седрак с ног сбивается, не знает, как заполнить пустые уроки, учителя по русскому языку вовсе нет, а тут гимназистка прохлаждается, палец о палец не ударит.

Мама пожимает плечами, отводит глаза.

— Я, конечно, могла бы. Как-то и в голову не приходило. Я ведь до пятого класса училась.

Дядя Багдасар откашливается. Ему не нравится, что Асатур зачастил к нам, не нравится, как он смотрит на маму, особенно не по душе разговор о школе.

— Уверяю, Багдасар, что Ишхан говорил бы то же самое, если бы был здесь. Это так важно для нее и необходимо для школы.

И смотрит, смотрит маме прямо в глаза.

— О школе пусть школа и заботится,— ворчит дядя Багдасар.— Если Варсеник подходила бы, как-нибудь Седрак нашел бы к нам дорогу. Какая с Варсеник учительница?

Не научившись за многие годы жизни в деревне доить коров, мама умела хорошо вязать. Она вязала всюду: когда ходила к источнику за водой, когда оставалась одна в доме. Еще умела ссучивать из бараньей шерсти пряжу. И делала это так искусно, так кру-

[1] Тикин — мадам, госпожа.

жила прялку, что видавшие виды шушикендские женщины, глядя на нее, только цокали языками. Доить корову мама так и не научилась, а пряла пряжу или вязала шерстяные носки не хуже тети Марго.

Но сегодня у нее ничего не получалось. То и дело из рук выпадала прялка, разматывая на полу пряжу. Мама подбирала ее, наматывала на нее размотавшуюся нитку и снова роняла, обрывая нить.

Под потолком висит десятилинейная керосиновая лампа, которую раньше зажигали по большим праздникам. Дядя Багдасар где-то раздобыл керосин, и теперь лампа горит всегда.

За столом Асатур и дядя Багдасар продолжали толковать о том, как поступил бы Ишхан, будь он здесь,— разрешил маме учительствовать в школе или нет.

Судя по всему, разговор начат не сегодня, и не сегодня он кончится. Я хочу, чтобы мама согласилась, а дядя Багдасар разрешил бы ей учительствовать в школе. Только без уговоров Асатура. И чтобы он больше к нам не приходил. Не смотрел так на маму.

Прялка снова закружилась в руках у матери, и снова нить оборвалась.

— Мне учительствовать, мне и решать, — вдруг резко бросила мама и вышла из комнаты.

Асатур почему-то обрадовался этим словам, весь засиял, а дядя Багдасар долгим взглядом посмотрел маме вслед.

Так он и ушел, дядя Асатур, улыбающийся, довольный состоявшейся беседой.

— Ты думаешь, Асатур — коммунар, и только? — как-то при встрече спрашивает меня Армо.

— А кто же? — без особого интереса спрашиваю я.

— Уполномоченный, вот кто он,— поясняет Армо.

Я не знаю, что это за штука — уполномоченный. Армо, конечно, знает. Он не только старше меня, он еще партизан, ему по обязанности много знать положено, но я не спрашиваю.

— Ну и пусть,—говорю я и что есть силы свищу, всем своим видом давая понять, что меня не интересует, кто этот Асатур и зачем он прибыл.

5

Я удивляюсь терпению дяди. Ну хорошо, он недоволен приходами Асатура. Но ему порядком надоел и хмбапет Агалар. Почему он не закажет им дороги? Не желаю видеть Асатура, но не могу сносить и вкрадчивых разговоров дашнакского заправилы. Не желаю. Не хочу.

Смешно даже подумать. Дядя Багдасар в роли молчуна. А может быть, дядя Багдасар просто боится хмбапета, но не желает портить отношений и с Асатуром — на тот случай, если вдруг в Баку победят коммунары? Если там все кончится хорошо, прогонят интервентов, не забудут, конечно, заслуг шушикендского уполномоченного. Чего стоит один только красный обоз с хлебом, какой снарядил он в Баку.

Мама моя по вечерам подолгу сидит над тетрадями. Она теперь учительствует в нашей школе. Но Асатур все равно приходит к нам, и у него всегда есть дело до меня, до дяди Багдасара.

Приходит к нам и хмбапет Агалар, предупредительный, всегда озабоченный, готовый услужить и добро улыбаться. И вот однажды они встретились. Хмбапет Агалар и дядя Багдасар чаевали, когда пришел Асатур. Мамы за столом не было. Она в соседней комнате читала тетради. Обслуживала гостей тетя Марго.

— А-а, уполномоченный! Ну что ж, рад познакомиться,— улыбнулся хмбапет.

Они пожали друг другу руки. Дядя Багдасар явно нехотя пригласил Асатура за стол.

— Марго, неси чаю Асатуру, — запоздало крикнул в дверь дядя.

— Спасибо. Только что пил дома.

— А может, вина?

— И вина не буду. Не за этим пришел.

— Тогда как знаешь,— развел руками дядя.

Асатур сел. Хмбапет сказал:

— Слышал, слышал о постигшем вас горе, потере брата, и приношу свое соболезнование. А старикам желаю долгой жизни и терпения.

— Спасибо,— поблагодарил Асатур.

Тетя Марго все-таки принесла чай.

— Сколько добровольцев из Шушикенда воюет в Баку? — спросил хмбапет сочувственно.

Асатур сказал.

— Погибло сколько?

— Четыре человека, пятеро ранены.

— Многовато.

— Такая война!

— Жертв могло и не быть, если б не подстрекатели.

— Никто не подстрекал. Сами пошли.

— Сами пошли? Так я и поверил! А может, и хлеб сами послали? Без помощи уполномоченного?

— Долг каждого порядочного человека оказать помощь голодающим. Шушикенд подавился бы последним куском, если бы этого не сделал.

— Шушикенд поступил бы благоразумнее, если бы сберег своих храбрецов для другой войны. И хлеб тоже.

— Для какой другой? Против Малибайлу?

— Хотя бы так. А что, недостойный противник?

Разговаривали они, почти не глядя друг на друга.

Асатур сказал:

— В Баку против интервентов рядом с армянами, русскими воюют и азербайджанцы. Шушикенд вам не поднять против своих соседей. Так и знайте!

— Ты не позволишь? — осведомился хмбапет.

— Сами не пойдут.

— Это мы посмотрим. А тебе, милый человек, посоветовал бы пожалеть стариков, не огорчать их новой бедой. С таким языком и до беды не трудно достучаться.

— Спасибо за советы.

Я все-таки заметил: пьяный хмбапет — это одно, трезвый — совсем иное. Заметил, впрочем, и другое: обе стороны говорят не то, что думают, что у каждого на душе. Осторожничают.

Асатур встал и направился к двери.

— Куда? Вы даже не допили свой чай.

— Спешу. Некогда.

— Дела не пускают? К слову, как ты представляешь свою должность в Шушикенде? Здесь вроде мы хозяева, а ты уполномоченный. От кого уполномоченный?

Дядя Асатур задержался в дверях.

— От комитета землячества,— неохотно отозвался он. — В Баку много рабочих-карабахцев. Они знают, в какой беде сейчас Карабах, и образовали комитеты по оказанию помощи деревне. Такой комитет есть и для Шушикенда. Как бы там рабочим-шушикендцам плохо ни жилось, они будут и впредь помогать своим односельчанам.

— Хитро,— прервал его хмбапет,— уполномоченный от землячества, а порядки коммуны. Шапка, пущенная по кругу. Взаимовыручка. Высокие, благородные порывы, достойные имени Шаумяна.— Царапнув Асатура недобрым взглядом, добавил: — Кто в сорок лет учится музыке, тот рискует играть на том свете. Запомни на всякий случай эти слова, уполномоченный.

Они теперь встретились глазами, дядя Асатур и хмбапет Агалар. Хмбапет улыбался, довольный своей шуткой, поговоркой, Асатур смотрел яростно, свирепо, зло.

— Как бы там ни кончилась война, коммуна не погибнет. Не исчезнет без следа. Она даст свои всходы. Зря кощунствуете, хмбапет! — крикнул он.

Хлопнул дверью, ушел.

— Обиделся. А ведь я ничего такого не сказал!

Дядя кашлянул и не проронил ни слова.

Хоть я и в обиде на Асатура, но чуть не выскочил за ним следом, чтобы пожать руку за его поступок. Так разговаривать с хмбапетом!

«Завтра я порадую тебя, Муртуза! — злорадно думаю я, ложась спать. — Посмотрим, что ты запоешь, когда я расскажу про Асатура. Есть ли у вас в селе такой коммунар? И чтоб он так же смело разговаривал с вашим, как его там, кочи?»

Но похвалиться на другой день перед Муртузой не пришлось. Не успел я сделать и десяти шагов в сторону Малибайлу, как меня догнал Андроник. Не тот, который некогда сверкал доспехами, бог весть кого из себя изображая, а другой, который, скажу по секрету, до смерти боится пчел и за версту обходит ульи отца. Пчелы же не знают, кто он — Дро или красный.

— К дружку собрался? — спросил он, едва переведя дыхание.



Я кивнул.

Андроник вздохнул.

— Хорошо, что успел. Я так и знал, что сдуру побежишь к своему кирве.

— И побегу. Не буду тебя спрашивать.

Андроник махнул рукой. Огненные, взлохмаченные волосы, еще больше порыжевшие за лето, пылали. Казалось, поднеси к ним спичку, они вспыхнут.

Только сейчас я заметил, что Андроник очень расстроен.

— Поворачивай обратно, Тик. Сегодня встречи не будет,— преградив мне путь, грустно сказал он.

— Как это не будет? — заупрямился я, смутно чувствуя недоброе.— Каждый день встречались, а сегодня не будет?

— Не будет,— оборвал меня Андроник, пряча глаза.—Твоего кирву так отделали. Ему теперь не до тебя. Дядя Мамед велел передать тебе, чтобы ты не являлся, носа не показывал у них. А то и тебе попадет.

— Кто отделал? Не брешешь?

— Известно, кто. Мусаватисты. Их кочи.

— Почему?

— Почему, почему! А почем мне знать? Они со мною не советовались.

— Ух, собаки! — повернув обратно, бессильно ругаюсь я.

6

С тетей Ашхен все хуже и хуже, и мама отдает ей все, что получает за уроки в школе. Теперь они молоко не продают. Маминого заработка хватает на самое необходимое, и молоко тетя Ашхен пьет сама. Да и Армо пособит скоро. Как бы там о Бадунцах ни говорили, должны же они что-нибудь дать за работу. Заживут как-нибудь.

Я знаю, все уладится. Образуется. И тетя Ашхен поправится. Все будет хорошо. Одно плохо: мама почти не разговаривает с дядей Багдасаром. И все из-за того проклятого мешочка пшеницы.

Я понимаю тебя, мама. Этот мешочек стал для тебя тем, чем для меня поступок дяди Бегляра, захлопнувшего перед моим носом дырявую калитку в свой сад.

Другое все зарубцевалось, а она, дырявая калитка, некогда преградившая мне путь в виноградник, до сих пор кровоточит и болит.

Если бы до этого все Асатуры мира, да в придачу Ишхан с дядей Саркисом с утра до вечера твердили, что дядя Багдасар не такой добрый, каким он старается себя показать, я закрывал бы уши пальцами, не пове-

рил бы ни одному слову. Но пшеница, которую я собрал, не составила бы и двух фунтов... Впрочем, кто из нас без недостатков?..

Прошу тебя, забудь об этом, мама!

С Армо мы теперь редко встречаемся. Ну конечно, он занят. Конечно, ему не до меня. Бадунц Аршак не для того взял его в работники, чтобы Армо прохлаждался без дела. Бадунц Аршак не был бы Бадунцем Аршаком, если бы у Армо оставались минуты для пустого времяпрепровождения. Это исключено.

Ну, а вечером? Когда все работники возвращаются домой? Почему его ни разу не застанешь дома даже в поздний час?

В Шушикенде, как и в других горных селах, рано ложатся спать и рано встают. Армо же приходит домой, когда в селе уже не горит свет.

Недавно Армо взял отгул, и все-таки целый день его не было дома.

— На мельнице был, зерно возил молоть. А там очередь. Вот и задержался,— оправдывался он.

На мельнице был, какой врун. Кому ты говоришь, Армо? Будто я не знаю, какое у вас зерно, которое вы никак не смелете. Отруби, что ли, возил молоть?

Ну, хорошо. На мельницу так на мельницу. Ты не говоришь, и я не спрашиваю. Но только ты ко мне больше не приставай со своим партизанским заданием. Сам подслушивай. Я тебе больше не соглядатай.

Обидно даже. Когда ему нужно что-нибудь от меня, дать мне какое-нибудь задание, находит время, из-под земли достает меня. А как отпадает нужда во мне — по горло занят. Бадунц Аршак спуску ему не дает.

Однажды, в пылу откровенности, отведя меня в сторону, он таинственно сообщил:

— Тебе привет от Арфо?

— Арфо? А кто такая Арфо?

— Арфо не знаешь? Ее в Карабахе каждая собака знает.

— А кто она? Партизанка? — спрашиваю я, сгорая от любопытства.

Армо уже не рад, что связался со мной, но отступить ему некуда.

— Бери повыше. Наш комсомольский вожак. Глава комсомола Карабаха.

— Комсомола? А разве в Карабахе есть свой комсомол?

— А то нет.

— А почему хмбапет не арестует ее?

— Малыш есть малыш, — вдруг заважничал Армо.— По-твоему, она сидит преспокойно дома да еще нарочного шлет: «Иди, мол, хмбапет, арестуй меня».

— А где же она ночует? — задал я неотразимый вопрос. Мне казалось, что Армо двадцать раз зубы поломает, пока на него ответит. Ведь Арфо, какой бы она ни была вожак, где-нибудь должна ночевать. Дознается хмбапет, а там арестовать ее труда не составит.

— Где ночует? — Армо смотрит на меня уже с нескрываемым сожалением. — А ты совсем недотепа, кореш. Где ночует? Во всяком случае, не у своей мамки под юбкой.

— Так где же? — не унимаюсь я.

— Где, где! А почем мне знать? Наверное, там, где люди партизана Шаэна.

— Люди Шаэна? Товарищи?

Армо кивнул головой.

— Значит, она партизанка?

— Партизанка.

— Какая же она партизанка? Она же девушка?

— Ну что же с того, что девушка? Думаешь, в отряде Шаэна она одна? — И тут же спохватился. — А ты, Тик, часом, не проболтаешься? Не выдашь меня? Ведь как ни говори...

— Сын подлеца! — вскричал я, не дав ему договорить.— И где вы все этому научились? Как сын богача — так подлец. Честности не жди. Хотел бы я знать, все вы честны, дети бедняков? Нерсики и Персики, Сарики-Марики?

— В твою-то честность я верю,— принялся успокаивать меня Армо.— Но все-таки боязно. Хмбапет каждый день допоздна засиживается у вас. Проговоришься при нем...

— Не проговорюсь. Не маленький,— пообещал я, а сам подумал про себя: «Я-то не проговорюсь, а ты

вот уже проговорился. Теперь я знаю, на какую мельницу ходишь зерно молоть, партизан Армо».

Нет, право, если я кому-нибудь и завидую, так это Армо. Всего на два года старше меня, а уже партизан.

— Ты мне ничего не говорил, и я ничего не слышал, — снова заверил я. — Зарыл в землю и сверху камнем прикрыл. Гроб. А теперь иди своей дорогой. Будто мы и не встречались. Вот и Мгер идет. Я лучше с ним пойду в село.

7

— Послушай, Тик, Армо крышка. Поступай в мой отряд, — с ходу предложил мне Мгер, который вдруг так раздобрел и вытянулся, что ему свободно можно было дать тринадцать, он выглядел даже взрослее Армо.

Слова Мгера больно резанули меня по сердцу. Но я смолчал. Мгер говорил правду. Прославленный отряд Армо, гроза всего околотка, уже не существовал, он рассыпался после того, как изгнали атамана. А изгнали его, если вы помните, из-за меня и Аванеса. Виною всему Нерсик и Персик, которые ни за что не хотели оставить нас, детей богача, в отряде. Да и Сарик-Марик. Слюнявые мальчишки! Этого вы хотели? Меня с братом еще куда ни шло, хотя ведь и мы, как говорят взрослые, не через плечо сморкаемся, но как можно было оставить отряд без Армо? Хотя положим, сейчас бесполезно об этом толковать. Армо теперь работник, и не у кого-нибудь, а у самого Бадунца Аршака, у которого, известно, не разгуляешься.

Отряд без Армо и недели не продержался, Андроник оказался недостойным преемником Армо. Наш отряд под водительством Андроника был разгромлен Мгером наголову. Не помогли ни латы, ни грозные доспехи. В нужную минуту они не заменили умения Армо, его таланта. Сам Андроник еле ноги унес от противника. А Нерсик и Персик даже в «плен» попали. И я не жалею. Пусть знают эти выскочки, чего они без нас стóят.

Остатки нашего отряда, потеряв вожаков, присоединились к Мгеру. Теперь его отряд самый сильный во всем Шушикенде. Присоединился к Мгеру даже

Андроник. Не говоря уже о Норайре и Жирайре, которые задолго до этого, наконец смекнув что к чему, переметнулись к сыну лавочника. И вовсе не потому, что яблоко от яблони недалеко падает.

Делать нечего, я согласился, принял предложение Мгера.

— А можно, приведу и Армо? Ему тоже скучно без дела, — неожиданно предложил я.

— Армо, — расхохотался вдруг Мгер. — Бадунц Аршак не для того взял его в работники, чтобы он по отрядам шлялся. За дружка своего можешь не беспокоиться, от скуки он теперь не умрет. Ему там и носа утереть не дадут.

— Ну, когда он свободен. Когда может, — настаивал я.

Это была моя хитрость. Я хотел испытать сына лавочника: знает ли он что-нибудь о нашей тайне?

— Армо нельзя, — отрезал Мгер. — Если даже Бадунца Аршака переменят, сделают из него ангела, заботящегося о досуге своего поденщика.

— Но почему же? — допытывался я, а сам думал про себя с досадой: будет Армо с нами водиться, в ребяческие игры играть, если он теперь партизан, с Шаэном и Арфо знается.

Но Мгер оборвал мои мысли:

— Будто не знаешь, что отец твоего Армо известный забастовщик, жандарма на тот свет отправил.

Отлегло. Значит, Мгер ничего не подозревает.

— Ну и что, пусть отправил, — деланно кипячусь я. — Этот жандарм тебе ни сват, ни брат.

— Нет, приходи с братом, без Армо, — стоял на своем Мгер.

— Почему? — не сдавался я. — Что он, без рук, без ног? Чем Армо плох? И при чем тут отец?

Мгер посмотрел на меня снисходительно, как смотрят взрослые на несмышленыша, не понимающего простых вещей.

— Ну и глупый же ты, Тик. При чем тут отец? А вот при чем: сегодня он убил жандарма, завтра убьет лавочника Аванесбека. Твой Армо — сын рабочего. Такой же, как Нерсик и Персик, как Сарик-Марик. Они готовы перервать нам, богачам, горло. Понял?

Но я ничего не понял. Почему Армо должен перервать мне горло?

— Армо, может, тебя и не тронет. Как-никак родственники, — пояснил Мгер. — Но меня, сына лавочника, он не пощадит. Ну, согласен?

— Нет. Без Армо не пойду, — отказался я.

— Пойдешь, у нас одна дорога, мы мечены одной метой, — и поднес сжатый кулак к самому моему носу.

Мне вдруг стало не по себе от угроз этого губастого, толстощекого мальчишки. Я весь сжался в комок, готовый проучить обидчика, если он прибавит еще слово. Но он ничего больше не сказал.

— Не размахивай кулаком, никто тебя не боится,— все же бросил я ему в лицо. — И дядю Саркиса, отца Армо, не трогай.

Презрительно свистнув, Мгер ушел, полный высокомерного величия

— Правильно ты ему выдал, Тигран, этому отпрыску лавочника,— послышался голос за спиной. Позади меня стоял Асатур и сворачивал закрутку. Он не торопясь закурил.

— Слышал я про твоего дружка, Муртузу,— сказал он, добро улыбаясь во все свое рыжее небритое лицо.— Ну, и кирву выбрал себе! Орел! Мусаватисты хотели на нас идти войной, а он взял да всю их обедню испортил.

Я задохнулся от волнения, от тревоги за судьбу товарища. Который уже день я не имею от него известий

— Дядя Асатур, а ты видел Муртузу? Живой он? — допытывался я.

— Живой, живой, что с ним станет,— успокоил он меня. — Правда, малость попортили ему лицо, понаставили синяков. Но ничего, до свадьбы заживет.

— А за что ему попало? — спросил я, сгорая от любопытства.

— За геройство, брат,— пояснил Асатур.— Пробился к партизанам, предупредил о налете. Вот каков он, твой Муртуза.

Он затянулся дымом, добавил:

— Осенняя муха злее жалит. У господ мусавати-

стов, как у дашнаков, дни сочтены, вот они и беснуются.

Я испуганно огляделся. За такие слова хмбапет голову бы снес Асатуру. Но вокруг никого не было.

Твердо, стараясь не прихрамывать, коммунар пошел со мною по селу. Встречные оглядывались на нас, долго провожали взглядом. Я украдкой посматривал по сторонам — нет ли поблизости дашнаков.

— А ты за меня не дрожи. Чему быть, того не миновать! Стану я в своем селе хорониться от них!

Асатур хотел сказать еще что-то, но вдруг примолк — по улице шла моя мать с кувшином на плече.

— Иди, Тигран, — посоветовал он. — Увидит мамка тебя со мной, заругает. Ты же знаешь, со мною водиться небезопасно.— И подтолкнул меня в спину: — Иди, ну!

Мне самому хотелось пройти вперед, чтобы мама не увидела меня с Асатуром, но ноги не несли.

— Да не семени. Иди своим ходом, — командовал он.

Я сделал несколько шагов, но сейчас же раздумал, и, поотстав, поравнялся с ним. Стыд жег мне лицо.

Мама прошла мимо нас, высоко держа на плече кувшин с водой и не взглянув даже в нашу сторону.

Дядя Асатур долгим взглядом посмотрел ей вслед.

— Красавица она, брат, у тебя. И гордая,— подмигнул он, тронув усы.

Я обиженно отвернулся.

— Ну ладно, я же пошутил, — похлопал он меня по плечу.— А ты, брат, ревнивый.

Потом добавил, слегка толкнув в спину:

— А теперь беги, догони мамку. Чтоб не беспокоилась. Хорошая она у тебя.

И пошел своей дорогой, чуть припадая на правую ногу.

8

Ну и хвастун этот Андроник. Когда его отца дома нет, лучше у них во дворе и не показывайся. Он встретит тебя таким грохотом, что, можно подумать, все бондари мира съехались сюда, в бочарную Айрапета-даи, греметь своими молотками.

Многие с завистью прислушиваются к этому шуму, даже заглядывают через забор. Смена растет Айрапету-даи, такое счастье не каждому стучится в дверь. В рубашке родился человек.

По правде говоря, все это не так, далеко не так. Никакой Андроник не помощник отцу. Шуметь пошумит, но толк от его шума небольшой. Если хотите знать, он такой же бондарь, как и атаман. Ему бы пошуметь, пыль пустить людям в глаза!

Ай-ай, вот и мы перегнули палку. Как это пошумит — и только? Жить бок о бок с Айрапетом-даи и ничему не научиться? Нет, я такой грех на душу не возьму. В самом деле: набить новый обруч, заменить рассохшейся бочке заклепки, выполнить и другие заказы для Андроника — раз плюнуть. Иначе Айрапет-даи на пушечный выстрел не подпустил бы его к бочарной. А он подпускает. Даже под шумок подкладывает ему какой-нибудь залежалый заказ.

Так или иначе, наш Андроник был пареньком не только шустрым, сметливым, но и трудолюбивым. Вот если бы не его вздорный характер, желание непременно выставлять себя, пыль пускать людям в глаза!

Все это так. Но это опять-таки ни о чем не говорит. Оттого, что Андроник шумный, хвастун, атаман никудышный, что изображает из себя бог весть какого мастера, он не перестает быть мне другом. Я с ним, конечно, дружу. Продолжаю дружить. Однако мне делается не по себе, когда он начинает хвастать братом, дядей Асатуром, расписывая его так, хоть на божницу ставь. Мало ему этого грохота, а тут еще дядя Асатур, его брат-коммунар.

Однажды Андроник похвалился:

— Ты не думай, что он коммунар, и только. Или уполномоченный. Он еще красный!

Это о нем, о дяде Асатуре.

— Красный, — посмеялся я. — Где же это ты, битый атаман, в Баку нашел красных? Он же не в России воевал?

Мне тогда казалось, что белые и красные были только в России. Так по крайней мере я слышал от взрослых.

— Ну что ж, что не в России. Он в отряде Петрова воевал в Баку.

— Тоже мне сказал,— я снова посмеялся.— В отряде Петрова. Все шушикендцы в отряде Петрова были. И дядя Мухан и наш десятский.

— Ну и пусть. Они тоже были красные.

Я безнадежно махнул рукой. Мне казалось, что Андроник, непомерно восхваляя брата, приписывает ему то, что за ним и не водится.

— Будь здоров, заливала. Так я и поверил тебе. Выдумываешь все.

— Я выдумываю? Может, Бакинскую коммуну тоже я выдумал? И Шаумяна и Азизбекова? И братец мой вовсе не воевал за коммуну, кровь не проливал за нее? — Андроник потупил голову, исподлобья поглядывая на меня: — Конечно, тебе все равно, кто за что проливал кровь. Ты же богатый. Сам Манташев!

Я окрысился:

— Ну и Манташев. Тебя только не хватало.

Независимо свистнув, я пошел своей дорогой. Стану я переводить время с никчемным мальчишкой, который умирает от зависти, что я богатый.

Не дальше как через день мы снова встретились с Асатуром.

— А, Манташев! Ну, здравствуй.

Он протянул мне руку.

— Здравствуйте, — сухо отозвался я. Обида у меня еще не прошла. Я теперь сердился на него из-за мамы.

Асатур с любопытством посмотрел на меня.

— А ты злопамятный, малыш. Мне это даже нравится. Обиду, если она серьезная, настоящая, не следует забывать. Но твоя обида не настоящая. Ее можно закопать и забыть о ней. Согласен?

Я не знал, что ответить.

— Хорошо, об этом потом, — выручил Асатур. — Давай лучше потолкуем о другом.

Коммунар взял меня за руку, отвел с дороги в сторону.

— Садись. Здесь никто нас не подслушает.

Мы уселись на обрыве под тутовым деревом. Корни его давно обнажились, висели в воздухе. Дерево держалось на краю обрыва каким-то чудом.

— Значит, ты не веришь, что я красный? — с места в карьер начал Асатур.

Я густо покраснел. Вот какой Андроник, продал меня за копейку.

— Не то что не верю. А просто не укладывается в голове, как это в Баку воевал против белых? Белые же в России? — пояснил я.

— В России свои белые, а у нас — свои: дашнаки и мусаватисты.

Дядя Асатур положил мне руку на плечо.

— Слышал же, какая в Баку идет война? Коммуна героически сражается, презрев голод, лишения. Ты подумал о том, почему она пошла на такую жестокую, неравную войну? Только недобрые люди вроде хмбапета могут сравнивать ее с безумцем, который в сорок лет начинает учиться музыке. Она бьется, проливает кровь, чтобы Россия, молодая Советская власть жила и победила белых. Придет день, Россия поможет нам разбить наших белых.

Сказать по совести, я не знаю, говорил ли коммунар Асатур мне тогда именно эти слова. За подлинность их я не ручаюсь. Но за смысл... Он был именно такой.

— Дядя Асатур, а кто теперь в России вместо царя? — спросил я, чтобы что-нибудь сказать.

Асатур даже удивился.

— А разве ты не знаешь? Народ. Советская власть. Понял? — пояснил он.

Я кивнул, хотя ничего не понял.

— Советская власть, — принялся разъяснять коммунар, — ну, как тебе сказать, это когда простые люди пашут, сеют, молотят свой хлеб. Когда земля и вода принадлежат им.

— А простые люди это кто? — хотел уточнить я.— Как наш Нерсик и Персик?

— Ну да, — улыбнулся Асатур. — Как Нерсик и Персик.

Я был, конечно, полон сочувствия к красным, но не хотел признаться в этом даже себе. Недоставало только, чтобы я с Нерсиком и Персиком был в одном отряде.

Я на минуту заколебался.

— Тогда я против,— вырвалось у меня.— Не хо-

чу, чтобы у нас была Советская власть. Люди злые. Дай им власть, они друг другу перервут глотки.

Дядя Асатур, прищурив глаза, снисходительно смотрел на меня:

— Это кто тебя учит так понимать жизнь, малый? Мамка, что ли? Как ни говори, из богатых...

Я снова вспыхнул:

— Ты маму не трогай.

— Я и не трогаю. Я только удивляюсь, как у такого хорошего человека растет контра.

Я и сейчас не понимаю смысла «контра» и не очень обижаюсь на дядю Асатура. Я не понимаю также, почему мои слова о Нерсике и Персике, которых я презираю, так расстроили его.

— Пороть тебя некому, — убежденно заключает он немного погодя. — Для твоей же пользы.

— Меня никогда не били, — буркнул я мрачно.

— Не били — это еще не значит, что не следует бить.

Неожиданно хлынул дождь с градом, как это нередко бывает в горах, и дядя Асатур укрыл меня полой шинели. Сперва крона дерева, под которым мы находились, задерживала дождевые капли, а потом они пробились и забарабанили по шинели.

Асатур, пощупав меня под шинелью, ласково сказал:

— Ишь ты! Какой худющий и хлипкий. Совсем не похож на сына богача.

Ну конечно, он это из-за мамы старается, чтобы ей угодить. Эта мысль вытолкнула меня из-под шинели.

Маленькие градины еще секли землю и деревья, а я шел, разбрызгивая лужи ногами, обутыми в серые трехи, весь исхлестанный дождем, промокший до нитки.

— Куда ты, дурачок, вернись! Какая муха тебя укусила! — слышал я за спиной встревоженный голос коммунара, но, не оборачиваясь, шел и шел дальше.

● ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

Я уже говорил, что в Шушикенде бог был не в очень большой чести, правда, на окраине села стояла церковь с высоким куполом, в ней алтарь, купель, где крестили новорожденных, притвор. Как и всюду, здесь справляли религиозные обряды, освящали браки, отпевали покойников. Все как полагается. Честь по чести. Как у соседей, так и у нас. Но... настоящих верующих в бога, могу поклясться всеми святыми, у нас в Шушикенде не было.

Не верили в бога и в нашем доме. Я не помню, чтобы дядя Багдасар, тетя Марго или моя мама ходили в церковь. Даже тетушка Нубар только раз там была, когда ее венчали.

Тем не менее наш дом — не тот дом, который могли бы обойти стороной священнослужители. Приближался рождественский сочельник, не могли же в такой день наместники бога на земле забыть порог раба божьего Багдасара.

Особенно повадились к нам ходить псаломщик и дьячок — церковный причт. Под разными предлогами они навещали нас, тянули у дяди сколько могли. Церковный причт — народ бойкий. Отобьешься от крестного знамения или Вартавара, зацепят на другом. Ма-

ло ли разных религиозных праздников, начиная от крещения до масленицы и великого поста!

Дядя Багдасар не обижал церковников, воздавал им должное за усердие, но не любил, когда они задерживались.

— Час поздний. Давайте покороче! —торопил он.

Наспех подзаправившись, распространяя запах ладана, причт уходил, а дядя неизменно замечал вслед:

— Христианский бог самый загребущий. И в кого он уродился таким?

Мы, я и мои братья, тоже были равнодушны к службе, особенно не переносили гнусавый голос дьячка, а от дыма кадил просто задыхались. Другое дело, когда на рождество приходили к нам разнаряженные деревенские парни, ряженые — славильщики. Славильщиков, как правило, трое. Двое поют, третий крутит трещотку. Слова песни трудно разобрать, потому что во время пения неистовствует трещотка. Только и слышно было:

Хорурд мец евс канчели...[1]

Все другие слова песни тонули в шуме трещотки.

Славильщиков, ходивших по дворам, не узнавали, так они обряжались! Даже бороды себе прицепляли. Меняли голоса, стараясь уподобиться церковному причту.

Может быть, мы и сегодня никого бы не признали, если бы не знакомый голос, который, подражая дьячку, старательно гнусавил. Даже трещотка со всем своим трескучим шумом не в силах была заглушить этот голос.

— Кто это так фальшивит? Уж не наш ли битый атаман? — первым догадался Ашот.

— Он, он, Андроник,— ликовали и мы.— Нашел-таки применение своим талантам.

Узнав Андроника, нетрудно угадать и других колядчиков, всю компанию. Конечно, это Нерсик и Персик. В последнее время они трое так сдружились, их водой не разлить.

— Нерсик-Персик, Нерсик-Персик! — снова вскричал Ашот, попортив всю коляду, так как разряжен-

---

[1] Слова из рождественской здравицы.

ные ребята, услышав свои имена, страшно растерялись, сбились с толку и, начисто забыв текст, до конца песни уже выворачивались как могли, нажимая на трещотку.

2

Там, где роза растет, ее не ценят. Так говорится в поговорке. Верная поговорка. Вот у нас много туты, а кто ее ценит? Никто в Шушикенде не пригласит тебя в свой сад есть туту, как не пригласят дышать воздухом. Тута у нас как воздух... И как воздух, она без цены. Не в цене у нас и ежевика, мушмула, орех — их тоже в наших горах полным-полно. Только вот маловато у нас инжира. А черешня только в саду у Мгера растет. Сад, правда, виноградный, но его, как сторожевые башни, со всех сторон обступают черешневые деревья. В начале лета, когда они покрываются румяными градинками созревающих плодов, шушикендская детвора так и вьется вокруг этих нарядных башен. Но что толку в кружении вокруг да около, если сад обнесен высокой колючей изгородью, а губастый Мгер, который в сезон, когда поспевает черешня, днюет и ночует в саду, глаз не сводит с тебя. Попробуй сними с дерева хоть одну градинку, если у Мгера крепкая кизиловая палка да собака, настоящая собака, готовая броситься на смельчака, проникшего в сад. Не всякий рискнет.

Я не знаю, почему Амалия вдруг оказалась здесь, среди поля, где я пасу овец. Эти купальницы или ромашки, которые она собирает для своего венка, она вполне могла нарвать в другом месте, но собирает их здесь. Дядя Асатур правильно назвал ее козочкой. Амалия будто вся была соткана из легких движений. Руки тоже были легкие, летающие. А сама она долговязая, тонконогая, способная возникнуть повсюду, даже там, где ей вовсе нечего делать. От ее резких движений шарахаются овцы, а сторожевой пес, кудлатый Карабаш, из-за куста враждебно наблюдавший за всеми ее проделками, нервно подергивает обрезанными ушами, вздыбив на могучей шее бурую, с желтыми подпалинами шерсть. Я даю ему знак, и Карабаш перестает прядать огрызками ушей, опускает шерсть.

Амалия уже собирает цветы возле меня.

Я не спрашиваю ее ни о чем. Амалия мне никто, она вольна рвать цветы, где хочет, и я ей не судья. Я только неожиданно для себя предлагаю:

— Хочешь, угощу инжиром?

Амалия выпрямляется, перекидывает за спину спадающую косу и, как тогда, в первый день встречи, вскидывает на меня свои удивленные глаза.

— Инжиром? — она даже роняет цветы от неожиданности.

— Ну да, инжиром. Настоящим. Сары-инжиром.

— Ври побольше, — не верит Амалия. — Где в Шушикенде возьмешь инжир?!

— Возьму. Только не каждому он дается в руки!

— Ой хвастун! Ищет вчерашний день. Не лучше ли, мальчик, у твоего дружка Мгера черешен попросить? Тебе уж он не откажет.

— Он такой же мой дружок, как и твой. Буду я просить у такого жмота!

— Чего это так? — не без ехидства замечает Амалия.— Как ни говори, он такой же богач, как и ты.

— Пошел он со своим богатством.

Задетый за живое, я хотел послать ее подальше, но послал Мгера. За глаза, уверяю, это легче делать. Хотя Мгера я послал бы при любой погоде. Не люблю я этого губошлепа.

Дорога в горы, где растет инжир, лежит вдоль сада Мгера. Поспевшие черешни, покачиваясь от ветерка среди листьев, как бы дразня нас, подставляют то одну щеку с подрумяненной стороны, то другую с желтой. Любой стороной черешня пригожа, желанна, заманчива. К тому же она предательски наполняет рот слюной.

Но я делаю вид, что никакая черешня меня не интересует. Прохожу мимо забора, не поворачивая даже головы в сторону сада, тех нарядных башен, ветки которых как назло под тяжестью плодов свесились через забор.

— Эй, Манташев! А может, полакомишься? Баш на баш. Ты нашими черешнями, а я вашим виноградом? Когда наш кончится. Вы же до самой зимы давите виноград.

Я не отзываюсь. Прохожу молча. Я не хочу вступать в сделку с этим дурошлепом. Ну его!

Мгер стоит у изгороди с полным ртом и выплевывает через забор косточки от черешен. Толстые щеки его вздуты. Он пихает черешни в рот по нескольку штук сразу.

— Эй, Манташев, — посылает он мне вдогонку. — Зря условия мои не принял. Мы с тобой не проторговались бы. А то, может, завернете, жених и невеста?

И он громко хихикает.

«Жених и невеста!» «Я пропал,— подумал я,— теперь весь Шушикенд будет дразнить меня, как дразнят Армо и Арев». А за что? И дернуло меня пригласить эту вздорную козочку на инжир. Теперь уже от этого Мгера не отвертишься. Видел вместе — значит, «жених и невеста».

Я иду, не чуя под собой ног. Амалии тоже, должно быть, не по себе, потому что она то и дело роняет цветы. Ясное дело, от смущения. Шли мы долго, не глядя друг на друга. Наконец Амалия сказала:

— Не боишься, что овцы твои разбегутся? Или волки на них нападут?

— Не боюсь. Там Карабаш. Он присмотрит за овцами. А волки ему нипочем. Даже боятся его. Он сильный пес.

— А где он был? Я его не видела.

— Сидел за кустом.

— Сидел за кустом и меня не тронул?

От запоздалого страха у Амалии как-то перекосилось лицо. Она чуть не заплакала.

— Чего же ты трясешься? Он же тебя не тронул.

— Не тронул? А мог.

— Не мог. Он никого не трогает без разрешения.

— Какой умный пес, — обрадовалась Амалия.

Мы все шли и шли, разговаривая о том, о сем, стараясь прогнать неловкость, вызванную словами «жених и невеста». Но нам это не удавалось. По-прежнему мы шли, не глядя друг на друга.

— Ты мне зубы не заговаривай. Где твой инжир?

— А мы уже пришли. Вот он.

И я показал на отвесную гору, на кусты, как бы приклеенные к мрачным кряжам на самой верхушке. Мы стояли у ее основания.

— И ты думаешь забраться туда?

— Раз плюнуть. Я уже там был. Подожди меня здесь, я сейчас вернусь, —и, надвинув шапку на самые глаза, схватившись за каменные выступы, стал быстро-быстро карабкаться вверх.

Я уже был на полпути, как услышал гневный вопль Амалии.

— Ах, вот ты какой! Ты не только барин, жалкий капиталист, а еще хвастун, гадкий мальчишка, готовый разбить себе голову из-за хвастовства. Не нужно мне твоего инжира. Сейчас же спустись!

Я посмотрел вниз. Амалия бежала, рассыпая цветы, не разбирая дороги. И хорошо, что убежала. Я не знаю, что бы было со мною, не останови меня Амалия. Не понимаю, ума не приложу, как мы с Армо добрались до той высоты. У меня уже колени тряслись. Еще шаг, и я бы сорвался, скатился с горы.

Понуро опустив голову, я один возвращаюсь к своим овцам.

«Хвастун, гадкий мальчишка»,— вертятся в голове колкие слова Амалии. —Ну и пусть я такой. Какое тебе дело? Нужна ты мне, такая трусиха».

И что есть силы в легких кричу:

— Эй-эй-э-э, Карабаш!

Горы незамедлительно откликаются на мой зов, далеко разнося эхо. А навстречу мне, пересекая косогор, несется мой верный пес Карабаш, подняв трубой обрезанный, куцый хвост.

3

Угадайте-ка, что за птица с серебряным подбоем вокруг верткой шеи сидит на ветке? А кто издает этот острый, пронзительный запах, заполнивший, кажется, весь лес?

Не знаете? Не беда. Еще несколько дней тому назад я тоже не знал. А теперь знаю. Дягиль. Птица же с серебристым подбоем на шее — сорокопут.

Слышите, в глубине леса кто-то тонко и нежно выводит песню? Думаете, сорокопут или жулан, которые так часто попадаются вам на глаза? Ошибаетесь, певчих птиц сразу не увидишь. Они прячутся

от глаз, выставляют напоказ только песню. Если хотите, им даже нечего показывать. В большинстве своем певчие птицы некрасивы.

Думаете, от дяди Гегама такая у меня осведомленность? А вот и нет. Правда, и от Гегама. Частые прогулки с ним не могли пройти для меня даром. Немалому научился я и у Нерсика с Персиком, с которыми нет-нет да заглядываю в лес передразнивать птиц. Но если хотите знать полную правду, кто меня по-настоящему посвятил во все таинства лесной жизни, то вы услышите совсем другое имя — Сарик. Да, наш Сарик, тот самый Сарик-Марик, которого я научил писать русскими буквами «мама» и «папа». Сарик-Марик, которому я разъяснил, что такое революция, тот, с которым, если хотите, часто ссорился.

Но какое это имеет значение, кто кого вчера учил и чему учил? Или там ссорился. В одном случае для товарища я могу быть учителем, а в другом — учеником. Ссора тоже в нашем возрасте не показатель. Вчерашний твой обидчик может стать твоим защитником или даже закадычным другом. Какие только превращения не знает детство!

Мы с Сариком, конечно, не друзья, нас водой не нужно разливать. Конечно, он больше дружит с Нерсиком и Персиком. Это тоже его воля. Но бывает же и так, когда Сарик забывает кто он, а кто я, забывает тот водораздел, который разлучает нас с ним. Вот в такие минуты я и узнавал у Сарика много такого, чего потом ни в каком учебнике не мог вычитать. За что и приношу ему свою запоздалую благодарность.

Нет, право, если не брать в расчет его хромую ногу или маленький рост, то он с виду мальчик как мальчик, общительный, умный, умеет свистеть, подражая птицам, не хуже дяди Гегама, для своих лет начитанный и вообще как-то располагает к себе.

Сегодня между мною и Сариком мир. Днем после занятий в школе он пришел, взял у меня уроки русского языка, а теперь он учитель, я ученик. Учит меня различать голос жулана от голоса сорокопута. Наглядным пособием были натуральные жуланы и сорокопуты, которых Сарик так ловко вызывал на разговор.

Как бы счастливо потом ни обернулась для меня

жизнь, куда бы она ни закинула меня, я всегда буду помнить этот лес, прилепленный к макушке горы с одной ее стороны. Буду помнить и нашу шах-туту, гонимую, опальную, но неизменно и пленительно млеющую под знойным шушикендским солнцем, шум горных ливней с катышками града, этот обворожительный дуэт между Сариком и натуральным жуланом, исполняемый с таким упоением...

Иногда хитрущий сорокопут или жулан, прервав песню, вслушивались в ответный посвист, должно быть, проверяя напарника, и через минуту, не подозревая подвоха, снова начинали зазывно свистеть...

Вслушиваясь в этот нехитрый обман, сам пробуя подключиться в него, пугая доверчивых птиц, я все же нет-нет, а думаю о дяде Асатуре. И думаю не без тайной неприязни. Вот ведь пострадал человек за коммуну, с самим Шаумяном садился-вставал, а особой любви к нему нет. Вернее, у меня нет. И не только из-за мамы. Как он с дядей Багдасаром разговаривает! А по какому праву? Кто он нам? Только и знает: богатые, богатые. Ну, богатые, дальше что? Ты лучше скажи, знаешь ли, что такое дягиль. Из древесины какого дерева можно смастерить юлу? Занимает ли тебя на свете что-нибудь, кроме твоих вздорных нападок на богатых? Умеешь ли хоть одну птицу узнать по голосу?

Мои размышления прервал очень знакомый голос:

— Вот не думал, что и Манташева может заворожить песня какого-то сорокопута!

Я обернулся. Между деревьями, раздвигая шумные ветки, к нам приближался Асатур. Он подошел ближе. Карманы его топорщились от лесных орехов в зеленой кожуре.

— Ну как, удается дураков обманывать? — спросил он, раздавливая зубами очищенный от кожуры орех. — Я вижу, вы даже ягод не пробовали. Сорокопуты вскружили вам головы?

Сарик тоже обернулся на голос, перестал свистеть.

— Дядя Асатур, а мы кое-кого уже зацепили на крючок, — сказал он.

Коммунар расхохотался:

— Этих глупых сорокопутов? Цеплять на крючок, так цеплять такого, чтобы был интерес. Какой инте-

рес передразнивать жулана, этого бездарного свистуна, который даже своих песен не имеет!

Пошли по лесу вместе.

— А каковы успехи у верхолаза? — спросил дядя Асатур у Сарика, похлопав меня по плечу. — Есть у нашего Манташева музыкальный талант?

С некоторых пор он тоже стал называть меня Манташевым. Шутя, конечно.

— Зяблика-петуха уже одолел, — не очень уверенно похвалил меня Сарик.

— Зяблика-петуха? Этого бездельника? Да его и одолевать не нужно. Он из любопытства цепляется. Победа пока небольшая. Подготовительный класс, не больше.

В лесу было свежо, остро пахло прелой прошлогодней листвой, хрупкие стебли дягиля легко ломались под нашими ногами. Здесь и там вспыхивали тонкие синичьи трели.

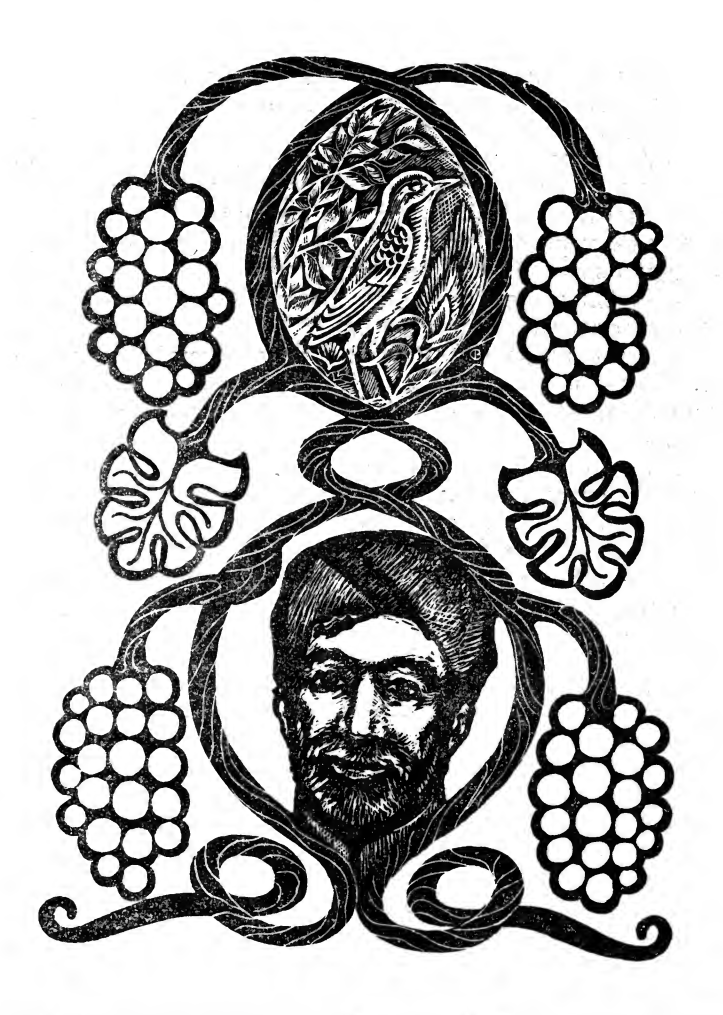
— Давайте лучше попробуем позанятнее выбрать напарника. Самого короля певчих, — сказал Асатур, и сейчас же по лесу прокатился дивный соловьиный посвист.

Я не сразу сообразил, что это наш коммунар бросил вызов самому тонкому, взыскательному лесному певцу, вызывая его померяться силами. Но это был Асатур. Не тот, ершистый, колючий, готовый в любую минуту взорваться, наговорить тысячу колкостей, которого я хорошо знал и побаивался, а совсем другой: улыбчивый, мягкий, способный на шутку — каким я раньше его не знал.

Заливистая трель Асатура облетела лес и, ударившись о близкие скалы, вернулась к нам уже обессиленной, постепенно замирая. Но ответного посвиста не последовало.

Асатур снова послал в лес свою дивную импровизацию. Потом еще и еще. Наконец где-то среди пересвиста многих птиц раздалась короткая осторожная трель. Асатур сейчас же подхватил ее, приспособил к ней собственный голос. Мало-помалу завязался тот игривый соловьиный дуэт, который уже не спутаешь ни с какой другой песней пернатых.

Я глаз не мог оторвать от коммунара Асатура. Вот тебе и сухарь, вон как он замечает красоту! Как мне



был дорог и близок в эту минуту Асатур, без его крика, без всяких колкостей!

Когда песня прервалась, Сарик вдруг спросил:

— Дядя Асатур, а помнишь, ты говорил об Ишхане, которого потом в Сибирь загнали? Там ведь сейчас Советская власть. Почему же он не возвращается?

Коммунар внимательно посмотрел на Сарика, потом на меня.

— Что скрывать от вас, ребята,— немного погодя грустно сказал он.— Терзают Советскую власть интервенты, разные пришлые вороги. У нашего Ишхана, должно быть, дел по горло. Я в это верю.

Я хотел что-то спросить, но дядя Асатур не дал.

— Поговорили — и ладно,— прервал он меня.— Давайте лучше заарканим теперь хотя бы сорокопута. Птица она не из разборчивых, глуповата, но для такого несмышленыша, как ты, будет в самый раз. Ну давай, пробуй, Тигран. Посмотрим, какой ты есть музыкант, не вечно же сидеть в подготовительном.

4

Сегодня я опять пасу овец. Моя очередь чабанить. Я очень люблю пасти овец. Они мирные; это коровы только и знают, что, задрав хвосты, бегать как очумелые. Не то, что от маленького ничтожного слепня или овода, а от одного их писка. Зазвенит такая тварь над головой коровы, и твое стадо только и видели. И непременно в жару. Когда ты сидишь в тени и нарезаешь узоры на палочке из самшитового дерева. Выводишь концом перочинного ножа на коре палки бесконечные клетки. Хлопотный народ коровы, ничего не поделаешь. Другое дело пасти овец, чабанить, — одно удовольствие. Все эти голосистые твари, оводы, слепни им нипочем. Пусть издают свой противный писк сколько влезет, наполнят им весь воздух, овцы и ухом не поведут. Щиплют себе траву, сгрызая ее острыми зубами под корень. И ноль внимания на весь трезвон какой-то мошкары. Звени, звени сколько влезет, мошкара, испугались мы тебя!

Это я нарочно выпячиваю положительные стороны барана, чтобы скрыть от себя его явные недостатки. Это только в сказках бараны понимают чабана с полуслова, язык его свирели. Никакого языка овцы не знают. Только язык дубины. Или Карабаш наскоками заставит их оторваться от травы, повернуть мордочки в нужную сторону.

Если бы они понимали свирель, я как-нибудь нашел бы с ними общий язык. Заставил бы их слушаться меня. Без дубины. Без Карабаша.



Но вот я играю на своей дудке, стараясь приучить этих обжор к моей музыке, да где там. Только знай жуют себе траву-мураву. Правда, я не большой спец по части музыки, не так играю, как того хотелось бы. Может быть, я не тот музыкант, которого можно слушать самозабвенно. Но Аванес, мой сменщик, играет ведь куда лучше, и все равно его тоже не слушают. Не слушают даже Артавазда, который, сами знаете, на этом деле семь собак съел.

Я мог бы еще сказать, какие они чистюли, как они выглядели бы без моей рогатины. Всем известно, не загони вот такой рогатиной, как у меня, это несносное животное в пруд, все, как один, были бы похожи на трубочистов. Грязнули, этого у них не отнимешь. Могу еще прибавить, что бараны не узнают хозяина.

Но зато я могу сидеть в тени граба среди поля и спокойно выводить свои узоры на коре самшитовой палки. Не отрываясь, вырезываю я свои шахматные клетки. Паслись бы у меня коровы или даже телята, разве я мог бы хоть на минуту присесть в тени? Да я палочки в руки не взял бы, не то что рисовать на ней.

— Ти-и-и-к! Ти-и-и-к! — раздалось в горах.

Карабаш, до этого мирно охотившийся за мошкарой, вдруг поднял кудлатую голову, навострил короткие уши.

Я заговорщически приложил палец к губам, Карабаш понял меня, опустил голову.

— Ти-и-к! Ти-и-к! Где ты запропастился, Тик?

Я был бесконечно рад, что Амалия снова пришла. После глупой истории с инжиром мы почти не виделись с нею, но я делаю вид, что это мне безразлично.

— Я здесь, Амалия. Не бойся, собака при мне. Она тебя уже знает.

Но я сказал неправду. Карабаш все-таки нервничал, подергивал короткими ушами, недоверчиво поглядывал то на меня, то на девочку, стремительно бежавшую по склону к нам, пугая овец.

— Ну, не сердись, Карабаш. Девочка же, городская девочка. Она в нашем пастушьем деле ничего не понимает. Сиди смирно, посмотри, куда это несет ее. Какой еще комар ее укусил?

Амалия бежала по косогору среди пасущейся отары, на ходу чуть ли не налетев на Карабаша, который недружелюбно ощерился.

— Узнала! Все узнала,— задыхаясь от бега, прыгала она на одной ножке вокруг меня.— Никакой ты не барин. И отец твой красный! И бабушка! Будешь ты у нас в рабоче-крестьянской...

Карабаш встал и отошел в сторону. Ему не понять городской девочки, чему она так бурно радуется?

Пусть поразит меня гром, если и я что-нибудь понял из всей этой тирады. Не по мне и ее радость.

— Какой есть,— неуверенно пожал я плечами.

Но Амалия меня не слушала. Она уже бежала, не оглядываясь, как и тогда, когда я хотел угостить ее инжиром, растущим на горе, на самой ее вершине. А легкие, летающие руки так и мелькали, мелькали в воздухе.

5

Русский язык преподавался у нас с третьего класса, а я учился всего лишь во втором, но уже знал буквы — мама учила меня дома — и умел составлять из них слова. И однажды привел дядю Асатура в совершенный восторг, написав без единой ошибки «Ленин».

Амалия, конечно, писала лучше меня, как-никак она в городе училась, но Асатур, проверяя мою тетрадь по русскому языку, не мог нахвалиться.

— Молодец, вылитый Ишхан! Такой же понятливый и старательный. Увидит тебя, не нарадуется.

Товарищи завидовали мне, что я один из всего класса, не считая, конечно, Амалии, умею немного писать по-русски и говорить. Мне даже нравится, когда тот же Асатур, обращаясь ко мне как к взрослому, говорит:

— Ты из интеллигентной семьи, понятливый. Знаешь, чего у нас больше всего не хватает? Интеллигентности.

Но я все же отворачиваюсь от него. Это, конечно, из-за мамы такие слова. Откуда мне было знать, что мама для него была всего лишь женой друга, идеалом неподдельной, возвышенной любви?

Дядя Асатур придумал для мамы новую работу, и мама снова не отказалась. Она теперь учит не только детей, но и взрослых. То вечером, после школы. У мамы учится и дядя Асатур.

Я удивлялся маме. Неумелая и непрактичная, она не боялась трудностей, за все бралась, допоздна читала, правила тетради.

И молодела на глазах. Мама никогда не заботилась о своей наружности, вероятно, ничего не знала о

своей красоте, теперь же часто смотрелась в зеркало, из сундука вытащила слежавшееся платье с открытым воротом и отделанное каракулем,— то, что прислал из Мерва ее брат. И, чего раньше с ней не бывало, весело встряхивала головой.

Асатур при встрече треплет меня за вихор.

— Ты еще не признаешь мою правоту? — смеется он.— По-прежнему я тебе представляюсь тигром?

Я молчу, задыхаюсь от обиды, от горя, от его неуязвимости.

6

Теперь дядя Багдасар все чаще и чаще посасывает усы. Уж слишком много завелось любителей поживиться за его счет.

Но дядя Багдасар особенно посасывал ус, когда в нашем доме появлялся Асатур.

— И что этот хромоножка повадился ходить? Что ему нужно в нашем доме?

Асатур отвечал той же монетой. Он часто цеплялся с дядей Багдасаром, поддевая его обидными намеками.

Однажды, в присутствии хмбапета, прямо глянув в хмурое лицо дяди, он с нескрываемой усмешкой бросил:

— Нет птицы красивее павлина, но мало кто знает, что он питается ядовитыми змеями.

Дядя Багдасар пожевал усы, отмолчался. Хмбапет смерил Асатура нехорошим взглядом.

— Есть другая поговорка: семь раз отмерь, один раз отрежь. Только дурак сначала делает, а потом думает.

Асатур не остался в долгу. Он спокойно вернул долг:

— Власть подобна соли — в меру должна быть употреблена.

Потом встал и, не попрощавшись, ушел. Твердо, стараясь не прихрамывать.

Я знаю, сейчас мама в смятении, на ней лица нет, и не смотрю в ее сторону. Чувствую удар в сердце. Зачем она так беспокоится за Асатура? Кто он ей?

Я готов вместо хмбапета казнить несносного коммунара самой жестокой казнью и в то же время ловлю себя на том, что у меня против него злобы нет. Я придумываю для него новые казни, одна страшнее другой, и ни одну из них не могу привести в исполнение. Я страдаю от его неуязвимости. Почему-то вспоминаю об Ишхане. Он представляется мне вот таким, как дядя Асатур, цепким, сильным и неподатливым. Я его тоже люблю и жалею.

Как-то после одной такой стычки с дядей Багдасаром хмбапет, показывая ему глазами на дверь, за которой только что скрылся Асатур, сказал:

— Не кажется ли тебе, ага, что наш уполномоченный совсем не ценит свою голову?

И беззлобно, даже шутливо подмигнул дяде.

Дядя Багдасар, минутой раньше злой и возбужденный после стычки, по-своему прочитав в шутливом подмигивании и во взгляде хмбапета что-то недоброе, вдруг переменился, замахал руками:

— Что вы, что вы, господин хмбапет. На язык он такой. Сам он очень добрый.

— Добрый, а как же,— засмеялся хмбапет и хотел снова отшутиться. Но шутка не получилась. Сегодня хмбапет Агалар не очень настроен на шутливый лад.

7

Все это было ночью, когда люди спят, и я, разумеется, ничего не видел. Мне остается только пересказать то, что видели другие.

Еще накануне, собрав шушикендцев на сход, хмбапет потребовал ночью начать наступление на Малибайлу. Шушикендцы, конечно, отнекивались. Они говорили, что еще в пятом году хотели поссорить жителей двух деревень и не поссорили, а сейчас и подавно не выйдет. Хмбапет Агалар очень сердился за такие слова, размахивал над головой маузером, настаивал на своем. Шушикендцы не дали себя уговорить, о войне с Малибайлу и слышать не хотели и тоже стояли на своем. А пока судили да рядили, нашлись люди, которые предупредили малибайлинцев, те, в свою очередь,— партизан. И началось. Над селом прокатились

предупредительные выстрелы. Это партизаны Шаэна подоспели на помощь. Пришел и Кадыр Мамед со своим отрядом из азербайджанцев. Партизаны потребовали, чтобы распустили людей по домам. Агалар рвал и метал, но перечить партизанам не посмел — кишка тонка.

Впрочем, ночной налет прошел не без следа, он оставил мету в летописи Шушикенда — чучело в образе хмбапета Агалара на спине осла — выдумка шушикендской ребятни, над которой надрывали себе животы и стар и млад. Ей-же-ей, такую же страхолюдину катали и мы совсем недавно, когда царю дали по шапке. Страхолюдина та была портретом царя, который мы выпросили у священника, вернее, выкупили у него по сходной цене.

Так бесславно закончилась затея столкнуть Шушикенд и Малибайлу. То есть над головами уже громыхал гром, тучи сшибались, но искры не было. Дождь тоже не пролился. Ложный был гром. Благодаря Шаэну и Кадыру Мамеду, пусть и они помянуты будут добрым словом.

Хмбапет Агалар не поломал дружбы между двумя селами-соседями, но на осле покатался. И как ему полагалось, лицом к хвосту. Что заслужил.

Вай ме! Оказывается, и в Малибайлу катали на осле своего кочи. И тоже лицом к хвосту!

Этими вестями мы обменялись с Муртузой не дальше чем на другое утро после провала ночного налета. И ничего, оба целы...

8

Я ловлю себя на том, что очень часто думаю об Ишхане. Он возникает в моем воображении не иначе как в разодранной шинели, с винтовкой наперевес, вокруг него бушует ураганный огонь, а он идет и идет неуязвимый, бесстрашный, очень похожий на коммунара Асатура.

— Дядя Асатур,— забыв про все обиды, спрашиваю я однажды коммунара,— если бы Ишхана не сослали, стал бы он, как и ты, уполномоченным?

Дядя Асатур грустно посмотрел на меня:

— Бери повыше, мальчик. Комиссаром. Как Але-

ша Джапаридзе, Мешади Азизбеков, Ваня Фиолетов, Корганов... Слышал про таких?

— Слышал,— соврал я,— не в верблюжьем ухе сплю

— Молодцом,— похвалил дядя Асатур.— Ученого учить — только портить.

Дядя Асатур мне никто, но все равно я ему зла не хочу. Я ловлю себя даже на том, что боюсь за него. Боюсь какой-нибудь каверзы со стороны хмбапета. Я же не слепой, вижу: от одного только имени Асатура у хмбапета Агалара кривится лицо.

Провал ночного налета на Малибайлу, оказывается, произошел не без участия дяди Асатура. Оказывается, это дядя Асатур повинен в том, что партизаны дознались о готовящемся налете. Дяде Асатуру приписывалось все, что не нравилось дашнакам. Он был иголкой в их глазу. А известно, как хмбапет Агалар расправляется с теми, кто ему не угоден, поперек дороги встает... Нет-нет, я не хочу ничего дурного дяде Асатуру. Ничего. Даже думать об этом не смею.

Однажды я застал маму в тревоге. Дядя Багдасар тоже был расстроен. Только что ушел от нас хмбапет.

Мама подозвала меня к себе, отвела в сторону и жарко зашептала, склонившись к моему лицу:

— Можешь выполнить одно поручение? — И, не дав мне вымолвить слова, приказала: — Беги к дяде Асатуру. Передай, что хмбапет ищет его!

Не думая ни о чем, я хотел было уже кинуться со всех ног, как меня задержал голос матери:

— А ты знаешь, где он сейчас?

Она назвала место, где дядя Асатур.

— Беги предупреди, чтобы домой не возвращался.

Дядя Багдасар сделал вид, что не слышит слов мамы.

Через минуту-другую я уже бежал в тутовые сады, где, по словам мамы, находился дядя Асатур. Бежал по крутому склону, поросшему усохшей травой и мелким кустарником.

Тропинка шла через гумна, на которых молотили хлеб. Голенастые кузнечики, раззадоренные летним зноем, неистово верещали, качаясь на ветках кустарников. И кусты, и высохшая трава, и кузнечики были

запорошены половой. Гуменная пыль серым налетом облепила и меня, пока я пробирался через кустарник.

Вот и родник в глубине садов, коровы в тени деревьев. Они отдыхают, пережидая жару у воды. Тут же крикливая пастушня, резвятся, брызгают друг в друга водой. Кто-то истошно вопит: «Вода потекла ему за пазуху». Я бегу мимо. Мне сейчас не до них. Я даже не успел разглядеть, кому это полили воду за пазуху. Где-то перекликаются люди, накладывая сено на арбу.

Я лечу, не чувствуя под собой ног. И вдруг меня резанула мысль: «Для кого ты стараешься, Тигран? Для человека, который глаз не сводит с твоей мамы? Тоже мне важное поручение!»

— Эй, верхолаз! Куда ты так разогнался?

Я повернулся на голос. Дядя Асатур стоял у родника и пил из пригоршни. Тяжелые капли студеной воды падали из сдвинутых ладоней.

Делать нечего, я подошел к нему.

— Исчезай, дядя Асатур, тебя хмбапет ищет,— вырвалось у меня.

— Ты за этим и бежал? — спросил Асатур, сразу переменившись в лице.

— Да. Мама велела,— признался я.

Он хотел было привлечь меня к себе, обнять, но я отстранился.

— А ты все за маму дуешься на меня? Мал еще, молокосос, подозревать. Сестра она мне, понимаешь, сестра. Ну, да ладно! Скоро сам поймешь. Все поймешь.

У развилки мы расстались. Дядя Асатур крепко пожал мне руку:

— Спасибо тебе, Тигран. И маме спасибо за заботу обо мне. И за то, что она такая... красивая. Бог даст, приедет наш Ишхан, не налюбуется на нее. Так и передай. Теперь уже недолго ждать. Скоро придут наши. Большевики!

Я долго стоял, полный радостных предчувствий, смотрел вслед дяде Асатуру. Я ничего не мог понять из слов дяди Асатура, но чувствовал, всем своим детским сердцем понял: что-то в моей жизни должно произойти.

Дядя Асатур дошел до вершины горы, помахал мне фуражкой и через минуту исчез в кустах.

Позади меня послышался конский топот: рысью ко мне приближалось несколько всадников на взмыленных конях. Еще издали я узнал среди них нашего постояльца Вардкеса-кери, Бадунца Аршака и Абела. Все они были обвешаны оружием. Поравнявшись со мной, всадники осадили взмыленных коней.

— Не видел хромоногого? — спросил Вардкес-кери.

— Видел,— сразу нашелся я.— Только что с ним разговаривал.

— Где? — накинулись они на меня все сразу.

— Вон там, у родника. Он ополаскивал лицо водой.

— Ну, мы сейчас ополоснем его такой водой, что он забудет дорогу к роднику,— бросил за всех Абел и, повернув коня, пустил его галопом по тропинке, ведущей в сады. За ним, размахивая в воздухе короткими обрезами, выхваченными из-за спин, помчались остальные, поднимая за собой облака пыли.

● ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

1

Перестрелка в горах с каждым днем усиливалась. Иногда, просыпаясь среди ночи, можно было услышать гулкие ружейные выстрелы, раздававшиеся совсем близко, да еще умноженные эхом окрестных гор.

Дела хмбапета, должно быть, шли неважно, потому что он теперь почти не наведывался к нам, не чаевал под вечер, как бывало до этого. А наведываясь, быстро перекусит, одним махом садится в седло и сразу же выезжает со двора, злой и расстроенный. И уже не пускается с дядей в длинные рассуждения с присловьями и поговорками. Видно, не до разговоров ему сейчас. А люди хмбапета, к которым на полное посрамление всего Шушикенда присоединились Бадунц Аршак и бандит Абел, только и делали, что вихрем носились по дорогам, оглашая воздух беспорядочными выстрелами то там, то здесь.

Терпя неудачу за неудачей от партизан, дашнаки словно взбесились. Только и слышно было то об убийстве на дороге, то об ограблении или расстреле ни в чем не повинного крестьянина, идущего из леса с вязанкой хвороста за спиной. Видно, порядком им насолили партизаны, если они в каждом видят партизана.

Люди при встрече с всадниками хмбапета шарахались в сторону, стараясь не попасться им на глаза, а

ночью, ложась спать, подальше прятали добро и поплотнее запирали двери, крестились на всякий случай. Даже дядя велел запереть двери своих подвалов и собственноручно проверял замки и запоры на них.

В такие дни и мы старались не показывать носа на улице, отсиживались дома, даже в школу перестали ходить.

Но однажды после короткой перестрелки в конце села показались всадники. Дашнаки, отстреливаясь, ушли. На улице ни живой души. Шушикендцы попрятались по своим углам, ждали, кого еще несет к нам!

Дробное цоканье копыт приблизилось. Не выдержав, я выглядываю из окна. Разрази меня гром, да ведь это Асатур едет впереди всадников!

С шапкой набекрень. А на ней — красная ленточка наискосок.

Подъезжая то к одному, то к другому дому, перегнувшись с седла, он стучал наганом в ворота, как колотушкой, громко и радостно приговаривая:

— Выходите, не бойтесь! Это наши! Красная Армия пришла...

С приходом Красной Армии плакали дядины «керенки». Целые мешки «керенок». Теперь на них никто не смотрит. Даже лавочник Аванесбек, который еще совсем недавно принимал нашу добычу, брезгливо отворачивается.

Это сделали красноармейцы, которые прошли через наше село. Те, которые прогнали дашнаков.

Но это еще не все. Дядю Асатура вдруг стали называть комбедом. Тоже после того, как к нам пришли красноармейцы. Некоторые даже шутили: был Асатур литейщиком, стал комбедчиком. Как же Шушикенд может без шутки обойтись!

Оказывается, дядя Асатур — Советская власть. Поставлен во главе ее у нас в Шушикенде. Тот самый Асатур, которого еще совсем недавно одни называли коммунаром, другие — уполномоченным. Тоже после красноармейцев. Вот кого однажды ранним майским утром принесло к нам!

Теперь в Шушикенде только и слышишь:

— Пойду до комбеда. Как скажет комбед, так и будет. Нашего брата, бедняка, он не обидит.

Коммунара Асатура за многое уважали в Шушикенде, воздавали ему должное. Теперь же, когда он комбед, еще больше стали почитать. Появится комбед Асатур на шенамече — ему уже уготовлено место. Такую честь у нас в горах оказывают не каждому.

И я почему-то подумал, что если наш Ишхан, отвоевавшись в России, вернется в Шушикенд, ему тоже, наверно, на шенамече будут уступать место.

Комбед — это новая должность Асатура. Я против Асатура и его должности ничего, разумеется, не имею. Наоборот. Даже очень рад, что он теперь такая шишка. Одного не пойму: почему он так взъелся на дядю Багдасара? Дядя Багдасар не делал ему зла. Даже помог спастись от хмбапета.

Нет, я много еще не понимаю. Не понимаю прежде всего маму. Нерсик и Персик прогнали меня и Аванеса из отряда, а она советует мне не злиться, побывать сначала в их шкуре. А если я и слышать не хочу ни о них, ни об их шкуре? Подумаешь, шкура! Выросли на хлебах моего отца и теперь вместо благодарности так и жди от них новой выходки. Дались они мне! Из этой самой бедности сделали себе белую папаху и несут на макушке головы. Очень мне нужно смотреть на такой цирк. Что же ты молчишь, Армо? Нынче уж так заведено, что все, кому не лень, чернят богачей. А мы — богачи. У тебя ведь больше оснований срамить нас, чем у этих горлопанов,— мешочек пшеницы, ставший стеной между мамой и Багдасаром. Наверное, и ты сердишься на нас за эту злополучную пшеницу?.. Но ты молчишь. Знаешь, что мне и без того тошно от всех этих слов. Спасибо тебе, Армо, за это молчание.

Жаль дядю, очень жаль. Он, конечно, теперь не тот, каким был. Прежде всего дядя рассчитал всех работников. Даже Гегама отпустил. Не давит уже столько вина, как прежде.

Нет, это все-таки ни на что не похоже! К Асатуру из волости пришли люди, высшее начальство. Вместо того чтобы повести к себе — твои гости — твоя забота,— он их ведет в подвалы дяди да еще велит накормить гостей!

А знаете, что он сказал, комбед Асатур, приведя гостей своих в наш подвал?

— Чувствуйте себя как дома. Только не перепи-

вайтесь, ребята. Чего доброго, Багдасар подумает, что советское начальство можно купить за штоф вина.

Не правда ли, очень любезно со стороны человека, заявившегося в гости незваным?

Я чуть не взорвался от гнева, от негодования.

«Да кто ты такой, что здесь распоряжаешься?»

Но я этих слов не говорю. Все-таки неудобно.

Подумать только! Привел своих гостей в чужой дом да еще язык распускает. Другой бы на его месте поблагодарил дядю за гостеприимство, за хлеб-соль, а он возьми да скажи:

— И чего это ты, Багдасар, увиваешься возле меня, щедрость свою показываешь? Все равно бараном не откупишься. К ногтю прижмем.

Но это еще цветочки. Не дальше чем через день-два он реквизировал у нас двух быков, чтобы передать их бедноте. Какому-нибудь Багиру. Будто мы виноваты, что Багиру нечем пахать. Нечего сказать, отблагодарил.

2

С гор спустились партизаны. Дашнаков нет, не с кем больше воевать. Можно спокойно жить под родным кровом. Потому и пришли красноармейцы, чтобы партизаны вернулись по домам. За это земной поклон им. Но мне сдается, что шушикендцы особенно благодарны за земли, полученные на вечное трудовое пользование. Не знаю, где как, а в Шушикенде разделу земли были рады все. Рады были ему и мы. Мы так же были малоземельны, как многие другие. Советская власть никого не обошла, не обделила землей.

Не мне сейчас перечислять, не вам слушать про все то, что принесла нам в горы Советская власть. Я хочу только напомнить еще о словах, которые тоже пришли к нам после красноармейцев. К примеру, «культармеец». Это тот, кто добровольно вечерами ходит по домам и учит стариков читать и писать. Этим словом, между прочим, дядя Асатур уважительно называет и мою маму, которая по-прежнему работает в школе. Днем учит детей, а вечером взрослых. Или

«комсомольская ячейка», которой верховодит Армо, наш Армо. А знаете, тоже неплохо. Пусть себе живет и это словечко. Но вот «самообложение». Почему другие слова для всех, радуйся сколько душе угодно, а это слово только для нас? И никакой радости от него. Пришли, увели со двора быков — самообложение. Вызвали дядю к комбеду — плати за то, плати за это — тоже самообложение. Не особенно порадуешься, если тебя у порога так и стережет это самообложение. Будто все власти потому приходят и уходят, чтобы докучать дяде Багдасару, прижать его к ногтю. Разве это хорошо?

На тропинке, что ведет в сады, мы встретились с Амалией. Может быть, на эту тропинку, где чаще всего можно встретить Амалию, я попал не случайно. Не ручаюсь.

Я хотел было пройти мимо. Не дай бог, если эта несносная девчонка догадается, что я к ней неравнодушен. Она просто высмеет меня. Нет, лучше я покажу ей, что она для меня ноль без палочки.

— Здравствуй, Тигран. Ты не хочешь даже здороваться?

— Здравствуй, Амалия. Только я не знаю, стоит ли с тобой разговаривать. Ты все равно сейчас же будешь ссориться.

— Я хочу поблагодарить тебя, Тик, за отца. Я знаю, что это ты предупредил его, чтобы он бежал.

— Не стоит. Только не по адресу эти слова. Ты лучше поблагодари за это дядю Багдасара. Это он узнал о намерениях хмбапета, передал маме, а мама мне.

— По-твоему, моего отца коммунара Асатура спас от верной смерти буржуй Багдасар? Никогда не поверю. Еще не было, чтобы буржуи спасали коммунаров, своих врагов. А может быть, еще скажешь, что и богатство его с неба свалилось, приобретено честным путем?

Я зажал уши:

— Говори, не говори, а тебя не слушаю, Амалия. Кто в Шушикенде не знает дядю Багдасара? Он же добрый, не похож на других богачей.

— Добрый? — зло посмеялась Амалия.— Ты хоть не смешил бы людей, Тигран. Если хочешь знать, твой добродетельный Багдасар — помесь волка с лисицей.

— Иди, знаешь куда? — вспыхнул я, озлившись до крайности.— Тебя только не хватает. Мало нам твоего отца, комбеда Асатура. И благодарить за него нечего. Зря мы спасли его. На свою голову.

Амалия слушала меня на этот раз, не сердясь, даже улыбаясь.

— А я не верю твоим словам. Вот ни столечко не верю! Если бы комбедчик Асатур и сейчас попал в беду, ты так же спасал бы его.

Меня тронули слова Амалии.

— Не знаю,— пожал я плечами.— Дядя Асатур так несправедлив к нам. Причиняет нам много зла.

— А может, ты лучше приглядишься к нему, Тик? — Амалия даже взяла меня за руку.— Он такой же, как ты. Сверху только злой.

— Не скажи,— возражаю я, но очень мирно.— Он нас так к ногтю прижал.

— Тебя нет, а твоего Багдасара прижмет наверняка,— пообещала Амалия, будто сообщая мне радостную весть.— Отец сказал, что мы всех капиталистов подчистую выведем до пятого колена.

Но я проглотил обиду. Я не стал отчитывать глупую девчонку за такие слова.

— Ты, кажется, шел в сады есть туту? — переменила разговор Амалия.

— Да. Сегодня я свободен. Аванес пасет овец.

— А можно с тобой пойти? Тоже хочу туты поесть.

— Ну почему же нельзя?

Мы шли по тропинке, забыв отпустить руки. «Жених и невеста»,— вспомнил я вдруг дразнилку Мгера и тотчас же убрал руку.

Мне не хотелось вот так, вместе, пусть даже не об руку, прийти в сады. Нас могут увидеть. Дразнилок потом не оберешься. Да и перед старшими стыдно.

— Ты знаешь, Амалия, я в сады не пойду. Мне сегодня совсем не хочется туты,— сбивчиво стал отнекиваться я.— Нам совсем не по пути.

— Да? А мне показалось, что ты в сады.

И она весело и облегченно вздохнула. Должно быть, ее тоже устраивала моя выдумка — лишний раз не попасться вместе людям на глаза.

3

Комбед Асатур угрозу свою исполнил, нас таки прижал к ногтю. Мало того, что он реквизировал быков, запросто берет у дяди вина, когда ему хочется и сколько заблагорассудится, еще заявил, что намерен реквизировать одну из арб и пару сорокаведерных бочек, также нужных бедноте.

И не только нас, всех богачей он прижал. Лют на имущих, как будто они ему задолжали и никак не хотят вернуть долга. И раньше Асатур не миловал богатых, в том числе и дядю, а теперь, как стал комбедом... Так и наступает каждому на пятки.

У нас говорят: прежде чем рассердиться — считай до ста. Прежде чем обидеть другого — до тысячи. Я проделал все это, считал и до ста и до тысячи, все равно гнев у меня на комбеда Асатура не проходит. Вот тебе и сверху злой! Подумать только, маму мою уважает, меня тоже, а каждый день делает нам какую-нибудь подлость. Забыл, как мы спасли его от хмбапета.

Я теперь составил себе точное представление об этом человеке, которого я не хочу даже называть собственным именем. Пусть так и останется — «Комбед». Был литейщиком, стал комбедчиком. Полюбуйся, Амалия, на твоего отца! Это он сверху злой?

Комбед частенько заглядывал к нам, и каждый раз мы чего-нибудь недосчитывались. То хлеба отгрузят из амбаров дяди, то быков уведут.

Все это еще куда ни шло, но последние дни комбед повадился заглядывать в хлев, где вся наша живность: баран с витыми рогами, который не мог ходить, потому что мешал большой курдюк, сердитый осел, умеющий при случае постоять за себя — лягать и кусаться, выездной конь, который, играючи, обгонял всех скакунов Шушикенда.

И вот решили увести и коня. Реквизировать. За конем комбед сам не пришел, а велел, чтобы мы его отвели в канцелярию.

Дядя Багдасар долго обсасывал ус, наконец, подозвав меня, сказал:

— Кто в море бывал, тот лужи не боится. Отведи коня. Пусть подавится им твой комбед. Недаром говорится: ворона за горы летала, да вороной и вернулась. Иди же, ну!

Я послушно спустился во двор, прошел в конюшню.

Баран первым отозвался на мой приход, облизнув мне пальцы. Конь был ошеломлен моим поступком. Вместо того чтобы задать ему свежего корма, я снял с гвоздя уздечку и взнуздал его. Осел тоже, наверное, оказывал мне какие-нибудь знаки внимания, но я его не видел. Взял коня за уздцы и вывел его из хлева.

Шальная мысль пришла мне в голову: «А что, если я не отведу его в канцелярию, а спрячу где-нибудь?» Решение пришло неожиданно: не будет ноги нашего коня в канцелярии. Пусть этот комбед проваливает со своей реквизицией.

Сказав эти слова самому себе, я хлестнул коня и, проскакав через все село, ветром пронесся мимо канцелярии, мимо удивленного рассыльного, погрозившего мне вслед палкой.

Дорога под копытами коня то поднималась вверх, почти отвесно, то падала вниз, в глубокую расщелину. Ветер свистал в ушах, раздув мою рубашку за спиной парусом.

Я не знаю, сколько прошло времени, сколько я скакал по горным тропам вверх и вниз, но вдруг хорошо услышал два выстрела, прокатившихся в горах. Вслед за выстрелами на бугорке за моей спиной показался всадник, мчавшийся во весь опор.

Я не сразу сообразил, что это погоня за мной. Скачет себе всадник — и на здоровье.

— Стой, контра, стрелять буду! — послышалось позади. Потом раздался выстрел.

Прижавшись к шее коня, я мельком взглянул назад. Позади несся всадник, посылая мне вдогонку несусветную брань. Сомнений не было, за мной гнался комбед Асатур, размахивая над головой наганом. Меня охватила оторопь.

Я в ужасе неистово колотил пятками бока лошади, нисколько не боясь, что в любую минуту она может

сбросить меня. За спиной снова выстрел. В эту минуту лошадь круто повернула с дороги, скинув меня через голову.

Я пришел в себя уже дома. Все обошлось благополучно. Ни один волос не упал с моей головы, я даже не расшибся. Только напугался.

На краю моей постели сидел дядя Асатур. Я видел его потное сконфуженное лицо, всю его нескладную фигуру в разношенных сапогах с короткими голенищами. Грустными, по-отцовски внимательными глазами он разглядывал меня.

Мама была ни жива, ни мертва.

— Прости меня, Варсеник,— сказал он, глядя себе под ноги.— Я не мог поступить иначе. Я считал себя ответственным за его душу.

Мама ничего не говорила и почему-то прикладывала к моему лбу мокрый платок.

4

— Армо,— спросил я как-то своего друга.— Амалия красивая?

— А почему ты меня об этом спрашиваешь? У тебя что, глаз нет?

— Глаза-то есть. Да плохо они видят. Я, например, могу сказать, какая Арев, другие девочки в селе. Но про Амалию ничего не могу сказать. Будто она в тумане, и я не могу разглядеть ее.

— Не можешь разглядеть? — Армо сочувственно обнял меня за плечи.— Ты влюблен, брат. Безнадежно влюблен.

Я покраснел и вырвался из объятий

— С чего ты взял? Далась она мне, эта помешанная на капиталистах городская девчонка! Я просто так спрашиваю.

— Вот я так просто и отвечаю: влюблен!

Армо снова привлек меня к себе.

— А вы часто ссоритесь? — осторожно спросил он.

— Часто,— признался я.— Как встретимся, так и ссоримся. Только один раз не поссорились.

— Вот видишь. Все, как у нас с Арев. Я тоже не

знаю, красива она или нет. И так же при встрече ссоримся. Бывало, по месяцу не разговариваем.

Но я не дал ему договорить.

— А я не хочу быть влюблен! — в отчаянии крикнул я.— Я еще маленький. Стыдно.

— Вот чудак,— сказал Армо.— Ну хорошо, ты не влюбленный. Ты только уважаешь ее. Как и я Арев.

— А ты тоже уважаешь? — как утопающий, схватился я за соломинку.

— Ну да. Конечно, уважаю.

У меня от души отлегло. Конечно же, я не влюблен. Я только уважаю.

5

Нет, что правда, то правда, я этих Нерсиков и Персиков терпеть не могу. Их отца тоже. Давно ли это было, когда он передо мной поклоны бил, всячески охаживал меня притворной ласковостью. А теперь пройдет мимо — и на меня ноль внимания. Будто меня нет. Может, сердится, что дядя рассчитал его? А может, всегда не любил и меня и дядю, только словами прикрывался? Может быть, я взрослым не судья. Дай бог разума в поступках погодков разобраться, этих Нерсиков и Персиков уразуметь, которые с каждым днем все наглеют и наглеют и не упускают случая, чтобы не поддеть то меня, то Аванеса. Даже Ашотика, который им не погодок, обижают, всякими словами обзывают. Противные мальчишки!

Однажды на тропинке, что идет через гумна, я встретил Нерсика. Кузнечики не трещали. Их время уже прошло. На кустах, растущих по обе стороны тропинки, не было и серой гуменной пыли. Осенние дожди давно ее смыли.

Добро! Каждому овощу, как сказали бы взрослые, свое время. Сейчас осень, о какой мякине или кузнечиках может идти речь?

Нерсик был один, без Персика. И это хорошо. Когда они вместе, каждый из них старается переплюнуть другого в своей нелюбви ко мне и к моим братьям. Присутствие одного подбадривает другого. Интересно, что он запоет сейчас, когда один?

— Здравствуй, Тигран. Ты еще дышишь? — сказал он, поравнявшись со мной.

Нерсик знал о случившейся со мною беде, о том как я хотел угнать коня, чем это кончилось, и, как мне показалось, по-своему выражал участие. На толстом, грубо отесанном лице я даже прочел нечто похожее на сожаление. Это в высшей мере тронуло меня.

— Дышу. Что со мной станет? Даже не зашибся,— поспешил я успокоить Нерсика.

— А как дядя Багдасар? Тоже в добром здравии?

— И отец здоров. Спасибо!

— Вот хорошо,— неожиданно отбрил Нерсик.— Свой смертный час богатеи встретят в добром здравии.

Я рванулся к нему, дыша ему прямо в лицо.

— Ты это к чему?

— А к тому, что скоро их наш комбед в бараний рог согнет.

— Кого это «их»?

— А вас, кулаков.

Только сейчас заметил я нахальную улыбку на лице Нерсика. Вид мой, должно быть, не предвещал ничего доброго, но Нерсик был не из пугливых. Ни на шаг не отступил от меня, готовый предупредить любую выходку с моей стороны.

Я задохнулся от обиды.

— Что ты сказал, Нерсик-Персик?

— А что слышал. Ни больше ни меньше.

И сам продолжает нахально улыбаться. Я ударил по этой смеющейся морде. Наотмашь звонко, не раздумывая, ненавидя.

Мы сцепились.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

1

Помните, с чего начинается мое повествование? Приезжает мой отец. Новый отец. И этот отец — Ишхан!

Сами по себе, конечно, разрешаются головоломные загадки, которые так сильно занимали меня. Теперь я знаю, почему мои братья и сестрица тетю Марго называют мамой, а мою маму — тетей. Оказывается, все в Шушикенде знали, что у меня где-то в Сибири есть другой папа, настоящий, и скрыли от меня. Знали даже Армо и многие мои сверстники и молчали. Не хотели они, чтобы я узнал безотцовщину. Никто тогда не верил в возвращение моего отца.

Как же мне поблагодарить вас, люди, мои шушикендцы, малые и большие, за то, что я действительно не знал безотцовщины?

Итак, у меня теперь два отца: папа старый и папа новый.

Только не думайте, что все это так просто: был моим отцом Багдасар, теперь Ишхан, тот самый Ишхан, о котором я наслышался дай бог сколько. Но этот Ишхан мне пока чужой, к нему я еще не привык. Нужно время, чтоб все стало на свои места: дядя стал дядей, а отец — отцом.

Мой настоящий отец будто догадывается о всех бурях, которыми переполнено мое сердце, и, чтобы

дать мне получше разобраться в своих чувствах, с утра уходит из дому, целый день бродит по горам. А может быть, он соскучился по родным местам и теперь никак не наглядится на них? Все может быть. Ведь он чуть ли не с того света вернулся, а человеку, пережившему так много, должно быть, все вдвойне милее.

Интересно, побывал ли папа, когда был маленьким, на скале орла, спасал ли, как мы с Армо, нелетного лебеденка, оставшегося без родителей, играл ли с товарищами в «красных» и «белых», или совсем другое занимало его голову? А о чем думал папа, когда его подняли на помост, чтобы повесить? Может, обо мне, которого он не видел, но уже любил, и о маме, которая ждала его и готова была ждать долго, пока он не вернется? Трудно приходилось тебе в жизни, папа!

Пусть новый папа еще не вытеснил старого, пусть я еще к нему не привык, но кто сказал, что он мне не мил, не сидит уже в сердце? У сердца, знаете, свои глаза.

Не знаю, каким был отец в молодости, когда в Шушикенде вместе со своим братом Багдасаром пас чужое стадо или когда работал в Баку литейщиком, но теперь мой отец — тихий, малоразговорчивый. И еще он высокий, такой высокий, что, кажется, не ходи он ссутулившись, головой задел бы притолоку двери.

Вечером отец с дядей долго засиживаются за чаем. Дядя Багдасар хотя и очень рад возвращению брата, моего отца, но при разговоре с ним часто посасывает ус. Весь вечер, пока отец разговаривает с дядей, мать, усевшись в углу комнаты, вяжет чулок и смотрит на отца долгим и внимательным взглядом, словно хочет насмотреться на него за все годы разлуки.

Иногда мама откидывает голову и тихо улыбается. Свет лампы падает на ее лицо, и я вижу, как она хорошеет от улыбки, как в уголках рта появляются маленькие красивые ямочки.

Мама, мама, как я благодарен тебе за этот спокойный чистый взгляд, который не может смутить ни один шушикендский остряк. Прожив столько лет на

виду у всей деревни, ты сохранила право смотреть в глаза мужу так, как смотришь сейчас, без тени тревоги.

Как мне отблагодарить тебя, мама, за этот взгляд!

2

В тихий предзакатный час в лесу я встретил Нерсика и Персика. Я нарочно по дороге завернул в лес, чтобы встретиться с ними. Эти шалопаи так ловко научились у своего отца передразнивать птиц, что уж не поймешь, когда свистят они, а когда птицы.

— Иди к нам, Тик! — увидев меня еще издали, стали звать они так, будто мы никогда не ссорились. — Мы тебя научим передразнивать птиц.

— Разве вы со мной дружите? — спросил я, подойдя ближе.

— Знаешь, Тик, — сказал Нерсик, пряча глаза, — что между нами было, считай — не было. Плюнул и растер. Идет?

Персик тоже рассыпался в извинениях. Обещал плюнуть и забыть.

— Идет! — поспешно согласился я, прикидываясь непонимающим. — Но, может быть, все-таки скажете, чем вызвана такая перемена?

— Еще спрашивает! — хором ответили братья. — У тебя такой отец, воевал с белыми и чтоб мы с тобой враждовали?

Над самой моей головой, прыгая с ветки на ветку, затрещала какая-то крошечная нарядная птица с красной шейкой, может быть, та, которую я видел очень давно, когда мы приходили сюда с дядей Гегамом.

— Давайте свистеть, — предложил Нерсик. — Начнем с зяблика. Этот дурачок легче всех других птиц поддается обману.

Нерсик и Персик почти одновременно заливисто засвистели, и тотчас же из глубины леса раздался ответный посвист.

Через минуту мы уже шли по лесу как старые неразлучные друзья.

Мы были уже у села, когда Нерсик предложил:

— Приходи вечером в отряд. Будем бить белых.

— Хорошо, — сразу согласился я, польщенный доверием. — Но только я приду с братом Аванесом.

Нерсик вдруг замялся, но Персик раздельно и четко выговорил:

— Приходи лучше без него, без твоего двоюродного брата. С сынками богачей, сам знаешь, нам не по пути.

Меня вдруг охватила злость.

— Знаешь, катитесь своей дорогой. Меня с братом вам не рассорить. И на дядю Багдасара нечего гавкать.

Персик разочарованно развел руками.

— Жаль, что ты не хочешь с нами бить белых. А мы думали, раз отец красный, то и ты красный.

Хотя я и не удостоил Персика ответом, поспешил уйти, но все же поймал себя на том, что прежней злобы на них у меня нет. Пусть тявкают сколько влезет. Мне от этих слов ни холодно, ни жарко.

3

А каков Ашотик? Этого лоботряса не корми, дай только почесать язык. Он только и делает, что когонибудь передразнивает. Особенно точно копирует он подручного хмбапета, Вардкеса-кери. Забравшись куда-нибудь повыше, он кричит пискливым, но громким голосом изо всех сил, ну точь-в-точь Вардкес.

В первый раз, услышав его за стеной, я принял его за настоящего Вардкеса. Будто он замешкался, не успел вовремя унести ноги, или вернулся снова разглагольствовать с дядей.

— Старому коню на водопое не подсвистывай, ага Багдасар! — орал во всю глотку Ашот. — Сам знаешь, не легкое дело угодить его благородию Волкову, денщиком при нем состоять. Да и хмбапет на меня не в обиде. По мне, что белый, что красный, одна собака. Лизнешь лапу — тебя не тронет. Все мы падки на ласку.

Отец, услышав Ашота, до слез хохотал. Смеялись и мы, малые и большие. Только дядя Багдасар не смеялся. А когда Ашот при нем вздумал изобразить хмбапета, прицыкнул на него:

— Брысь! Тебя только не хватало!

Дядя не любит, когда всякая мелюзга встревает в разговор старших. Тем более Ашот, который так мал, что гусаки при надобности, когда он досадит им, свободно хватают его за нос.

Смеясь, вытирая слезы, отец сказал, обращаясь к дяде:

— Эта, что ли, твоя власть, за которую ты отдал голос?

— Не хуже твоего Асатура, — не сразу отозвался дядя Багдасар. — По крайней мере у хмбапета руки были коротки на разбой.

Дядя осунулся, пожелтел, оброс седой щетиной.

Отец задумался, пошевелил пальцами, сказал:

— Ты прав, Багдасар. У Асатура длинные руки. И ему до всего дело. — Потом добавил, уже твердо: — Но и у Асатура своя правда. Разные у нас с тобой, брат, правды.

Дядя более ни слова не проронил, а только долго-долго посасывал ус.

4

— Слушай, Армо, ты знал, что дядя Багдасар мне не отец? — спросил я.

— Конечно, знал.

— Знал и не говорил?

— Каюсь, не рискнул.

— Можешь не каяться. И я не жалею, что не знал, — пробормотал я. — Дядя Багдасар был мне отцом, отцом и остался. Я его очень люблю.

— А нового папу? Любишь?

— Люблю,— искренно признался я.— Но он другой. Совсем другой.

Я вспомнил, как отец ссорится с дядей, и взгрустнул.

— Чем же он другой? — поинтересовался Армо.

— Ну, как тебе сказать? Сухой, черствый. В грош не ставит то, что дядя Багдасар сделал для меня и моей мамы. Вечно ссорится с ним.

— Если ссорится, значит, есть за что,— сказал Армо. — Что мы понимаем в делах взрослых? Давай лучше кидать камни. Посмотрим, кто дальше закинет.

— Давай, — сразу согласился я, обрадовавшись случаю отогнать от себя мрачные мысли.

Стадо, которое мы пасли, где-то внизу в ущелье пощипывало траву. Была осень, слепень не беспокоил коров, его время уже прошло.

Над нашими головами, высоко-высоко в синем небе, распластав крылья, парил орел, должно быть, хозяин скалы, которую облюбовали мы с Армо. Хотя орел облетел нас высоко, но мы ощущали на себе его острый, колючий взгляд. Чтобы заполнить неловкую паузу, легшую между нами, мы долго деловито следили за полетом орла.

— Ну и дурак же ты, Тик! — сказал Армо. — Вот на столечко ты не знаешь своего отца. Совсем не знаешь. Услышал бы мой отец, как ты говоришь о нем, со смеху бы помер.

Не глядя на меня, он нагнулся, выбрал округлый камушек и, размахнувшись, далеко закинул его. Я сделал то же самое. Но мой камушек, описав небольшой полукруг, тут же упал и долго скатывался вниз по отвесному склону, увлекая за собой другие камни.

— Пойдем, пока ты не наговорил новых глупостей,— предложил Армо, метнув другой камень.— И пока орел не рассвирепел. Мы мешаем ему вернуться на скалу.

По узкой каменной тропинке, цепляясь за скользкие выступы, покрытые лишайником и мхом, мы спускались вниз, в ущелье, где в пятнах закатного солнца паслись коровы.

Мы уже спустились с горы, но еще не успели дойти до коров, как вдруг раздался цокот копыт. Оглянулись. Неподалеку от нас на огненно-рыжем коне показалась девушка. Конь под нею рвал удила, готовый выйти из повиновения и понестись галопом.

Мы поравнялись. Девушка была в рубашке защитного цвета, затянутой широким ремнем, в кепке защитного цвета. Через плечо перекинута портупея. В первый раз я увидел такую форму и зачарованно смотрел на девушку в невиданном наряде. Конь потряхивал золотистой гривой, приплясывал на месте, намереваясь скинуть со спины всадницу. Но девушка сидела, маленькая, черномазая, будто слившись с ним.

На миг мне вдруг показалось, что это моя бабушка

Заруи явилась из небытия. Такой я и представлял ее в моем воображении.

Конь под девушкой, не слушаясь удил, два раза взметнулся вверх, поводя темными, от пота взмокшими боками.

Я зажмурил глаза от счастья, от поразительного сходства этой девушки с моей сказочной бабушкой.

— Кто это? — шепотом спросил я.

— Арфо, — успел шепнуть Армо.

Арфо очень почтительно поздоровалась с Армо.

— А кто это? Не Тигран ли, сын Ишхана?

— Он самый, — поспешно отозвался я, бесконечно довольный, что Арфо знает меня.

— Тот Тигран, который...

Я сжался, точно в ожидании затрещины. Мне показалось, что сейчас Арфо напомнит о моем богатом дяде. Но она сказала, дружелюбно разглядывая меня:

— Тот Тигран, который передавал нам разговоры хмбапета?

— Он, — подтвердил Армо.

Конь снова взвился под Арфо, поиграл в воздухе передними ногами. В его брюхе громко екала селезенка.

Крепкой рукой осадив коня, умерив его пыл, Арфо сказала:

— Так в чем же задержка? Почему такой актив скучает без дела?

— Вроде рановато... мал еще.

— Ну хорошо, подождем, — сказала Арфо, коротко улыбнувшись мне, и отпустила вожжи. Конь сорвался с места и понесся галопом, не разбирая дороги.

5

Однако же я заметил: суровый язвительный комбед Асатур внутренне застенчив. Он стесняется отца и, навещая нас, только и делает, что смотрит ему в рот.

Отец вообще немногословен, но с комбедом он говорит охотно.

— Ленин всегда говорил, что нет землепашцу иного пути, кроме кооперации.

Асатур не просто слушает, а впивается в каждое слово отца.



— А про красоту? Когда красоту на всей земле наводить будем? Ленин про это не говорил?

— Про красоту?

Отец, переглядываясь с матерью, улыбается. Он знает: красота — это конек дяди Асатура. Он ищет ее повсюду и везде.

— Красота? — переспрашивает отец. — Это и есть красота, когда земли объединены, межи перепаханы.

И на помощь человеку придут машины. Но это будет не скоро. Ох как не скоро.

— Я это знаю. Не скоро, — мрачно соглашается комбед.

После того как отец вернулся, Асатур почти каждый вечер приходит к нам и подолгу засиживается с отцом. В такие вечера я рано ложусь спать, но долго не смыкаю глаз, прислушиваясь к разговору старших.

Когда у нас Асатур, со стола не сходит вино. Отец, как и дядя Багдасар, непьющий. Весь наш род не курит и не пьет. Но для компании он прикладывается к стакану, в котором искрится густое янтарное вино, медленно отпивает несколько глотков, словно дегустируя. Асатур же пьет с явным удовольствием.

Иногда к беседующим присоединялись и другие односельчане. На видном месте против отца садились почтенный Айрапет-даи, рядом с ним не менее почтенный Галуст, другой бондарь, библейский старик с белыми бровями, с белой бородой, которому всегда до всего есть дело. Гегам, который уже не был нашим работником, старался сесть подальше и держался так, будто этот разговор, который велся изо дня в день между моим отцом и шушикендцами, не представлял для него никакого интереса.

— Говори, говори, Ишхан, как там в России, — начинал беседу Галуст, сразу наполнив комнату густым басом. — Как там люди свой кусок хлеба добывают?

Отец терпеливо разъяснял:

— Скажем, так. У тебя арба или соха, но нет быка. У меня бык, но нет ни арбы, ни сохи. Сложимся — у нас обоих уже что-то есть...

— Аферим, — хлопает по плечу отца кривой Сероп, поблескивая острым любопытным глазом.

— Вот такое товарищество по обработке земли в России называют ТОЗом,— продолжает отец.

— Аферим, — теперь уже хлопает по плечу отца Айрапет-даи, подмигнув Серопу. Сидели они рядом. Кто теперь в селе помнит об их короткой стычке! Между ними давно мир и согласие. Мир и согласие у Айрапета-даи и с Галустом. Им тоже между собой нечего делить. Всем им теперь хватало работы.

Даже Сепух, Колот Сепух с величайшим интере-

сом слушал этот разговор и задавал свои вопросы. Только дядя Гегам сидел чуть поодаль ото всех и не участвовал в беседе.

Комбед потянул его за рукав.

— Что же ты молчишь, Гегам? Не задаешь ни одного вопроса. Или этот разговор не имеет к тебе отношения?

— Что изменится, если я вставлю свое словечко? — пробормотал Гегам, стараясь не смотреть в сторону дяди Багдасара.

— Многое, — презрительно оборвал его Асатур. — На то и Советская власть, чтобы спрашивали, спорили, мечтали. И еще, чтобы, напугавшись змеи, не боялись веревки.

— Понятно, — заключил разговор дедушка Галуст. — Раз в России есть этот самый ТОЗ, пусть будет он и у нас. Плохой дорогой Россия нас не поведет.

6

Столетия могли бы пройти над Шушикендом, и все оставалось бы прежним. Молодые шушикендцы, старея, коротали бы на шенамече свои вечера, пробавляясь баснями, которыми пробавлялись их отцы, деды. Появлялись бы новые остряки и балагуры — иначе как бы мы жили, не скрасив свою в общем скудную жизнь? Были бы и свои всепомнящие старожилы, повествующие нам о героях, которые в единоборстве с самым страшным злом побеждали его — иначе как бы мы шли вперед, не черпая в прошлом силы и надежды?

Будто те же шушикендцы. Тот же хлеб в домах — у кого с половой наполовину, а у кого пшеничный, белый. Да еще сыр к нему, мацун. А у кого ни того, ни другого, ни третьего. Перебивайся, как можешь.

Все будто бы привычно, все обыкновенно. Но вслушайтесь в нескончаемый разговор, который ведется на шенамече под вечер, и вы услышите совсем другие слова.

— Вах-вах, что пишут! — говорит какой-нибудь грамотей, держа в руках газету. — На Дальнем Востоке прогнали банду казачьего есаула Семенова.

По шапке дали Калмыкову, которого подослали к нам японцы. В России теперь этот самый ТОЗ.

— На чужой лошади не наездишься!

— Какая же она нам чужая, Россия? Поройся, поройся в голове, милейший, если она у тебя еще не совсем высохла от старости. Сколько раз спасала Россия нас от верной гибели!

— Да я не о том. С чего ты взял? Мы тем и живы, что с нами Россия. В доме соли нет, сахара нет, спичек, а ты про есаула Семенова. Какой от этого нам прок?

— Вай, вай, совсем выжил старик из ума. На коне сидит и коня же ищет. Ежели у нас такая сила — интервентов четырнадцати держав одолели, — считай, что мы уже не малые дети. Нас не согнешь. Взрослыми стали. Стало быть, и соль твоя будет и сахар. Да в придачу, глядишь, машина какая-нибудь на помощь придет, облегчит наш труд. Нет, старина, видать, плохо голова соображать стала. Она даже запамятовала нашу старинную поговорку: если источник чист, вода и в низовьях прозрачна...

В хоре голосов я слышу Асатура. Конечно, он поносит дядю Багдасара. Дядя Багдасар — это его пунктик.

Однако я заметил: каких бы там обидных слов ни наговорил комбед Асатур дяде в глаза и за глаза, от меня этого не скроешь, вижу, чувствую всем существом: переигрывает комбед в своей ненависти к дяде. Где-то в глубине души он даже уважает его. Не то что какого-нибудь Бадунца Аршака или его брата Абела, которых он видеть не может.

И я знаю, с каких пор он стал относиться к дяде с уважением: после того, как тот, первым откликнувшись на призыв, сдал в фонд голодающему Баку два мешка муки...

В разговоре с отцом Ишханом комбед часто жаловался:

— Режет он меня, брат твой, своей добротой. Знаю, с хитриной эта доброта, но она, проклятая, как и лесть, липнет, лезет в душу, размягчает ее.

Отец отмахивался:

— Поступай, как знаешь. Я тебе в этом не советчик...

● ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

1

Контора сельсовета, одна из комнат бывшей канцелярии, всегда полна народу. Особенно по вечерам. Шенамеч как бы переместился сюда. Старики чинно усаживались на длинных скамейках, расставленных вдоль стен, нещадно курили. И говорили все разом. Спорили, кричали, ругались.

— Так дело не пойдет, Сельсовет,— начинал кто-нибудь из стариков, густо дымя.— Как можно допустить, чтобы Шушикенд отстал от какого-нибудь Автараноца? Кто мы такие, я вас спрашиваю? Шушикендцы или не шушикендцы? Мужчины или не мужчины? Не забывайте, что мы живем при Советах, нас одинаково греет солнце. И будет нам трижды стыдно, если у нас не будет так, как у всех. Если будем первыми с хвоста. Нет, Сельсовет, не с той стороны мы погоняем осла...

«Сельсовет», как вы уже догадались,— это дядя Асатур. Такова его новая кличка. Правда, осталась и «Комбед». Но к последней теперь прибегали, когда нужно было уколоть, поддеть за какие-нибудь промахи.

«Не с той стороны прогоняем осла», как и выражение «так дело не пойдет» было излюбленным присловием стариков, которое перекочевало и к молодым.

— Нет, Сельсовет, так дело не пойдет,— продолжал сетовать все тот же старик.— Не с той стороны прогоняем осла. Не с той...

И после такой длинной тирады выяснялось, что школа до сих пор не имеет нового глобуса. Старый износился, суша смешалась на нем с водой, а этого допустить нельзя, не при Николае же живем, дети засмеют нас.

Шушикендцы — заядлые курильщики. Присутствующие прибавляли дыму от своих трубок и обрушивали на голову председателя новый поток негодований, не преминув при этом заметить: «Так дело не пойдет, Сельсовет», отмечали еще какой- нибудь недостаток, требуя устранить его без промедления.

2

Не успел новый папа, как говорится, перевести дух, передохнуть с длинной дороги, по которой он шел, добираясь домой ни мало ни много десять лет с хвостиком, как власти дознались о нем, вызвали в район. Оттуда он вернулся председателем РИКа. Что такое РИК, с чем его едят, я пока не знаю. Не знают и многие шушикендцы постарше меня. Но по тому, как взрослые, видавшие виды шушикендцы, прослышав об этом, цокали языком и горделиво поглаживали усы, я понял: отец теперь важная птица. Важнее даже комбеда Асатура, который уже не комбед, а председатель сельсовета. Комитет бедноты отменили, что ли.

В неделю раз, а то и два отец приезжал домой. В такие дни у нас в доме хоть топор вешай — стоит крутой дым. И кого только не носило сюда! Седобородые старцы, не выпуская изо рта трубок, глаз не спускали с отца. И молодые тоже. Они хорошо знали прошлое отца, все легенды вокруг его имени, от смущения называли его то дядей, то кери[1].

А притащились они сюда, яснее ясного, чтобы выведать у отца, какие еще новости из России, какие блага она еще готовит,— пусть не оскудеет в веках ее

---

[1] Кери — дядя (почтительное обращение).

мощная, добрая рука. Еще о многом, многом можно потолковать с человеком, которого поставили у власти Все это так. Но мы-то знаем наших шушикендцев — они пришли сюда, уверяю, прежде всего, чтобы подивиться на своего односельчанина, который всему району голова...

Приходил и комбед Асатур. Чур, не комбед, а председатель сельсовета. Являлся он раньше всех и уходил последним. Кто в Шушикенде не знает Асатура, про его самообложение, про наган, который на всякий случай торчит на поясе со шнурком вдоль бедра. Сидит тихий, кроткий, совсем не похожий на себя. Даже наган с длинным шнурком не производит никакого впечатления. Дядя Асатур при отце совсем не то, что без него. Сидит, молчит, весь обратившись в слух. И светится, светится каким-то хорошим светом, освещающим очень часто небритое рыжее лицо.

Вот они сидят друг против друга, мой отец и дядя Асатур. В сумраке коптилки глаза их блестят. Им всегда есть о чем поговорить. А то молчат, будто на спор: кто кого перемолчит!

Я любил, пристроившись где-нибудь в этой шумной накуренной комнате, прислушиваться к беседе взрослых, стараясь уловить каждый звук.

Особенно хорошо было, когда удавалось услышать рассказы отца про его партизанскую жизнь. И это случалось в поздний час, когда шушикендцы, подивившись на знатного земляка, уходили, когда дядя Асатур оставался в комнате один и задерживался чуть ли не до петухов.

— Эх, бывало, вокруг тебя бушует метель, ледяной ветер пронизывает все тело, а ты сидишь у костра в обнимку с винтовкой и до зорьки мечтаешь...

— О чем, помнишь? — выспрашивает комбед, восхищенно и преданно заглядывая в глаза отцу.

Никто в Шушикенде, наверное, не знает, каким делается у бывшего комбеда лицо, когда он разговаривает с отцом.

— Помню, как же такое забудешь? — отвечает отец.— Обо всем. Какая она будет, наша послевоенная жизнь, когда интервентов прогоним, их приспешников, разных там семеновых, калмыковых. Кто только не побывал тогда в Сибири!

— А про красоту? — допытывался Асатур.— Думал ли ты, Ишхан, про красоту?

Жаль, за столом нет мамы. Папе не с кем переглянуться при напоминании о красоте.

Но на этот раз отец не сразу ответил.

— Про красоту? — задумался он.— Как же! И про то была думка. Про свою жизнь. Дождется Варсеник меня? Кого она родила? Ведь я даже не знал, кто у меня, сын или дочь?

И вспомнилось мне, как совсем недавно в разговоре с Армо я назвал папу сухим и черствым. Мне стыдно за то, что я так несправедливо отозвался о нем.

3

Предложение об организации ТОЗа, с таким энтузиазмом поддержанное почтенными людьми Шушикенда, не возымело должного успеха: в товарищество записалось всего несколько человек, и то такие, что имена их лучше не называть. Они вам ничего не скажут. Впрочем, могу пересчитать их по пальцам. Это Колот Сепух, который пока известен тем, что делал надгробные камни для живых людей, искусно выбивая на них год рождения, оставив место для другой, печальной, даты; любитель похорон и застольных поминальных гостов, обладатель жирных усов Карапет; кривой Сероп, тоже пока не снискавший себе особого уважения шушикендцев, и даже патриарх Галуст, так торжественно высказавшийся за ТОЗ, прислал в товарищество не старшего сына, работягу Сергея, во дворе которого шевелилась всякая живность, не Вардана, умеющего, как говорят, из камня выжать воду, а самого младшего, Геворга, непутевого лоботряса, выдав ему в руки лопату и кирку.

Асатур несколько раз перечел имена записавшихся, почесал затылок.

— Ничего себе компания. От скуки подохнешь. И все-таки начнем. Жизнь подскажет, как дальше нам быть. Лиха беда — начало...

Когда началась весенняя пахота, Асатур совсем растерялся. У ТОЗа не оказалось ни одной сохи, не то что плуга. А тягла — две нетели, стельная корова и

пара быков. Кое-как добыли две сохи, в одну запрягли быков, в другую — нетелей. К ярму нетелей приспособили веревку, конец захлестнули за шею стельной коровы, чтобы она помогла тянуть соху, но потом пожалели корову, освободили от непосильной работы. Последний месяц донашивала она приплод — еле-еле таскала большой живот.

Земля попалась каменистая, давно не паханная, твердая. Даже быкам нелегко было тянуть соху, не то что нетелям. За два дня поцарапали немного пожни — и вся работа. Надобно сказать и о работниках. Любитель похорон и поминок Карапет, к чести его будь сказано, работал на совесть. Это он за короткое время смастерил две сохи, сам наварил железные башмачки к ним, но браться за рукоять сохи не решался. Отродясь не пахал. То же самое Колот Сепух. Вырыть могилу для покойника, выбить на надгробном камне печальные даты,— лучшего мастера не ищи, а вот с сохой не ладил. Лоботряс Геворг, сын Галуста, решил было удариться по хозяйственной части, но его вовремя пресекли. Стряпать, кормить людей принялась Гюли-Биби, жена Серопа, и здоровенный Геворг, вздохнув, взялся за кирку.

Асатур был доволен и им. День за днем парень так втянулся в дело, так стала танцевать кирка в его руках, что просто любо было смотреть. В общем попались неплохие люди, но работа двигалась медленно, киркой и лопатой много не сделаешь. Не было и бороны, чтобы после вспашки и посева разровнять борозды, разрыхлить землю.

А тут еще разные смешинки стали пускать в адрес ТОЗа, технику ее высмеивать, в оровелах честить стали бедняг. Особенно доставалось Колоту Сепуху и лоботрясу Геворгу, хотя последний теперь уже и не лоботряс. Даже трудяге Серопу досталось. Асатуру тоже. За всякие обиды. Только и долетели куплеты, смысл которых был приблизительно такой: «Семеро одну соломинку поднимают», «Двое пашут, семеро руками машут»...

И кто же, вы думаете, хлестал их злыми оровелами? Ваш покорный слуга Арустамян Тигран, или, как меня называют в селе, верхолаз Тик. Вы же знаете, я умею при случае сочинять оровелы.

Участок, который достался нам после раздела земли, приходился рядом с делянкой ТОЗа. Мы пахали плугом, в который были впряжены три пары быков. Неподалеку от нас хлопотали Бадунцы. У них целых два плуга. За одним тащился, держась за чапыги, Армо, с трудом вытаскивая ноги из-под переворачиваемых лемехом толстых слоев земли, явно не справляясь с непосильной для его возраста работой.

Армо? — удивитесь вы.— Как же так? Красный партизан, дружил с Шаэном и Арфо, пришла Советская власть, а он все батрачит у того же Бадунца Аршака?

А произошло это вот почему. Нежданно-негаданно пропала корова Армо — кормилица всего дома, событие, скажу вам, потрясшее всех честных людей Шушикенда. Мне больно в этом признаваться, но что поделаешь! Значит, еще не перевелись в Шушикенде недобрые люди.

Всего час назад люди видели: паслась корова недалеко от кладбища. И вдруг ее не стало, словно сквозь землю провалилась. Поиски ничего не дали — волк ли разорвал ее, угнал ли кто, ничего толком нельзя было сказать. Погоревали-погоревали в доме, и снова Армо пошел к прежнему хозяину в работники. Вся история.

День только начинался, но я успел так войти в азарт, посылая соседям свои оровелы, что не заметил, как возле нас появился Асатур. Жестом руки он велел остановить быков. За плугом, держась за чапыги, шел по борозде дядя Багдасар. Мы остановились.

— Уступи нам пару быков,— предложил Асатур.— Нетели отбились от рук — не тянут.

Дядя Багдасар, всегда вежливый, услужливый, обходительный в разговоре с Асатуром, на этот раз криво усмехнулся:

— А может, все три пары заберешь? Вместе с плугом? Как-никак техника, не то что кирка и лопата. Зачем так скромно: пару быков?

Я с удивлением посмотрел на дядю, ставшего неожиданно словоохотливым.

Асатур хмуро буркнул:

— Надо будет, и плуг заберем. А пока пару быков. Не задерживайте. Работа стоит.

— Ну что ж, забирайте!

Дядя Багдасар велел освободить от плуга первую пару быков. Потом, как бы между прочим, сказал:

— Товарищ комбед. Теперь ведь у вас такой советчик, как председатель РИКа Ишхан Арустамян, он все законы вдоль и поперек знает, так не говорил ли он вам, что время реквизиции давно прошло? По какому праву вы у нас уводите быков?

— Права такого я не имею,— замялся Асатур.— Но Ишхан Арустамян как будто братом вам приходится. По просьбе вашего брата, а не председателя РИКа я и делаю.

— Уводите. Я это к слову сказал,— буркнул дядя.— Мы свой хлеб тоже не затылком едим. Читаем те же газеты, которые и вы читаете. Какой же это нэп, если снова притесняете нас?

— Я, кажется, сказал все,— хмуро, глядя себе под ноги, буркнул Асатур.

— Ведите, ведите. Не нами придумана поговорка: и комар лошадь свалит, если волк пособит.

4

Нет, право, не понимаю, почему дядя вдруг так переменился? Не пойму и Асатура, которого тоже словно подменили. При разговоре с дядей он уже не прибегает к сильным выражениям, как раньше это делал. Давно не слышу его колких, язвительных поговорок, нацеленных на дядю Багдасара, вроде: «Волк каждый год линяет, да обычая не меняет», «Не та собака кусает, что лает, а та, что молчит»...

Не легко Асатуру, ей-же-ей, не легко. Подумать только украли корову у Армо, а уже кричат на беднягу:

— Куда же ты смотришь, Сельсовет? Славу богу, не под Николаем живем. Вору не укрыться под крылышком пристава. Не поднять же из могилы покойного Тадевоса, чтобы взыскать с него. С вора и спрос.

Какой-нибудь другой недостаток — опять Асатура за грудки. Нет в школе глобуса или какой-нибудь ерунды, председатель сельсовета отвечай. Теперь этот ТОЗ!

— Так дело не пойдет, Сельсовет! — кричали на Асатура, перебивая друг друга.— Сельсовет ты или не Сельсовет? Не с той стороны прогоняем осла. ТОЗ — это, может быть, для России хорошо, но нам оно не подходит. Какая у нас пахотная земля? Поля-террасы? А техника какая? Кирка да лопата? Нетелей мобилизовали, стельных коров. Не годится все это.

— Неправильные слова, Сельсовет,— возражали другие.— Позабыли, как наши отцы и деды всем миром строили дома для вдов и неимущих, как они пробивали дороги через перевалы и склоны гор. Как перекидывали каменные мосты через реки. Тоже всем миром...

— Не годится, не годится, дед,— тут уже шумели те, которые помоложе.— ТОЗ, а вернее сказать, ТСОЗ, что означает товарищество по совместной обработке земли, новая советская форма владения землей — и тут же какие-то дедовские и прадедовские приемы! Мы готовы вступить в товарищество, но чтоб и техника была и кое-какая скотина. Киркой и лопатой не посеешь и не пожнешь. Весь мир знает, как мы Деникина прогнали, Колчака, есаулов разных, а тут — лопаты. Не согласны. Пусть дадут нам технику. На то у нас и Советская власть, чтобы мы спину разогнули.

Но, проспорив всю ночь, утром все же тянулись в поля, посмотреть, что получается с этим ТОЗом, как у него идет работа.

Шли молодые и старые. Смотрели поля-террасы, созданные руками товарищества, новый разбитый сад на одной или двух таких террасах. Смотрели строго, цокали языком. Смотрел на все эти новшества, цокал языком и мой отец, Ишхан Арустамян, который всегда находил время, чтобы полюбоваться тем, что пришло в Шушикенд.

И какова была общая радость на селе, когда через некоторое время в товарищество пришли еще несколько молодых парней да два почтенных старца со всем семейством — Чопур Григор и небезызвестный возница Багир. Пришел проситься в товарищество и такой рассудительный, такой рачительный хозяин, как мой родственник дядя Бегляр, прихватив с собою пару быков с арбой, с железным плугом да с осликом в придачу. Надо полагать, если такой человек, как Бег-

ляр, который, как вы уже знаете, зря постромки не порвет, на мокрое место не сядет, пришел проситься в товарищество, можешь папаху носить на макушке, считай — на правильном пути этот самый ТОЗ.

Так или иначе, товарищество росло, а техники и скотины не очень прибавлялось, все-таки шли больше бедняки, и Сельсовет Асатур снова вынужден был кое у кого реквизировать рабочий скот, инвентарь. Не обошлось, конечно, и без нагана. Особенно когда пришлось попросить от имени сельсовета у братьев Бадунцев, Аршака и Абела. Аршак еще куда ни шло, с ним еще столковаться по-хорошему можно. Не то с Абелом.

— Очень жалею, что ты мне не попался под руку, когда мы гонялись за тобой,— кричал он на Асатура.— Ты теперь не очень размахался бы наганом. Сгнил бы уже, седьмой саван донашивал бы на том свете.

— Ты еще смеешь, контра, вспоминать о тех днях? — кричал, в свою очередь, комбед, наставив дуло своего нагана прямо в лоб Абела.— А может, теперь ты погуляешь на том свете, дашнакское отродье!

В конце концов были уступлены быки. Инвентарь тоже.

Дядя Багдасар в этот день лишних быков сам отправил без напоминаний и просьбы Сельсовета.

5

Вы спросите, а где Гегам? Как он живет без кашля? Тот Гегам, который был смирнее смирного и был большой хитрец. Думаете, в товариществе? Ничего похожего. Он снова пошел в работники к дяде Багдасару.

Впрочем, Гегам уже побывал там, в товариществе. До нэпа, когда всех кулаков к ногтю прижали. Но как только полегчало, дядя Багдасар снова пошел в гору, и Гегам немедленно переметнулся к нему.

Дядя Асатур, который время от времени забывал, что он уже не комбед, а председатель сельсовета, словно на суде допрашивал Гегама, когда тот драпанул из товарищества.

— У вас я не могу работать. Не по специальности,— оправдывался тот.

— А какая у тебя специальность, сладкоуст Гегам? Кашлять? Да, действительно, у нас кашлем не отыграешься, сладкими словами тоже.

С некоторых пор дядя Асатур называл Гегама не иначе как сладкоуст. В придачу к тем прозвищам, какие уже были.

— А почему снова к Багдасару в батраки пошел? — помолчав немного, сурово и брезгливо спросил Асатур.— Ты же на каждом перекрестке твердил: чужой мед горек.

— Мало ли что мы тогда говорили.

Разговор этот происходил в подвале дяди Багдасара, куда по пути забежал дядя Асатур, чтобы отчитать беглеца. Я тоже в подвале, у меня здесь свои дела — забиваю затычки в бочках. Впрочем, эту работу придумал я сам, не торчать же без дела при взрослых, когда они разговаривают. Я не соглядатай какой-нибудь. Не моя вина, если взрослые при мне ссорятся.

— А ты, сладкоуст, не дурак. Совсем не дурак,— сквозь грохот доносится до меня голос Асатура.— Я-то думал, что ты только под птиц можешь подлаживаться, подсвистывать им. Ты просто молодец. Уж не про тебя ли, братец, сказано: «Лисичка всегда сытнее волка живет»?

Не желая ссориться с Асатуром, глотая все его колкие слова, Гегам все заискивал перед ним, искал примирения.

— Все это пустое, Асатур-джан. Старая погудка: рыба ищет, где глубже, человек — где ему лучше. Стоит ли из-за этого ссориться? Давай лучше пропустим по стопке. Давно мы с тобой не пили.

По всему видать, дядя Гегам до этого перегрузился. Никогда раньше я не видел его пьяным и во все глаза смотрел на него. Он и во хмелю был ласков и забавен.

— Не брезгуй со мной выпить, комбед Асатур, или как, бишь, тебя сейчас называют, Сельсовет. Постарайся и мою душу постигнуть. Знаешь же поговорку: кто сказал: спрыгни, у того нога не сломалась, у спрыгнувшего сломалась. Не хочу ломать себе ногу — и все тут. Пей же, ну! Разве я какой-нибудь кон-

тра? Но что поделаешь, если вода по старому руслу бежит...

Асатур отстранил от себя протянутый штоф с вином. Лицо его еще больше посуровело.

— Да разве ты человек, чтобы я еще с тобой пил? Кусочник ты, лисичка. Ты и пятый номер вытащил на всякий случай. Так это или не так, Кашель?

И, не попрощавшись, уходит.

Где вы, Нерсик и Персик? Как я хотел бы, чтобы этот разговор дяди Асатура с вашим отцом вы услышали.

Я перестаю бить по затычкам, мне теперь это не нужно. Подхожу к Гегаму.

— Не угодил,— озабоченно говорит он мне.— Кашель мой ему не понравился. Ну и пусть. Придет сам председатель РИКа или даже повыше, и им напомню. Баста. Наугощались!

Я слушаю Гегама, разинув рот. Неужели все это мне только померещилось? Эх ты, сладкоуст! Кусочник!

Как-то вечером, в очередной приезд отца, дядя Асатур, по обыкновению заглянув к нам, рассказал о своем разговоре с Гегамом.

Отец весело рассмеялся. Я никогда раньше не видел, чтобы он так в голос смеялся.

— Осла тянули в рай — уши оторвали, оттаскивали назад — хвост ободрали,— сквозь смех сказал отец.— Бесхвостый твой Гегам.

6

Иногда, просыпаясь среди ночи, я вижу дядю Асатура и отца все еще за разговором. Они теперь часто препирались. Отец доказывал, что новая работа Асатура должна резко отличаться от прежней. Тогда он принуждал, а сейчас его дело — убеждать. Подумать только: комбед Асатур, привыкший по каждому поводу хвататься за кобуру, должен теперь увещевать, уговаривать, просить — так сказать, убеждать. То есть поставить себя с головы на ноги или наоборот.

Однажды я услышал приглушенный разговор. Отец долго и подробно расспрашивал Асатура о последних днях Шаумяна.

Прикрученный огонек лампы тускло освещал лица беседующих.

— Что сказать тебе, Ишхан? Держались до последнего. Не было хлеба, не было воды, патронов. На улицах валялись околевшие от бескормицы лошади со вздутыми животами, а подобрать их было некому. Мертвый был город, а не сдавался.

Я слушал дядю Асатура, кусая палец, чтобы не разрыдаться. От боли. От жалости. Я почти явственно видел Баку, который в моем воображении как две капли воды был похож на Шушу. Видел даже баррикады посреди улицы.

Дядя Асатур долго молчит. Молчит и отец, сжав на столе могучие кулаки.

— Думка одна сидит у меня в голове, как червь гложет сердце,— снова заговорил дядя Асатур, понизив голос.— Сказывают люди, что все могло быть иначе, если бы не один человек, важный начальник. Будто Ленин послал войско помочь Шаумяну, а тот начальник преградил ему путь, повернул войско, сказав: «Пусть сдают Баку. Мы его потом — через год, через два возьмем!» Может, ты знаешь, Ишхан, кто этот человек, поступивший так? Его имя?

— Нет, Асатур,— не сразу ответил отец.— Не знаю такого человека. Имени его тоже.

— Вот бы знать, кто это был,— говорит Асатур с гневом.— И не затем, чтобы душу из него вытрясти, а так, подойти, приложить ухо к груди, послушать, есть ли у него сердце.

Во дворе запели петухи.

— Давай кончать,— тихо предложил отец.— Я знаю, наш шельмец не спит, наверно, слышит нас.

— Пусть слушает,— с грустным отчаянием сказал Асатур, вставая.— Вырастет, может, ему удастся узнать имя этого человека, посмотреть на него нашими суровыми глазами.

7

Я теперь все чаще и чаще думаю о дяде Багдасаре, который вовсе не такой уж обирала, как это стараются втолковать мне не только слюнтяи вроде Нерсика или Персика — подумать только, нашлись судьи!—

как Сарик-Марик, с которым я вообще-то дружу, но и кое-кто из взрослых, в том числе и мой новый папа. Я уж не говорю о маме, которая без конца твердит: «Не может быть его правоты там, где есть вина перед людьми, где богатство нажито чужим трудом. Поймешь ли ты когда-нибудь это, Тигран?»

Маму я в счет не беру. Известно, она дядю не уважает из-за той пшеницы. Но папа? Как у него язык поворачивается?..

Я, конечно, теперь о дяде думаю уже не так, как раньше. У нас говорят: как ни заклеивай кувшин, если он дал трещину, вино все равно будет сочиться, утекать. Трещина эта есть. Из памяти не выходит, как дядя покупал у Мамеда в Малибайлу виноград, его подсчеты вслух. Да и пшеница, из-за которой мама до сих пор не разговаривает с дядей. Даже кашель Гегама. Ведь он тоже для дяди Багдасара старался, чтобы его улестить...

Но все не так просто с дядей Багдасаром. Даже Асатур не знает, что с ним делать.

— Он мне всю политику портит, твой брат,— жалуется он отцу.

— А что? Он что-нибудь натворил? — беспокоится отец.

— Да нет,— в голосе Асатура слышится отчаяние.— Уж лучше бы натворил, чем так. Был бы, ну, таким, как Бадунц Аршак или Абел.

Отец рассмеялся:

— Значит, не стандарт попался?

— Какой стандарт? — не понял Асатур.

— Ну, такой, как рисуют кулака на плакатах: с большим пузом, с острыми клыками и загребущими руками.

— Вот именно,— вздохнул Асатур.— Послушай, что произошло на днях. Ты мне все уши уже прожжужал — убеждай да убеждай. Вот я и собрал актив по душам поговорить. О мироедах шел разговор. А те слушают меня, перемигиваются: «Вай, вай, и как это земля держит такого мироеда, как Багдасар? Весь Шушикенд опивается его вином, и что-то не помним, чтобы он кому-нибудь разгрыз горло. Кончай лекцию, Сельсовет. Насовещались! Горло промочить хочется.

Может, составишь компанию? Мироед Багдасар неплохо умеет угощать...»

Отец снова рассмеялся.

— Ай-ай, какой несознательный мироед. Всю партийную линию твою портит.

— А что? Думаешь, легко? Ты им о захребетниках, как они сосут кровь,— они тебе щедрость Багдасара тычут в глаза.

Отец перестал смеяться.

— А знаешь, Багдасар не один такой, нестандартный. Есть у него и двойники. Манташев, например.

— И Манташев был такой? — удивился Асатур.

— Именно такой. Приходит однажды к Манташеву молодой человек, поет «Цицернак»[1]. Манташеву юноша понравился. «Голос у тебя есть. Из тебя выйдет хороший певец,— говорит он ему.— Приходи завтра, заключим контракт, поедешь учиться в Италию».

— И поехал?

— Поехал.

Асатур всплеснул руками.

— Неужто это правда, Ишхан?

— Чистая правда. Да ты погоди, послушай по порядку. Приходит в назначенный день юноша, а контракт уже готов. Читает его вдоль и поперек — глазам своим не верит. В этом самом контракте перечислены все обязательства, какие берет на себя Манташев, и ни одного пункта об обязанностях юноши. «Чем же я должен отблагодарить вас, господин Манташев?» — лепечет ошеломленный молодой человек. «Чем отблагодарить? Хорошей учебой. Чтобы по возвращении, где бы ты ни был, когда мне понадобится, спел «Цицернак».

Асатур, расстроившись пуще прежнего, схватился за голову.

— Разъяснил, спасибо. Нет, с такими примерами лучше сам займись убеждением. Видно, эта работа не по мне!

— Да, погоди, выслушай до конца,— перебил его отец. Помолчал немного, сощурился, в слабом свете лампы я снова увидел его лицо, седину, густо покрывшую щеки. Спросил: — Был ли в городах где-нибудь на толкучках?

---

[1] «Цицернак» — армянская народная песня «Ласточка».

— Ну, был,— равнодушно буркнул Асатур.

— Видел, как там придирчивые покупатели, прежде чем купить яйцо, пропускают его через кольцо?

— Ну, видел,— снова без интереса подтвердил Асатур.

— Как ты думаешь? Яйцо, которое проходит в кольцо, перестает быть яйцом?

Асатур сразу засиял.

— Ну и хитрец же ты, Ишхан. Тебе в области командовать, а не в районе прозябать. Спасибо тебе. Ты мне мозги хорошенько выветрил.

А у меня от этого разговора как-то сердце сжалось. Я понял, они говорили о дяде Багдасаре.

«И чего они так привязались к нему?» — с огорчением думал я, повернувшись на другой бок.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

1

Этого не скроешь, нет, нэп взбодрил богачей. Лавочник Аванесбек, исчезнувший из села, снова появился в Шушикенде. Рядом с сельпо, где теперь решительно ничего нельзя купить, он открыл свою лавку. Навез мануфактуры, керосина, конфет, сахара, мелких хозяйственных и скобяных товаров и бойко торговал. Даже вывеску снова повесил над лавкой. Ту, которая вместе с ним исчезла, порядком испортив вид нашего шенамеча. И Мгер, его сын, когда-то гроза всего околотка, вернулся, правда, похудевшим и с кислиной. Но через месяц-другой Мгер на глазах снова стал Мгером. Приоделся, приобулся, на верхней его губе появился темный пушок. Теперь он уже не атаман, но держится высокомерно и заносчиво. От всех отворачивает нос.

Не узнать и нашего Бегляра, моего родственника. Правда, он теперь в ТОЗе, им очень довольны, но это не помешало ему расширить собственное хозяйство. Во дворе появилась новая живность. Кур, индюшек и другой птицы уже не счесть. Стельную корову купил, вот-вот отелится, будет в доме вторая корова. Завел даже пса — с обрезанными ушами, злого-презлого; пес бросался на всех, громыхая цепью.

Даже дядя Багдасар как-то весь преобразился, осветился изнутри и первым делом вернул Гегама. Завел и еще двух батраков. Богатели и другие кулаки.

Глядя на все это, дядя Асатур день ото дня мрачнел. Даже с отцом моим был сдержан, сух, не смотрел уже на него, как прежде, преданными глазами.

Не знаю, как они вообще уживались — Сельсовет Асатур, любящий при случае припугнуть наганом, и мой отец — председатель РИКа, ратующий только за убеждение. Особенно после того, как дядю Асатура вызвали в район, предложили сдать наган. Правда, наган все-таки оставили, он был именной, сам командир отряда, в котором Асатур сражался за коммуну, сам Петров подарил ему...

— Не с той стороны, как говорят наши старики, прогоняем осла. Не с той! — кричал дядя Асатур, беря отца за грудки.— Продались кулакам, делу революции изменили. Наган — к черту! Комитет бедноты — тоже! Мешаем мироеду развернуть плечи? И это ты называешь новой экономической политикой? А как с этим: «Вставай, проклятьем заклейменный, весь мир голодных и рабов!» — тоже отменили?

И с размаху так стучал кулаком по столу, что низко прикрученный огонек чуть не выскакивал из лампы.

— Никто ничего не отменял, пойми, голова! — теперь уже повышал голос отец.— Война разорила страну. Всеми мерами надо ее поднять. Залечим раны и пойдем вперед. По-новому станем обрабатывать землю, по-новому строить жизнь. А это такая сила — союз рабочих и крестьян,— что всех победит и все построит.

Пока отец говорил, Комбед выкурил две толстые козьи ножки, прикурив одну от другой.

— А Ленин об этом вашем нэпе знает? — давясь дымом, зло сверкая в темноте глазами, оборвал отца дядя Асатур.

— Факт! От Ленина и идет эта линия.

— Сажать на наши шеи вчерашних захребетников — линия Ленина? Ты хоть не смешил бы людей, Ишхан.

Теперь даже отец, до этого не куривший, неумело, просыпая махорку, соорудил себе козью ножку. Спорщики еще долго сквозь крутой синий дым поглядывают друг на друга.

— Если Ленин пошел на такое, Асатур, значит, надо. И грош нам цена, если мы этого не поймем и не сделаем. И без нагана. Без окрика...

— Ну, если Ленин...— начинает сдаваться Асатур.

И каково было мне после всего этого слышать дядю Гегама, его по-прежнему сахаром истекающий голос:

— Стукните еще раз по этой веточке, солнышко незакатное. Не все ягоды, парон, изволили сбить с нее...

Но, ссорясь с Асатуром, возражая ему, отец сам день ото дня все больше мрачнел.

Сегодня весь вечер за чаем дядя Багдасар посасывал влажные усы. Видно, он снова схлестнулся с отцом. Отец тоже был сердит.

Ужин прошел в гнетущем молчании. Наскоро поев, мы легли спать. Дядя Багдасар и отец продолжали сидеть, не притронувшись к еде. Через открытую дверь я слышал, как они до полуночи разговаривали.

Отец мой был на десять лет моложе дяди, чтил и уважал брата. Никогда не говорил с ним повышенным тоном, а сегодня словно его подменили. До меня доносился раздраженный голос:

— Сам погряз в мелкособственнической тине и детей за собой тащить! Своего собственного сына я иногда слышать не могу, уши вянут от его слов. Для того мы царю дали по шапке, чтобы новые захребетники появились?

Я натягиваю одеяло на голову. Я не хочу слышать этих несправедливых слов. Как он может говорить так с человеком, который все эти годы был мне отцом? Меня жжет стыд, и я плачу от боли, от обиды за дядю. Вот и поблагодарили тебя за все, дядя!

2

Не успели в Шушикенде прийти в себя после исчезновения коровы Тавад-апера, как свалилась на голову новая беда. Бадунц Аршак избил до крови Артавазда, своего чабана. Артавазд попался-таки на своем гостеприимстве!

Вечером я побежал к Артавазду домой. Нет, лучше бы у меня сломалась нога, не пошел бы к Артаваз-

ду, не увидел бы того, что увидел. Изверг, что он с ним сделал!

На куче тряпья, на продавленной тахте, лежал Артавазд без движения. Без признаков жизни. Без обычной приветливой улыбки на лице. Где там! Лица-то не было на нем. Одни кровоподтеки.

Только сейчас, когда Артавазд был без бурки, накинутой на плечи, и без посоха, лежал на тахте, скрючившись от боли, я понял, что он был, в сущности, таким же подростком, как и мы все, чуть постарше Армо.

Увидев меня, Артавазд с трудом выжал на своих пересохших разбитых губах какое-то подобие улыбки:

— Вот и попировали мы с тобой, Тик!

Я выбежал, чтобы не расплакаться на его глазах.

В этот день в накуренной комнате председателя сельсовета, где собралась толпа шушикендцев, не унимались голоса. Здесь был и мой отец — должно быть, он приехал, узнав о случившемся.

— Товарищ Сельсовет и ты, наш голова, так дело не пойдет! — сказал один из стариков. — Нэп нэпом, но мы, кажется, при Советской власти живем и всяким мироедам не позволим поднимать руку на нашего брата. Это тебе не николаевское время.

— Правильно! — ответил отец и велел немедленно вызвать Бадунца Аршака.

Ответа пришлось ждать недолго. Секретарь сельсовета, кареглазый мальчуган, по всему видать, влюбленный в моего отца и во все легенды, ходившие вокруг его имени, вернулся, понуро опустив голову.

— Дядя Ишхан! Аршак не идет. Он сказал, что ему в сельсовете нечего делать, а если он им нужен, пусть сами придут к нему.

Асатур, присутствовавший при этом разговоре, побледнел, почему-то пощупал кобуру, из которой торчала ручка нагана со шнурком, зацепленным за широкий пояс.

Отец улыбнулся.

— Ну что ж! Когда Магомет не идет к горе, гора идет к Магомету, — сказал он и вышел из-за стола.

Асатур тоже встал.

— А эту игрушку дай мне на хранение, — сказал

ему отец, показывая на наган. — Думаю, она тебе не понадобится.

Дядя Асатур недовольно поморщился, но покорно вытащил наган, развязав шнур. Прежде чем спрятать наган в карман, отец все же проверил барабан: во всех ли гнездах сидят патроны?

У дома Бадунца Аршака, прослышав об истории с Артаваздом, уже столпились люди. Среди них толкался и я.

Толпа расступилась, пропуская вперед отца и дядю Асатура. На крыльце каменной лестницы с плохо оструганными деревянными перилами их встретил Абел с охотничьим ружьем в руках.

— Вы насчет Артавазда? — поигрывая плечевым ремнем ружья, осведомился Абел.

— Об Артавазде будем говорить с тем, кто за него в ответе. Прочь с дороги! — оборвал его Асатур.

— Ну, если так будешь разговаривать, порога не переступишь, дорогой бывший комбед, — властно сказал Абел, наставив на дядю Асатура двуствольный дробовик. — Бадунц Аршак мне не чужой. Я не могу быть безучастным к его судьбе.

— Сказал, прочь с дороги! — крикнул в бешенстве Асатур, схватившись за пустую кобуру.

— Клянусь, я продырявлю брюхо всякому, кто переступит порог дома моего брата, — в свою очередь, огрызнулся Абел, положив толстый палец на спусковой крючок.

— Ты, кажется, забыл, с кем разговариваешь? — спокойно сказал отец Абелу. — И кто стоит перед тобой?

— А-а-а, и ты здесь, председатель РИКа? — Абел сделал вид, что только сейчас заметил отца. — И тебя беспокоят царапины на лице этого щенка, который обкрадывал брата, спаивал молоком весь шушикендский сброд? Конечно, соринка в чужом глазу всегда больше видна, чем сучок в своем. Что же ты притащился за карасем, когда щука под самым твоим носом гуляет? Или у Советов все решается по-родственному?

— Каждый получит свое, — перебил его отец и прошел вперед, заслонив собой Асатура. — А ружье свое убери. Я тебе такое ружье покажу, что имя собственного родителя забудешь!

Я услышал голос отца и не узнал его. Всегда тихий, глуховатый, он теперь был оглушающе громким, властным.

В толпе зашевелились, вытягивая головы, чтобы лучше видеть, что происходит на крыльце. Оцепенев от ужаса и любопытства, я тоже смотрел туда.

Абел был не из трусливых. Но он действительно забыл, кто стоит перед ним. Не только красный партизан, увенчанный славой в боях, но и забастовщик Ишхан, который фаэтон, запряженный двумя лошадьми, намертво пригвоздил на месте.

— Сын Авака, — крикнул, побагровев, Абел и наставил дуло ружья на отца, — не забывай, что я тоже ношу папаху на голове и еще ни перед кем не поджимал хвост!

— А теперь подожмешь, сволочь! — крикнул отец и, размахнувшись, так съездил по уху, что тот вместе с ружьем, переломив перила, слетел вниз, во двор, и только там грохнул выстрел, который был назначен отцу.

Тут уж, не выдержав, вмешались другие шушикендцы из тех, кто до сих пор был только зрителем. Вытащили из дому Аршака, скрутили обоим братьям руки, потащили в сельсовет, заперли в конюшне с окошечком, перехваченным железной решеткой.

3

Пока в сельсовете, нещадно дымя, обсуждали, как поступить с братьями Бадунцами, произошло еще одно событие, предрешившее их судьбу.

Оказывается, корову Тавад-апера украли тоже они, вернее, Абел. Это видел один из работников Абела, но сказать раньше не решался — боялся хозяина. Он повел людей, показал им рога и копыта, зарытые в погребе.

— Выслать их с семьями! Чтобы духу их в Шушикенде не было! — таково было решение общего схода села.

Приехали из района. Осмотрели избитого Артавазда. Покачали головами. Потом пошли во двор Абе-

ла, осмотрели рога и копыта, оставшиеся от коровы Тавад-апера. Сказали:

— Правильное решение. Выгоняйте!

Для исполнения решения схода из района прислали двух милиционеров. Отец открыл засов дверей конюшни, где сидели заключенные, велел братьям Бадунцам выйти во двор. Заключенные вышли.

Весь Шушикенд собрался на это зрелище. Отец прочел решение общего схода.

— Можете взять с собой, что хотите. Нам вашего ничего не нужно. Но прежде чем оставить село, рассчитайтесь с Тавад-апером за корову. Чтобы сегодня же пригнать к нему во двор корову. Дойную. Все! Теперь идите, собирайтесь. Чтобы завтра же вас здесь не было!

Так из Шушикенда еще задолго до раскулачивания выслали двух заядлых кулаков, и никто из односельчан не проронил о них и слезинки.

Я видел арбы, груженные домашним скарбом, медленно двигающиеся по узкой сельской улице. Видел скот, прогоняемый по тесной улочке, видел Аршака и Абела, присмиревших, сразу состарившихся, бредущих за своим скарбом, и не было в душе моей жалости к ним. Только когда случайно увидел в арбе растерянные рожицы Жирайра и Норайра, я отвернулся. Они-то были ни при чем.

4

Забегая вперед, хочу сказать несколько слов о судьбе дяди Багдасара, когда пришло раскулачивание. В то время мы уже жили в Баку.

Во время нэпа дядя Багдасар еще больше разбогател. В списках подлежащих раскулачиванию он значился первым. Его раскулачили, но не выслали. Дядя Багдасар переехал потом в Степанакерт, иногда приезжал к нам в гости в Баку.

Один из председателей колхоза, хорошо знавший дядю Багдасара, решил взять его и пристроить к какой-нибудь работе. Поговорил с ним по душам. А через год на небольшой плешинке среди тутовых деревьев раскинулся дивный огород, где росло все:

помидоры скороспелые и позднеспелые, огурцы, арбуз, дыня, тархун, даже кинза, мята и петрушка. И добился он такого обильного урожая простой хитростью. Родниковая вода, поступавшая в желоб, днем полностью расходовалась: выпивалась скотиной, вывозилась в бочках. Зато всю ночь, переполнив желоб, она маленькой струей уходила в сухую почву, пропадая зазряшно.

Вот этой ночной водой и воспользовался дядя Багдасар, ставший колхозным огородником. Он построил возле огорода бассейн, куда стекала вода, накапливаясь по капле, а потом использовал ее для полива. Наибольшее удивление вызывало то, что оазис не был огорожен высоким забором, а только небольшим рвом-канавкой, достаточной, чтобы скотина не могла переступить через нее. А от людей огородник не хоронился. Разве от плохих людей отгородишься забором? Вор и через колючую проволоку пройдет. В Шушикенде нет таких. А зачем честным лезть, если огородник сам одарит вас чем-нибудь из своего огорода?

Вот тут-то дядя Багдасар чуть не наскочил на большую неприятность. Председатель колхоза, строго поговорив с ним, наказал впредь не разбазаривать колхозное добро. Он даже предупредил:

— Это вам не ваши винные подвалы, где каждый мог угощаться. За это мы несем ответственность.

Дядя Багдасар улыбнулся:

— Думаете, я дурак был, что двери подвалов не закрывал? Закроешь, а какой-нибудь прощелыга пролезет в окно, с ертика спустится, пробьет гвоздем бочку, выпьет стакан, а вся бочка вытечет. Я подсчитал: за сезон в моих подвалах выпивали не больше двух бочек. Расход намного меньше, чем на содержание работника для охраны. То же самое здесь, — продолжал он. — Не дай жнецу пару огурчиков, немного тархуна на закуску, найдется такой, что заберется ночью в огород, сорвет один огурчик, а истопчет, погубит всю грядку.

Председатель был умный человек. Он внимательно выслушал дядю Багдасара, побарабанил пальцами по столу и сказал, махнув рукой:

— Поступай, как знаешь... Хитрый вы народ, кулаки...

5

По селу пронесся слух — гачак Асадулаев сдался РИКу и банду свою привел с собой. Слух этот принес Муртуза, с которым мы теперь опять каждый день встречаемся. После ухода дашнаков ничего нам за это не грозит. Дорога в Малибайлу давно открыта. Убрались и оттуда мусаватисты, почти одновременно с дашнаками. Там теперь все, как у нас.

Муртуза, шалопай мой отчаянный, кирва! Ты, конечно, добрую весть принес нам. За это тебе спасибо. Но знаешь ли ты, шельмец, как все это было? Лопнул бы от страха, как и я, если бы краешком глаза увидел. Сейчас нам много лет, нам не страшно иногда тряхнуть стариной. Вспомним же, дружище, еще одну историю в этом вчерашнем, уже немыслимо далеком дне.

Ишхану Арустамяну сообщили: в селе, находящемся далеко от районного центра, председатель сельсовета берет у крестьян взятки. Это было для тех лет чрезвычайным событием. Председатель РИКа немедля отправился в село расследовать жалобу. Он выехал ночью, верхом на коне, без охраны, — два-три человека при столкновении с бандитами все равно не защита, он не хотел рисковать их жизнью.

В лесу Арустамяна окликнули:

— Кто едет?

— Председатель РИКа. А кто осмеливается перерезать ему дорогу? — крикнул он в ответ и выхватил маузер.

— Ого! Я вижу, что с мужчиной имею дело. Спрячь свою игрушку, я иду к тебе.

С этими словами на середину дороги выехал человек в высокой папахе и небрежно накинутой на плечи бурке. Подъехав вплотную, он положил тяжелую руку на плечо Ишхана, заглянул ему в глаза.

Луна светила сквозь верхушки деревьев, и человек в бурке мог увидеть спокойный взгляд отца, готового вступить в бой.

— Председатель РИКа? Ишхан? Такая птица! Вот не думал, что у большевиков есть такие джигиты.

Человек в бурке смотрел на Ишхана, не скрывая восхищения.

— Вот что, — сказал он. — Поезжай своей дорогой. Я тебя не трону. Но чтобы в пути не тревожили другие, дам тебе своих ребят. Нас здесь каждая собака знает. Никто не посмеет близко подойти к тебе. Ну, с богом!

Арустамян спрятал маузер. Не успел он двинуться в путь, как его остановил новый окрик:

— Стой, Ишхан! Что это за кляча под тобой? Такому герою она не к лицу. Пересядь на моего коня, на обратном пути я верну тебе твоего.

На обратном пути, на том же месте, где они встретились, атаман вернул Арустамяну лошадь и сказал:

— До новой встречи! На всякий случай запомни мое имя — Асадулаев.

— Так вот каков ты, грозный хозяин лесов! — усмехнулся Ишхан.

Встреча в лесу произвела на отца неизгладимое впечатление. Однажды, как рассказывают, он работал ночью в своем кабинете. Вдруг снаружи раздался шорох, окно распахнулось, и в комнату влез здоровенный детина с двумя пистолетами за поясом.

— Узнаешь? — спросил он.

— Узнаю, — ответил отец и улыбнулся. — Я даже ждал тебя.

— Спасибо, председатель. Я тебе верю. Но я пришел не свою шкуру спасать. Если ты обещаешь никого из моих ребят не тронуть, отпустить их по-хорошему домой, все сорок моих джигитов сегодня придут, сложат оружие. Обещаешь?

Отец крепко пожал протянутую руку:

— Обещаю. Слово коммуниста.

— Хорошо, я верю твоему слову!

И Асадулаев положил на стол свои пистолеты. Следом за ним пришли, сложили оружие все сорок его сподвижников.

— Теперь слово за тобой, председатель,— тревожно вглядываясь в отца, сказал Асадулаев. — Скажи моим людям, что ты им обещал. Свои условия.

Отец вышел во двор, посмотрел на гору оружия, прошелся по рядам сдавшихся на милость джигитов, сказал:

— Берите оружие. Помогите очистить Карабах от бандитов, установить мир. Вот мои условия.

— Ты возвращаешь оружие бандитам? — вырвалось у Асадулаева.

— Забудьте навсегда, кем вы были вчера. Сегодня и отныне вы ополченцы народной милиции. Очистите Карабах, а там — по домам. Принимаете мои условия?

В ответ джигиты подбросили вверх шапки.

6

Это было так неожиданно, что я обомлел. Отец, мой новый папа, к которому я еще не привык, снял с меня штаны и выпорол ремнем.

За едой мы с Аванесом поспорили, и во время перебранки я нехорошо выругался. А тут, на грех, отец дома, вернулся из района. Вот тут-то он и взялся за ремень.

В нашем доме не знали крепких соленых слов, не знали и рукоприкладства. Я взвыл не от боли, нет, а от обиды, от стыда. Меня не могли успокоить. Сквозь слезы я выкрикивал:

— Старый папа! Давай бросим нового папу в хлев. Пусть там его лягает лошадь, укусит осел, забодает баран.

Я выдумывал все новые и новые наказания для отца, но месть моя на этом не кончилась.

Дядя Багдасар, обнимая меня, ласково журил:

— Вот не думал, что ты такой мстительный. Да успокойся же! Ну!

Но успокоиться-то как раз я не мог. Я продолжал плакать и сыпать наказаниями, одно другого злее, и не мог найти в них утешения.

Мы потом с отцом крепко сдружились. Никогда больше он не поднимал на меня руки, не наказывал, но до конца я так и не смог простить ему его рукоприкладства.

А пока свежа память о ремне, я полон нелюбви к новому невесть откуда взявшемуся папе. И как мне любить его, если из всех шушикендцев он избрал себе в друзья Асатура, Комбеда Асатура, который так и норовит разорить дядю Багдасара. И не только дядю Багдасара, но и меня. Ведь половина его богатства —

моя. Бумага на этот счет хранится в сундуке мамы. Какой же после этого он мне папа, если дружит с человеком, который разоряет его же сына? А может быть, новый папа, ты еще прикажешь мне не любить дядю? Он же голосовал за четвертый номер. За дашнаков. А ты с комбедом Асатуром заодно. Или, может, прикажешь распахнуть перед твоим комбедом двери наших подвалов. Заходи, мол, чувствуй себя как дома. Но я этого не сделаю. Не хочу. Кто он мне? Почему я должен кланяться ему, если он все принимает как должное и в грош не ставит ни нашей щедрости, ни нас самих? Зачем мне заискивать перед таким?

Но все это мелочи по сравнению с тем, что произошло через несколько дней.

Был разгар осени, к нашим давильням на арбах везли виноград. Возчиком одной арбы был я. Моя арба шла в самом хвосте. Впереди тянулось не меньше десяти арб, нагруженных большими корзинами с виноградом. На головной арбе был дядя.

Вдруг откуда ни возьмись на задке моей арбы появился Нерсик. Его двойник, Персик, шел следом, держась за задок арбы. Братья так улыбались мне, будто не было между нами ни ссор, ни размолвок, будто не вчера мы разругались с ними из-за Аванеса, из-за того, что они не хотели принимать его в свой отряд.

— Что вам надо? — спросил я холодно.

— Винограда хотим попробовать. Ты же теперь наш. Красный. Ты не должен ссориться с нами из-за того, что сына богача не принимаем в красные.

— Опять ты за свое, — не дал договорить я. — Виноград богача вам по вкусу, а сыну богача от ворот — поворот, не достоин быть в отряде. Какие вы все умные. А ну, проваливайте.

Я размахнулся и щелкнул над головами братьев длинной плетью. Нерсика словно ветром сдуло с задка арбы. Персик тоже отстал. Некоторое время они шли за арбой, купаясь в ее пыли. Потом поравнялись со мною. Нерсик все молчал, прикусив губу, а Персик, не скрывая своего разыгравшегося аппетита, заискивающе смотрел то на меня, то на большие корзины, из которых заманчиво выглядывали темные кисти срезанного винограда, припудренного дорожной пылью.

— Значит, из-за пустяка зло держишь на нас? — приговаривал он.— Не даешь винограда? А еще сын красного, которого богачи чуть не повесили.

— Хорошо, — смягчился я. — Винограда я вам дам. Но только уговор. За каждую кисточку вы мне поцелуете ногу.

Откуда пришла мне в голову такая дикая мысль, не знаю. Должно быть, это была месть за старое, за все то, что причинили мне эти несносные мальчишки, обзывая меня нехорошими словами, месть за Аванеса, которого они и до сих пор видеть не могут.

Нерсик сейчас же отвернулся, проглотив слюну, а Персик заныл пуще прежнего, откровенно выклянчивая виноград.

— Перестань выламываться перед этим белым! — прикрикнул на брата Нерсик. — Видишь, как он заговорил: поцелуй ногу. Если хочешь знать, мы без разрешения можем взять виноград. Всех богачей уже к ногтю прижали. И если твоего дядю пока не трясут, то это из-за твоего отца. Думаешь, не знаем, что дядя Асатур дружит с твоим отцом?

Но я не слушал Нерсика. Раззадорившись, я уже пошел на уступки, предложил вместо ноги поцеловать руку.

Не успел Нерсик снова отчитать брата, как тот схватил мою руку и, зажмурившись, будто его заставляли поцеловать лягушку, приложился к ней губами.

Я щедро навалил винограда в сумку Персика.

— Получай, Персик! — сказал я ему, передавая полную сумку. — Честно заработал. В другой раз будете знать, как обижать моего брата и обзывать меня белым.

— Сыпь еще сюда, — сказал Персик, показывая на подол рубашки. — Это Нерсику. Я поцелую твою руку и за него.

— Идет. Целуй, — согласился я и протянул руку.

Но Персик не успел поцеловать ее: чья-то сильная рука зажала мою, отвела в сторону. То был мой отец. Не глядя на меня, он набрал из корзины винограда и наполнил подол Персика.

— Иди, мальчик, и впредь не унижай себя ни перед кем.

Когда Нерсик и Персик отстали от арбы, я в бешенстве спрыгнул с передка и, повернувшись спиной к отцу, спустил брюки:

— Бей! Чего же ждешь? Ты за тем из Сибири и заявился, чтобы меня бить и ссориться с дядей из-за этой неблагодарной рвани, которая так и норовит перегрызть нам горло!

Но отец не слушал меня. Он уже шел по обочине дороги своим широким, медленным шагом и ни разу не оглянулся в мою сторону.

7

Однажды утром мама разбудила меня:

— Собирайся, Тик. Мы переезжаем в Баку.

Я открыл глаза. Посреди комнаты мама связывала вещи в узлы, укладывала в сундук всякую хозяйственную утварь. Тетя Марго помогала ей.

— Зачем переезжать, мама? Разве здесь нам плохо?

Мать вздохнула.

— Папе лучше знать, где нам хорошо. Его вызывают на прежнюю работу.

— Ну и пусть едет один. Жили мы без него, проживем и сейчас.

Мать перестала возиться с узелками.

— Как ты можешь так говорить, Тик? Не по своей доброй воле отец жил без нас. Он теперь не в ответе за это. Не смей говорить при нем таких слов. Ты очень обидишь его.

Я сел на постели. Густые нерасчесанные волосы спадали мне на глаза, и я едва видел маму, ее рассерженное лицо.

— Пускай обижается, — буркнул я. — А почему он дядю обижает? Все равно я старого папу больше люблю чем его.

— Люби, — не дала мне договорить мать. — Никто у тебя старого папу не отнимает. Твой папа не меньше твоего любит его. А если ссорится, то из-за тебя. Он не хочет, чтобы в другой раз за гроздь винограда ты протянул руку для поцелуя.

— Нашли за кого заступаться! — вспылил я. — Если бы ты знала, мама, как эти сорванцы — Нерсик

и Персик — ненавидят нас! Особенно дядю. Обидно же!

— Они ненавидят не нас, а богатых. Это их право, ты же не был в их шкуре, Тик.

— Мама! Ты всегда находишь, чем оправдать этих задир, — бурчу я, хотя мой гнев постепенно проходит.— Кто в Шушикенде не знает, как добр дядя Багдасар?

— Бог с ними, с твоими сорванцами, — меняет разговор мама. — Ты бы лучше помог нам поскорее собраться.

Едем завтра, и я постепенно начинаю привыкать к мысли об отъезде. На новом месте тоже ведь может быть много хорошего.

Улучив минуту, я ухожу из дома. Завтра. Завтра не будет надо мною этого неба. Ни скалы, где мы однажды с Армо спасли лебеденка. Ни леса, полного птиц, леса, какого, может быть, во всей волости нет. А тута-то, наша шах-тута! Не будет и ее. И Амалии, которую я так только уважаю. Не будет всего Шушикенда. Зато будет неведомый город, где дымят трубы заводов, где бегут по улицам конки, где такой несмышленыш, как я, в два счета может потеряться, как иголка в стоге сена... Нет, вряд ли будет лучше на новом месте.

Прощай, шах-тута, прощай, моя скала! Прощай, Амалия. Я ведь не насовсем уезжаю. Еще вернусь.

Разве вас забудешь, карабахские горы!

Как хорошо, что я не один. Честное слово, не будь сейчас здесь Армо, который так и старается чем-нибудь занять меня, рассмешить, я бы, наверное, разрыдался.

— Приедешь в Баку, низко поклонись ему от меня. Скажи — от Армо, сына литейщика Саркиса. Того Саркиса, который бомбой наместника Кавказа убил. Так и скажи: от Армо. В Баку каждая собака нас знает. Не забудь поклониться и Каспийскому морю. У меня с ним тоже старая дружба. Однажды от большой любви оно меня чуть не поглотило...

Милый мой друг, побратим Армо! Я знаю твое горе. Твой отец не вернется. Не до смешинок тебе, хоть ты и смеешься. Но об этом — молчок. Я знаю, какая у тебя на сердце незаживающая рана. Об Арев тоже

молчу. Ты не говоришь, и я не спрашиваю, но я все знаю. Хоть вы на людях и не говорите между собой, но любите друг друга. А когда вдруг сводит ногу Арев, мы, братья, уже не бежим сломя голову, знаем: все равно Армо не опередишь, он поможет не хуже нас.

Незаметно мы вступаем в лес. Кукуют кукушки. Захочешь считать — ничего не выйдет. Одна начинает, другая кончает. И столько птиц вокруг заливаются!

Я пробую отыскать своего зяблика. Свищу. В глубине леса тотчас же раздается ответный посвист. Я свищу и свищу, и зяблик, мой зяблик без устали отвечает мне...

8

Арба, нагруженная доверху узелками и узелочками, покачнулась и, тяжело подпрыгивая на камнях, вынесла нас за ворота. И хотя мамин сундук разглядеть было нелегко среди множества другого домашнего скарба, глазастое утреннее солнце быстро нащупало его, там и здесь засверкало на железе.

Карабаш, кудлатый пес, с которым я в большой дружбе, до этого настороженно наблюдавший за всеми приготовлениями, виляя опущенным хвостом, медленно и нехотя уступил дорогу арбе и, разминувшись с нею, жалобно заскулил. Будто железная рука сдавила мне горло. Я понял, теперь уже бесповоротно: едем.

Нас провожает вся наша обширная родня: тетушка Нубар с огромной толпой внуков, даже правнуков, мои братья, сестра Арев, Армо со своей матерью, тетя Марго, прижимающая к губам уголок головного платка

Мама не нацелуется с тетей Марго. Сколько лет прожили они на виду у всей деревни в дружбе и согласии!

Последним подходит к арбе дядя Багдасар. Я только сейчас замечаю, как дядя стар. У него теперь совсем желтые-желтые усы.

Я замечаю и другое: у дяди такие же широкие, сутулые, как у отца, плечи, такие же загрубелые, натруженные руки.

Дядя Багдасар еще раз прощается с моей матерью, отцом, треплет меня по щеке:

— Не забывай дороги в свой дом, Тигран, — говорит он, посасывая ус.— Чему бы там ни учил тебя отец, знай, человек достатком красен. Ты равноправный пайщик всего моего состояния, движимого и недвижимого. У тебя есть бумага в сундуке твоей мамы. Всегда можешь воспользоваться ею.

Отец тяжело переводит дыхание, словно ему не хватает воздуха. Я съеживаюсь от страха, боюсь, как бы не вспыхнула новая ссора между отцом и дядей. Но отец понемногу сникает, ссутуливается, и я слышу его сдавленный голос:

— Никогда не забуду твоих забот о моей семье, брат, — говорит он. — За это я твой вечный должник. А бумагой, что в сундуке, мой мальчик не воспользуется. Он сын рабочего, ему не нужно движимое и недвижимое имущество. И достаток у него есть. Он пайщик всего состояния страны.

Арба снова качнулась, загрохотала колесами по камням, заглушив последние слова отца. В толпе провожающих я увидел круглое лицо Нерсика, рядом с ним такое же лицо Персика. Они улыбались мне как ни в чем не бывало. Я помахал им рукой и поймал себя на том, что у меня нет к ним никакой вражды. Промелькнуло грустное лицо Андроника. Огненно-желтые взлохмаченные волосы его пылали на солнце.

Кудлатый пес еще долго провожал нас, жалобно поскуливая. Наконец и он отстал. Только дядя Багдасар, пока арба не скрылась за поворотом, стоял посреди проселочной дороги и, опустив, как подбитые крылья, сутулые плечи, смотрел нам вслед.

Справа и слева от нас промелькнули до боли, до рези в глазах знакомые пейзажи Шушикенда. Железная рука снова сдавила мне горло. Но я заставил себя улыбнуться, утешаясь тем, что в этом неведомом Баку, куда мы переезжаем, тоже может быть много хорошего.

Мои друзья детства уже осели на длинные скамьи в скверах. Время делает свое дело. Завсегдатаем скверов стал и Арамаис Саркисович, Армо, бесстрашный

атаман нашей шушикендской ребятни, уже давно живущий вместе со мною в Ереване. Мы с ним, как вы знаете, дважды родственники — по матери и по отцу. Он ведь женат на Арев. И, конечно, мы дружим. И Арев жива, у них много детей, уже внуки пошли. Армо теперь весь седой, с высокими залысинами, красивый стареющий пенсионер. Еще недавно он преподавал историю в школе.

Арамаис Саркисович и раньше бдительно следил за всем тем, что выходило из-под моего пера, чтобы похвалить при встрече или отчитать за какую-нибудь промашку. Больше, конечно, ругал, хотя, я знаю, заглазно он говорит обо мне не без гордости, не забывая лишний раз напомнить собеседнику, откуда я родом, о Шушикенде.

Эта повесть была уже опубликована в журнале, когда на улицах Еревана я встретил своего дважды родственника. Еще издали он погрозил мне пальцем, осуждающе покачивая головой. А поравнявшись, по обыкновению, взял меня под руку и не без досады сказал:

— Что ты наделал, Тик! Охаял наш Шушикенд на весь мир. Откуда ты взял, что Шушикенд свое имя стянул у Шуши? Когда Шушикенд блистал в своем довольстве, давил виноград и играл свадьбы, твоей Шуши и в помине не было. Я тебя очень прошу убрать эту оплошность.

Я слушал Армо и не знал, что в нем сейчас больше говорит: правдивость историка или ущемленное самолюбие шушикендца, оскорбленного в лучших своих чувствах?

Я обещал Армо оплошность эту исправить. Я не историк. Я мог этого и не знать.

Только после неоднократных моих заверений исправить ошибку он потеплел, обнял меня, дав волю чувству благодарности. Армо не мог не оценить по достоинству моей неподдельной любви к Шушикенду.

И право, хотя наш Шушикенд не Шуша, не Баку, не Ереван, не какой-нибудь пуп земли, но он тоже в чем-то велик.

Прощай, мой Шушикенд, и прости меня, если что не так сказал. Прости и прощай, милый, добрый, немного вздорный, великий Шушикенд!



ясаман-обидчивое дерево

МИНИАТЮРЫ

— Почему твои песни так коротки? — спросили раз птицу.— Или у тебя не хватает дыхания?

— У меня очень много песен, и я хотела бы поведать их все.

ЭФФЕНДИ КАПИЕВ

● ДОРОГА К ТЕБЕ

Ларисе Гурунц,
моей жене

РОДНОЙ ЯЗЫК

Пески. Чужбина. Чужое небо над головой... Старик в рваной одежде на горячем песке одну за другой выводит буквы алфавита. Возле него в таких же лохмотьях — мальчишки. Старик — учитель. По песочному букварю он обучает детей родному языку.

Раздается сигнал. Колонна снимается и идет дальше. Проходят вдаль синие тени беженцев.

Куда идут эти странники в рубищах, что ждет их впереди?

Вглядись, моя маленькая, вглядись! Может, найдешь в этом потоке людей бабушку свою или деда, счастливо уцелевших от кривого ножа турецкого янычара.

Снова привал. Костры. В закопченных мисках скудный обед. А чуть подальше, в кругу тесно обступивших детишек, старый учитель выводит и выводит свои песочные буквы...

Бессмертен ты, родной мой язык, если метельные ветры тебя не замели.

КАРАБАХСКАЯ МАЛЬВА

Уколовшись об острые иглы шиповника, я сорвал цветок. Цветок как цветок. Нежен, красив, пахуч, как, впрочем, многие, многие другие цветы, яркими мазками разбросанные по склонам наших гор. И если я го-

ворю сейчас о нем, то, пожалуй, лишь потому, что его можно встретить только у нас, в Карабахе, растущим в кустах шиповника, на чьи иглы я и накололся, срывая безымянный цветок.

Впрочем, у него должно быть какое-то имя. Но я его не знаю. И не ищу в справочниках, боюсь оскорбить его латынью. Я ему дал свое имя. Мальва. Карабахская мальва.

Я смотрю на мальву и диву даюсь. Нежный, красивый цветок с вохристыми лепестками на высоком статном стебельке избрал себе в спутники низкорослый, колючий кустарник. Любовь эта так велика, что их раздельно почти не увидишь.

Рука моя горит от несносного шиповника. Я дую на нее, чтобы умерить боль, и нежно шепчу цветку:

— За что же ты такого избрала, мальва?

Мальва закрыла вохристые лепестки, погасила красоту, как бы сказала:

— За то, что у него — иглы. Что он защищает меня, когда обижают. Мне с ним хорошо. Отпусти меня, прохожий. Я живу только для него.

Я послушно опустил уже увядший цветок... Если вы повстречаете в наших горах этот нежный, привлекательный цветок с тоненькими-тоненькими листочками, не спешите украсить им свой букет. Мальва, отлученная от шиповника, не живет. Она тотчас же умирает, как умерла она в моих руках.

ДЕВОЧКА С КОСИЧКАМИ

— Ребята! Не видели девочку, такую, с косичками? Она на этой улице жила?..

Была такая пора: я гонял свой полосатый тряпичный мяч под окнами темного окраинного домика, гонял в тот самый час, когда из дому выходила девочка с толстыми косичками и с книгами под мышкой.

В это время она отправлялась в школу.

Я даже имя дал девочке: Арев, что означает солнце.

Арев идет, я — за ней, между нами — мяч, который я все время подгоняю.

Мяч — это моя хитрость. Я не боюсь, что меня назовут ветрогоном, уличным мальчишкой, самым последним словом.

Пусть думают люди, что им угодно, вешают на меня всех собак — от этого мне ни холодно, ни жарко.

Я иду следом за Арев, на два шага позади нее, и, улучив минуту, легонько ударяю мячом по задникам ее стоптанных туфель. Это не больно, удар не сбивает девочку с шага, но она оборачивается и через плечо презрительно бросает мне:

— Хулиган!

Это обидно, но все же на душе весело: как ни суди, она со мною поговорила...

Много времени прошло с тех пор.

Я снова на этой улице.

Того дома, под окнами которого я играл в мяч, уже нет. На его месте высится новый дом. И вдруг я вижу: под окнами высокого незнакомого дома какие-то мальчишки гоняют полосатый тряпичный мяч...

— Ребята! Не видели девочку, такую, с косичками? Она на этой улице жила?..

В ЗИМНЕМ ЛЕСУ

Тихо в лесу. Ни шороха, ни звука. Свежий снежок опушил деревья. Куда ни кинь взор, белым-бело. Только на вершинах чернеют пустые, покинутые гнезда.

В памяти еще свежи спевки зябликов, дробный перестук дятлов — шумный зеленый лес, полный веселого птичьего переполоха, заповедные ягодные места, где так приятно было ворошить лесную траву, отыскивая броскую, жаркую землянику.

Не умер лес. Он живет в игривых беличьих побежках, в хитрых сплетениях заячьих поскоков.

Угольно-черные вороны метнулись в одну, потом в другую сторону. Летали парами, тревожно каркая. Догадываюсь: они выследили зверя.

На полянку светлым клубком выкатился беляк. Я наблюдал за ним из-за ствола дерева. Косой, почувствовав недоброе, на мгновение встал на задние лапки, осторожно огляделся по сторонам, запетлял, сбивая след.

Я понял: где-то поблизости лежка. Заяц на пути к лежке больше хитрит. И действительно, из-под звездной пороши высыпали навстречу юркие зайчата в белых шубках — семейство косого.

Недалеко раздалось воронье карканье.

Зайчиха, должно быть, привыкла к такого рода концерту и безо всяких предосторожностей повалилась на бочок. Я видел, как зайчата жадно припали к соскам матери.

Вороны кричали совсем уже близко.

Эй вы, пустомели-вещуньи, угомонитесь, не выдавайте тайну заячьей лежки!

ПЕСТРУШКА

В лесной чащобе вспыхивает жаркий костер. На широкой ярко-красной шляпе белые-белые пуговки.

Я знаю, что это за каналья, и стороной обхожу его. Возле такого гриба приляжешь на часок и больше не встанешь: он усыпит тебя...

Я иду по лесу. Лето. Полдень. Кругом дымятся в зное скалы, кручи. На склонах не видно пасущихся овец. Даже ласточка не чертит воздух причудливыми зигзагами. Все живое прячется от зноя.

В такой час хорошо в лесу: свежо, пахнет перестоявшейся смолой, грибами, земляникой. Куда ни повернешь голову, вокруг тебя так и полыхают кострами нарядные мухоморы.

Невдалеке от меня в своей неприкосновенной красе дремлет мухомор. Маленькая степная пеструшка, привлеченная прохладой леса, кружится над его красной шапкой. Она то садится на мухомор, то, словно раздумав, взлетает вверх. Что нашла ты в нем, глупая степная птица?

Я спешу отогнать ее, но не успеваю: пеструшка клюет белую губительную мякоть.

Я поднимаю ее, уже мертвую... Птица отравилась красотой.

Т. С. Ахумяну

СИЯНИЕ МОЛОДОСТИ

Природа была щедра и снисходительна к нему. Славно прожив свой век, он не менялся и не старел. Всегда веселый, седой, завидно легкий и немного беспечный. Известный филолог и безнадежный книголюб, он подготовил немало аспирантов, кандидатов, даже

докторов, не имея сам ученой степени. Ему всегда не хватало времени для устройства личных дел. И был всегда влюбленным не по возрасту.

К слову сказать, это ему прощалось. Когда человеку за седьмой десяток, ему многое прощается.

И вот узнаю — наш нестареющий филолог заболел, стал терять зрение. Нужно ли говорить, как я жалел его.

Однажды мы на улице встретились. Я с ним был коротко знаком. Он не сразу узнал меня.

Мой знакомый был грустен. В первый раз лицо его не улыбалось. Незримое облачко тихой печали витало над ним.

Катаракта для книголюба! Щедрая природа умеет быть и такой нестерпимо жестокой и несправедливой.

Невыразимая боль проняла всего меня. Я не знал, как утешить старика.

Не успел вымолвить и слова, как лицо его на глазах преобразилось. На нем лежало теперь дивное сияние, сияние молодости.

Я обернулся и понял: по тротуару мимо нас шла красивая девушка с кокетливой прической.

СПАСИБО, ВАЛЯ!

Его исключали из комсомола. Только одна рука поднялась за него. То была Валентина.

Тигран не был знаком с нею, хотя работали они на одном заводе. Только раз он видел ее. С нарядами в руке девушка бежала в механический цех.

Она была табельщицей.

Запомнилось Тиграну ее смуглое лицо с родинками около рта да смелый, вызывающий взгляд больших карих глаз. Рука Валентины не спасла Тиграна, он таки хлебнул горя. Но пришел срок, и Тигран вернулся домой. Он спросил о Валентине.

— Валентина? Какая Валентина? — не могли вспомнить друзья.

Но Валентина пришла сама. Она была такой, какой он помнил ее, по крайней мере так ему казалось: с молодым смуглым лицом, с родинками около рта да с большими карими глазами, смотревшими на мир смело и вызывающе.

Она пришла поздравить лучшего токаря завода с возвращением. Знала ли табельщица Валентина, что это ее рука грела сердце Тиграна, вела его по трудным путям, не давала ему пасть там, где он непременно упал бы, не будь ее? Стоило жить, перенести страдания, если на свете есть такая рука! Но Валентина не знала обо всем этом. Она была просто рада, что вернулся хороший человек.

— Спасибо, Валя!

У ОБОЧИНЫ ПРОСЕЛОЧНОЙ ДОРОГИ...

У обочины проселочной дороги, неподалеку от нашего села, росло грушевое дерево. Каждый год по весне его нежно, точно голубя, обвивала повилика.

В детстве я подолгу стоял у этого дерева: меня привлекала красивая повилика. Казалось, не растение, а сама радуга, спустившись на землю, обвила дерево.

В свой срок дерево это приносило плоды, но мы их не трогали: они были маленькие, кислые, почти несъедобные, вязали рот, как дички.

Если бы я знал тогда, отчего они такие, кто отбирает у них живительные соки!..

Дерево это с каждым годом на наших глазах хирело: его душила красивая повилика.

ЖАР-ЦВЕТ

Из моего окна хорошо заметны перемены в природе. Еще вчера в ложбинке перед домом одиноко горел зажженный молодым весенним солнцем белоголовый подснежник, а сегодня он утонул в созвездии других цветов.

А во-он раскрыл свою злато-багряную чашечку жар-цвет. Когда-то я любил гадать на нем, срывая лепесток за лепестком и приговаривая: «Любит — не любит».

Не помня себя, я направляюсь к двери и останавливаюсь на полпути.

— Не ходи, старина,— слышу я голос,— не тебя ждет этот цветок, ты свой уже сорвал.

За моим окном раздается веселый смех. Я снова смотрю в окно. Над злато-багряным цветком моей юности склонился парень. Это его ждал жар-цвет.

ВЕРНОСТЬ

Отара овец спускалась с гор, с летних пастбищ, на зимовку в низины. На полдороге старший чабан вдруг обнаружил, что нет в своре лучшей сторожевой собаки.

— Карабаш! — звал чабан собаку. Эхо далеко отдавалось в горах, а собака не отзывалась.— Наверное, издохла,— решил чабан. Собаки, чувствуя свою кончину, уходят от хозяина.

Погоревал, погоревал чабан, а там и забыл о ней. Вслед за пропажей собаки чабан не нашел и своей бурки. Должно быть, позабыл на летней стоянке. Чабан пожалел и о бурке.

Ранней весной колхозное стадо снова поднялось в горы, на летний отгон. И здесь чабан увидел свою бурку, а возле нее Карабаша, пропавшую собаку. Чабан понял все: собака осталась сторожить бурку.

Вокруг бурки и собаки вся трава была измята, обгрызана. И сама собака была другая, остались от нее кости и кожа, да клочьями торчала бурая свалявшаяся шерсть.

— Карабаш! — кинулся к собаке чабан, доставая из сумки хлеб. Но собака не приняла ни хлеба, ни ласки. Она отчужденно ощерила желтые зубы. Потом ушла, поджав хвост, не оборачиваясь на зов. Ушла совсем, не простив хозяину его забывчивости.

БУДЬ Я ОХОТНИК...

В глубине леса поет птица. Это глухарь. Я узнаю его по голосу, по особой песне. Осторожно пробираюсь к птице. Глухарь поет, и я подхожу к нему близко. В другое время его насторожил бы малейший шорох, теперь же, когда он поет, не слышит моих шагов.

Будь я охотник, я не поднял бы ружья на глухаря, не воспользовался бы его минутным самозабвением: чуткая птица, не подпускавшая к себе охотника на

расстояние ружейного выстрела, легко дается ему в руки во время пения. Глухарь, погруженный в свою песню, слышит только себя. Я подхожу еще ближе. Теперь я вижу певца очень хорошо. У него бородатая, краснобровая голова, седой клюв, и весь он большой, черный, похожий на цесарку.

Милая птица! Если бы ты знала, что всего за несколько шагов от тебя стоит человек, такой же уязвимый, как и ты.

НЕПОСЕДА

Она назначила мне свидание, а сама не явилась. «У этой девушки короткая память»,— думал я.

Женя готовилась стать геологом и при встрече говорила только о минералах.

Делать нечего, я подлаживался под ее вкус.

— Это булыжник? — спросил я, показав на каменную глыбу у нее на письменном столе.

— Аметист,— ответила Женя.— Его облепил песчаник, но жалко снимать облицовку.

Каким щедрым огнем загорались Женины большие смешливые глаза, когда она говорила о камнях!

«Ах, если б у нее нашлась в душе одна такая искорка для меня!» — подумал я.

Вскоре она окончила институт. И, хотя ее оставили при институте, она частенько выезжала на геологические изыскания.

Сегодня она снова назначила мне свидание. На стук вышла старуха мать.

— Уехала. Просила извиниться,— передала она.

«Просила извиниться! Это уж не так плохо, старина», — подбадриваю я себя.

Я вышел на улицу. Свет в ее комнате не горел.

Где скитаешься ты, непоседа?

СИНИЕ ЦВЕТЫ

Я нашел тебя, горюн-трава. Теперь меня унылым видом не отпугнешь, не оттолкнешь от себя.

Видел я твоих сестер, отменных красавиц. Посмотришь: синие-синие. И красивые и ароматные. А скло-

нишься к ним — ослепнешь. У других ягода, как вишня. Отведаешь — всего тебя в дугу сведет.

Я нашел тебя, горюн-трава! Вечный старатель — я вознагражден за долгие поиски. Я нашел тебя!

Сколько рубцов у меня, а на сердце — ни одного. Не ожесточили сердце мое своим обманчивым запахом и ягодами твои сестры, не убили в нем любви к красоте, к жизни.

Горюн-трава! Ты лечишь раны людей, хранишь их от болезней, но не все замечают тебя. Так бывает. Сладкую землянику не сразу увидишь. Она хоронится под густой тенистой листвой.

Я нашел тебя, горюн-трава!..

Но это лишь во сне. По-прежнему я склоняюсь к синим цветам, срываю ядовитые ягоды.

СКОРОСПЕЛКА

Я сорвал с ветки яблоко-скороспелку, обманчиво приняв броский вид за зрелость, и был наказан за опрометчивость: красивое, румяное яблоко набило мне оскомину.

Вот так однажды первый толчок сердца я бездумно принял за любовь, а когда пришла большая любовь, растерянно опустил перед ней руки.

Левону Мкртчяну

ДОБРОЕ УТРО

В древней Армении женщину сравнивали с утром. «Грудь твоя, как утро... утренняя роса на ней...» — писали поэты. Когда встречали весенних и прекрасных, как утро, женщин — говорили: «Доброе утро». Женщины опускали глаза и краснели. Поэты сравнивали их с розами. Поэты были тогда соловьями, и им это было очень близко.

Другие теперь времена, другие поэты и сравнения. А женщины по-прежнему прекрасны, как утренние розы.

— Доброе утро, мои хорошие.

Я НЕ БОЮСЬ...

Я не боюсь молвы, пусть пустомели говорят что угодно — пойду своей дорогой. Я не боюсь крутизны, изольюсь потом — на вершину взойду. Я не боюсь непризнания завистников — терпение и труд уберут с моей дороги и их. Не боюсь длинной ночи — в конце концов наступит утро. Не боюсь, сердце, твоих подозрительных перебоев — полечусь, пройдет...

Боюсь твоей выгнутой брови, любимая, если под ней вдруг погаснет огонек, светящий только мне.

ЕСЛИ ВЕТЕР...

Я не люблю мертвый пейзаж. Если ветер — так чтобы он свистел в ушах, трепал на голове волосы. Тропинка — чтобы по ней скакал мальчишка с раздувшейся за спиной рубашкой. Если тишина — чтобы в глубине ее звенел водопад...

Умри, мое сердце, разорвись, если тебя коснется спокойная, нежаркая любовь.

ТЫ ПРИШЛА, ЛЮБИМАЯ!

Всюду, куда ни посмотришь, зелень, цветы. Как вчера, позавчера, как это бывает в начале мая. Ничто не напоминало осень. Но не вздумайте подщелкнуть соловью, он не отзовется, его уже нет, у птиц свой календарь...

Ты пришла, любимая, и будто юность тревожная вернулась.

Так приходит к нам мужское бабье лето.

БУКВЫ ЗАПАЛИ В КОРУ...

Буквы запали в кору, обросли толстой кожей, но не стерлись. Это имя когда-то пастушьим ножом вырезал я.

Годы, годы!

Девушка стала матерью, говорят, даже бабушкой. Да и я не тот.

Все переменилось, все ушло: и первое робкое признание, и первый поцелуй. Только дерево хранит память о той.

Здравствуй, дерево, юность моя!

Майечке, моей дочери, которой сейчас...

ЗАПОЗДАЛЫЙ РУЧЕЙ

Весенний ручей запоздал, не успел сбежать с горы и теперь струится, струится по склону, торопясь вдаль.

Трудно бедняжке: травы кланяются ему, прося воды, цветы взывают: «пить!» А поток, в который он должен сбросить свою влагу, так далеко.

Дорого обходится ручью любая ошибка, самая малая щедрость. Он рискует не дойти до цели, потеряться в пути.

Моя маленькая! Открыв глаза, ты увидишь мое лицо в морщинах, голову, побитую сединой. Как знать, не потеряюсь ли я в пути, как тот запоздалый ручей.

БАЛЛАДА О ЛЮБВИ

У самого въезда в село, возле дороги, стояло дерево. Одинокое дерево, которое по весне расцветало так, что ночью, не зная дороги, по одному его свету можно было добраться до нашего села. Но яркие цветы все же увядали, не завязав плода.

Говорили, что дерево это пришло издалека. Человек, принесший его, не взял с собой его друга, и с тех пор дерево в темноте светит, чтобы не заблудился тот, кого оно ждет.

Человек, посадивший это дерево, давно умер. Состарившись, умерли его дети. А дерево и поныне стоит возле дороги, у въезда в село, по весне в ночи освещая путь далекому другу, который непременно придет.

Прохожий, остановись, поклонись низко этой любви!

ПОДОБНО ЧАЙКАМ И ВОЛНАМ...

Подобно чайкам и волнам морским, мы встречаемся с тобою, ссоримся, расстаемся. Мечтаем о новой встрече, забыв про обиды.

Но улетают чайки, но отбегают волны — и ни ссоры между нами, ни встречи. О, как хотел бы вернуть самую злую ссору! Но прошлое необратимо. Мы не чайки и не волны.

ДЯТЕЛ

Бьет носом дятел по дереву. Посорка летит по лесу, белесой пылью падая вниз.

Бьет дятел. Дятлову работу я вижу на стенках деревьев, издолбленных насквозь. Гляжу и дивлюсь, сколько же нужно было тюкать носом, чтобы пробить эту дыру в коре, какое нужно было упорство!

Никто его не видит. Дятел мал, сер, только мелькает, мелькает среди листвы его алая шапочка. Дятел в работе, он весь в деятельности, врачует, врачует лес, избавляя его от всякого недуга.

Никто не знает, как дятел умирает. Он падает, сраженный сотрясением мозга.

ПРИСНИЛОСЬ МНЕ, ЧТО ТЫ ЗВЕЗДА

Приснилось мне, что ты звезда. Приснилось мне, что ты не моя. Проснулся, ты рядом, даже во сне полная земного тепла.

И я не нарадуюсь, что ты не звезда.

КАК СТРАННО ВСЕ ЭТО...

Как странно все это. Еще вчера, совсем недавно, мы нагрызлись досыта, до чертиков, а разлучились — такая на сердце зеленая тоска. И я не стыжусь признаться — это от боли, от страха потерять тебя.

В такую пору человек особенно остро чувствует точную цену того, что теряет, и вдруг обнаруживает, что он, вопреки всем чертям, снова влюблен в свою жену, как много лет назад.

Я ПРОТЯНУЛ ТЕБЕ РУКУ...

Я протянул тебе руку, а ты немного задержала ее в своей... Не отсюда ли все это началось?

А может, началось это чуть позже, когда свалилась на меня беда — остался я без дома, без детей? С женщинами так бывает: любят они иногда от доброты, из-за жалости...

А я полюбил тебя еще чужую. Ты для меня была звездой, Вергилием. Но ты сказала:

— Оставь меня. Я твоей никогда не буду.

Неисповедимы пути любви! Отвергнутый, я стал твоим мужем. Скажи мне, жена моя, где всему этому начало?

ИЮНЬСКИЙ САД

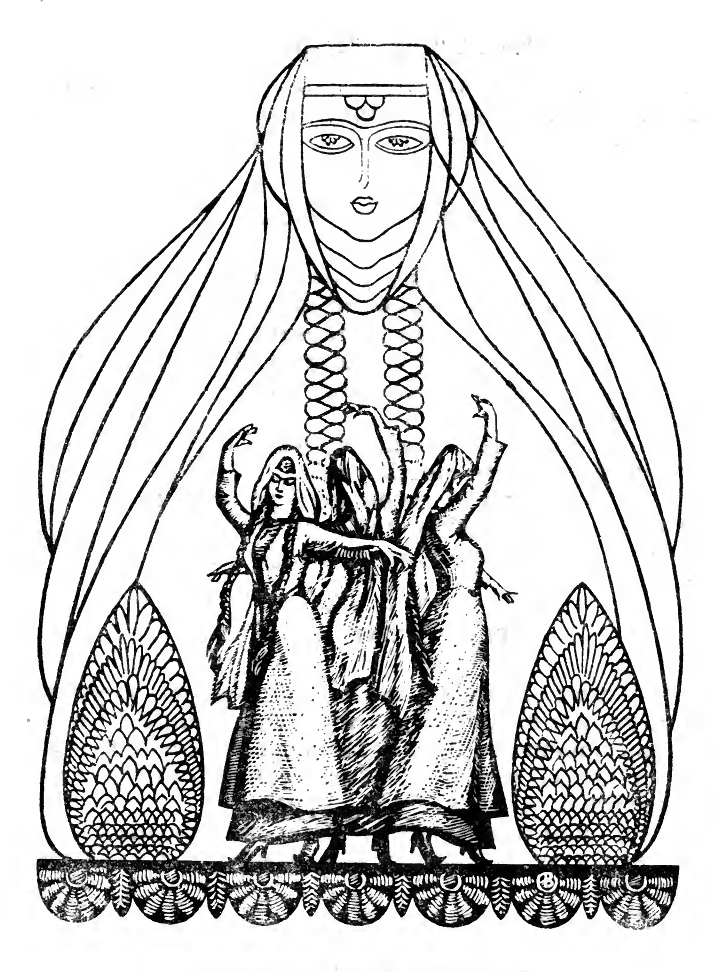
Июньский сад полон цветов. Я выбираю самую красивую розу и нежно шепчу ей свои песни. Роза благосклонно принимает их. Но не успеваю отойти от избранной, как ее чаруют другие песни, кто-то другой склоняется к ней...

О сад, мой июньский сад! Дай мне в жены одну из твоих роз, к которой я бы мог вернуться, рассчитывая на любовь.

ТРОЯНСКИЙ КОНЬ

Каждый человек, если он не от рождения неумеха, появляется на свет, способный воздвигнуть свою башню.

Такую башню я себе воздвигнул. Всю сознательную жизнь я работал на нее. Час за часом. Год за годом. Клал камень за камнем. И когда башня была выстроена, работа завершена, в нее въехал рыжий прохвост на своем троянском коне.



НЕ ХОДИ ПО ТОЙ УЛОЧКЕ...

Хочешь, превращусь в дерево, буду дарить тебя тенью и плодами, только не ходи по той улочке.

Хочешь, камнем обращусь, травой, чтобы ты отдыхала на ней. Может, воздухом, чтобы легче дышалось тебе. Может, луной, чтобы ночью лучше виделось. Только не ходи по той улочке...

А может, певчей пташкой обернусь, чтобы усладить твой слух. Только не ходи по той улочке.

ТЕБЕ СОРОК ВОСЕМЬ...

Время не движется вспять, скоро тебе сорок восемь. Но природа к тебе добра, возраст почти не коснулся тебя, прошел стороной. Ты по-прежнему красива, и я по-прежнему влюблен в тебя.

Птице, которая хотела бы услаждать твой слух своей песней, окно отворю, пусть влетит. Тени, бегущей вослед, говорю: беги, догоняй. Жестокому ветру не чиню преград, пусть буйствует, играет волосами, густо окрашенными хной. Седой пряди, от которой хна отошла, говорю: не прячься, ты так мила.

Люблю, когда колосья тяжелые. Созрели. Люблю, когда подсолнух сбит, все зерна в нем налиты. Люблю, когда Любовь хмельна.

ГОВОРЯТ, КОГДА ТЫ БЫЛА МАЛЕНЬКАЯ...

Говорят, когда ты была маленькая, еще школьница, у тебя были длинные, толстые косы и ты знала им цену. Говорят, ты еще тогда была кокеткой и любила, когда от тебя мальчишки шалели. И был среди них мальчик Юра, который был без ума от тебя. Он сперва на весь тротуар, по которому ты шла в школу, мелом расписал: «ЮРА ЛЮБИТ ЛАРИСУ».

Однажды он остановил тебя на улице после школы, сказал:

— Я тебя люблю.

Ты ответила:

— Дурак, еще рано.

Оскорбленные в лучших своих чувствах, Юрины друзья решили проучить тебя — отрезать косы. Говорят, оскорбленный Юра был даже польщен мстительным заступничеством товарищей. Даже девочки, твои подружки-школьницы, задрали носы, перестали с тобой здороваться. Все за то же, за оскорбленного Юрика.

Но когда час расплаты настал, Юрик этот преградил дорогу друзьям, не дал им обрезать косы.

Случись какая беда, я поступлю, как некогда Юрий поступил. Не отрежу тебе косы. Мне нужна Лариса с косами, какая она живет в моем воображении,— красивая, моя любовь, моя Лаура.

КО МНЕ ПОСТУЧАЛСЯ ОДНОПОЛЧАНИН...

С чего начать? Начать ли с того, как прошумела ...надцатая послевоенная весна и забились, засверкали ключи? Но не даются мне длинные описания.

И вот, когда я мучительно грыз карандаш, не зная, как начать повествование, ко мне без стука вошел Васак. Он мог позволить себе это, капитан Васак Погосбекян. Младший лейтенант не станет отчитывать капитана за фамильярность.

Устало опустившись на стул, он осведомился, как идут дела. Я показал чистый лист бумаги.

— Ну и хорошо,— сказал капитан.— Значит, время еще не пришло.

— Что же тут хорошего, капитан? Я, кажется, разучился писать. Муза покинула меня.

— Плохая муза хуже неверной жены. Не надо тосковать по ней, если она покидает тебя.

— Что это значит, капитан? Не ты ли взял с нас клятву: после войны, кто останется в живых, написать о наших друзьях?

— Да, правильно. Я этого желал. Не перебивай меня, Арсен. Мы же с тобой знаем, что такое плод, сорванный раньше времени. Отложи перо и жди.

Я молча отложил пустой лист. Капитан прав: спелое яблоко само падает.

Трудную загадку загадал Васак. За ночью следует день, а за осенью — зима. Где гарантия, что яблоко упадет прежде, чем настанет зима? Не забывай и наш возраст, капитан. Ведь, почитай, каждый из нас за пятый десяток ушагал. Но ты молчишь? Тебе вообще трудно говорить, как всем тем, кто не вернулся. За тебя буду говорить я. Как уговорились. Я, оставшийся в живых из многих наших фронтовых друзей.

БЕЛЫЙ ВОЛОС

Тишина. На фронте тоже бывают тишина и спокойствие.

Когда случается затишье, воины, не успевшие еще поостыть от боя, от только что пережитого, дрожащими руками, просыпая табак, сворачивают цигарки и, нещадно дымя, предаются мечтам. Мечтают обо всем. И конечно же, о той, с кем разлучила тебя война, о будущем своем счастье.

О смерти не думают. Никто на войне не верит в свою смерть.

Не верил в смерть и я, находясь в трехстах метрах от злобного, отступающего врага, ушедшего в землю, но способного тебя сжечь, опалить огнем, убить.

Это было на Кубани, перед штурмом сильно укрепленного пункта, названного немцами «голубой линией» — линией надежды. Немцы еще надеялись, прикрываясь хитроумными укреплениями, задержаться на нашей земле.

Через час — атака. Еще не началась артподготовка. Еще косяки наших воздушных армад не поднялись в воздух, а вокруг такая тишина. Я даже слышу, как в лесу, находящемся не так близко от нас, мирно кукует кукушка, кому-то отсчитывая годы, а может быть,— часы.

Если верно, что будто бы кукушка может отгадать, сколько нам жить, то она отсчитывала мне целую вечность.

Я начинаю считать, сколько мне осталось жить. Оказывается, много. Много лет жизни.

Может быть, она насчитала бы куда больше, если бы не внезапно начавшийся орудийный огонь, если бы косяки бомбардировщиков, наполнивших воздух нара-

стающим свирепым гулом, не прервали счет, не проглотили бы разом далекий уютный голос кукушки.

Готовясь к броску, который мог стать последним — не раз до этого наше наступление захлебывалось,— почему-то обдергивая на себе гимнастерку, не зная, как скоротать считанные минуты перед броском, я вдруг расстроился. Расстроился от одной фразы товарища, который в моей шевелюре (будучи рядовым, я ухитрился сохранить шевелюру и очень гордился своей хитростью) обнаружил белый волос и нашел нужным прокричать мне об этом в ухо.

Первый белый волос! Седой волос! Один во всей шевелюре. Рядом же знаменитая немецкая «голубая линия», о которую мы не раз расшибали лбы, теряя молодые буйные головы, не знавшие ни единого седого волоса. А я перед новой смертной атакой расстроился от одного седого волоса.

САМОВАР

Вечером в школе прифронтовой станицы собрался батальон, отмечавший вторую годовщину боевой своей жизни.

Играл баян. Седой майор, перегнувшись через стол, показывал капитану фотографию своей дочери. Почтальон Мария и медсестра Галина отплясывали с бойцами старинные русские танцы — гопак, барыню, коробочку — все, что умел играть баянист — сероглазый русый парень, на чьей груди горел орден Отечественной войны первой степени.

В разгар вечеринки старшина внес дымящийся самовар. Это был обыкновенный русский самовар с крутыми медными боками, но появление его взволновало людей, напомнив им мирную жизнь, песни, которые они пели до войны, девушек, с которыми так приятно было ходить по зеленым аллеям. Черноволосый лейтенант и почтальон Мария, отплясывавшие «коробочку», засмотрелись на необычайного гостя. Седой майор спрятал фотографию и стал вглядываться в медные, по-русски широкие бока самовара, отражавшие нелепо расплывшиеся лица бойцов. Даже баянист, веселый баянист, опустив мехи, задумался.

Молча смотрели все на простой, медный пузанчик, излучавший нездешний покой.

Тишиной завладел самовар. Он потрескивал и пел на разные лады, и люди слушали его затаив дыхание, как волшебную музыку.

ЗИМНИЙ ПЕЙЗАЖ

Снег, снег на дороге, снег на полях, снег на крышах домов. Рыхлый, дряблый, твердый.

По дороге идут войска. Снег ложится на массивные стволы орудий, липнет к броне танков, качается на штыках пехоты.

Снег плывет. Войска идут... А по обочинам дороги валяются те, которые хотели шагать по нашей земле победителями. Рядом с ними — разбитые машины. Их тоже земля наша не приняла.

Идут войска. Мерно кружится снег над остриями штыков. Синие трупы и остовы машин за дорогой...

Другого пейзажа в эту военную зимнюю пору я бы и не желал.

Унану Аветисяну, Герою Советского Союза

ПЕСНЯ О ГЕРОЕ

Снега. Снега. Снега. Как он много видел вас на дальних дорогах войны!

Судьба моя, солдатская доля. Где мой отчий дом? Что поделываешь, мать? Ты плачешь? Утешься, мать, я жив!

Холодно. Холодно ногам, холодно рукам. Холодно всей России.

Любимая! И ты познала трудные дороги войны, и тебя коснулись горе и нужда. Утешься и ты, жена моя!

Пусть длинны дороги войны, пусть жестока судьба солдата. Но жива Армения, но стоит и будет стоять Москва! Пусть это будет нашим утешением!

Страна моя, народ мой. Мне слышен твой дальний зов. И я иду. Благослови меня, мама!

И солдат Унан шагнул в бессмертие. Затих пулемет, захлебнувшись кровью героя. Рванулись, пошли вперед однополчане героя. И безутешная мать стояла у бездыханного тела героя...

Или это ты склонилась над своим сыном, Армения?

ЖИВИЦА

Деревья светились. Фронт был далеко, я шел по лесу во весь рост, и меня не тревожил свет в ночной мгле, идущий от белых деревьев.

Чем-то бесконечно близким и родным веяло от этих берез, от шороха листьев, от всего леса, так непохожего на тот, какой я видел в моем Карабахе...

Здесь был лес без подлеска, сплошь из берез. Нет, вру. Была еще одна пленница — ель, которая рядом с высокой белой березой казалась недоростком. Но я знал — у этого недоростка свои преимущества: израненная ель сама себя лечит, выделяя смолу, которая и заживляет рану. Красивая береза лишена такого счастливого свойства. И поэтому, наверное, хвойные деревья долговечнее лиственных. Война пришла и сюда. Лес обстреляли из тяжелых орудий. Я с трудом узнал его. Здесь снаряд отсек вершину, там дерево выворочено с корнем. А раненая береза умирала от ничтожной царапины.

И вдруг среди печального запустения я вижу нетронутое дерево, словно войны и не было. Я подхожу ближе. Ствол его весь иссечен осколками. Зацепило даже корни. Но дерево выталкивало куски металла из ствола и заливало их следы спасительной живицей. Ба, да это ты, дружище ель. Как я мог забыть тебя!

Ель стоит и поныне, как и в тот благословенный час, когда леса еще не коснулась война.

ЛАСТОЧКИН ДОМИК

Война. Как легко она связывала людей, но зато как потом тяжело ранила сердца разлукой, потерей друга, с которым ты уже побратался, полюбил, связавшись крепкой солдатской дружбой.

Георгий пришел к нам в роту разведчиком из госпиталя, после ранения. Был он невысокий, крепкий в кости, в висках серебрилась первая проседь. Георгий и до ранения был разведчиком, имел опыт, и потому вместе с ним отправляли в разведку новичков, чтобы те учились у него трудному военному делу. В части много уже было у него учеников. Они называли себя «цагеевцами».

Не раз Георгий, рискуя своей жизнью, спасал товарищей. А один из них, дагестанец, которого раненый Георгий, сам обливаясь кровью, вынес с поля боя, сказал ему:

— Смотри, Георгий, наша кровь слилась. Раньше мы были братья. Теперь мы кровные братья.

С Георгием мы крепко сдружились. Он любил рассказывать об Осетии. Я же, влюбленный в свой край, рассказывал ему о Карабахе. Мы даже, бывало, в редкие минуты затишья вместе пели «Келе, Сато, келе» — шуточную армянскую песню, которой Георгий научился от меня. И конечно, клялись после войны непременно побывать друг у друга в гостях.

Но однажды Георгий пошел в разведку и не вернулся. Его срезал в пути снайпер, который давно охотился за ним. Помня наказ Георгия, я решил проведать его родной Цхенвали. Я не нашел в Цхенвали ни дома, ни родни друга, — должно быть, он был из соседней деревни. В Цхенвали было много солнца, яркой зелени, добротных, на городской лад построенных домов. Я ел вкусную осетинскую сдобу и знал, что ее называют хебиджан, а когда в одной гостеприимной компании первый тост подняли за меня, я не удивлялся, я знал от Георгия — гость в Осетии в почете. Знал, как называется этот тост: нуазан — гостевой бокал, который осетины пьют стоя.

Мы идем по Цхенвали. За невысокими домами Лиахвы не видно, но ее сдержанный, глухой рокот, удары волн о берег, смягченные расстоянием, заглушают наш разговор.

Мой друг, молодой поэт, чем-то мне напоминающий Георгия, поворачивает то в одну, то в другую сторону, показывая достопримечательности родного города. Мы остановились у двухэтажного красивого дома, который утопал в зелени. Но первое, что бросилось в глаза, —

это гнезда ласточек. Гнезда лепились к карнизам, к пышным наличникам, капителям, гроздьями висели над парадным входом, лепились даже у дверей. Было такое впечатление, что в этом доме, кроме птиц, не обитает никто.

— Что это? — спросил я.

— Дом правительства, — ответил мой спутник. И, тут же поймав на моем лице недоумение, продолжал: — Обычай есть у нас такой — птиц не тревожить. Когда дом этот был выстроен, были сняты с него леса, вдруг оказалось, что ласточки уже заселили вход. Пришлось открыть другую дверь.

Я долго смотрю на дом, на гроздья гнезд и почему-то вспоминаю Георгия.

Так вот та благодатная земля, которая вскормила, вспоила тебя, наградив всем тем, чем ты был дорог для всех, знавших тебя, Георгий.

Я сижу в кругу друзей. Неподалеку Лияхва катит свои шумные воды. На столе доброе осетинское вино.

Мир праху твоему, Георгий! Мир твоей Осетии, которую ты так любил.

Мы дружно спели «Келе, Сато, келе», и песня наша неслась над шумной Лияхвой, над притихшим вечерним Цхенвали, озаренным тысячами огней.

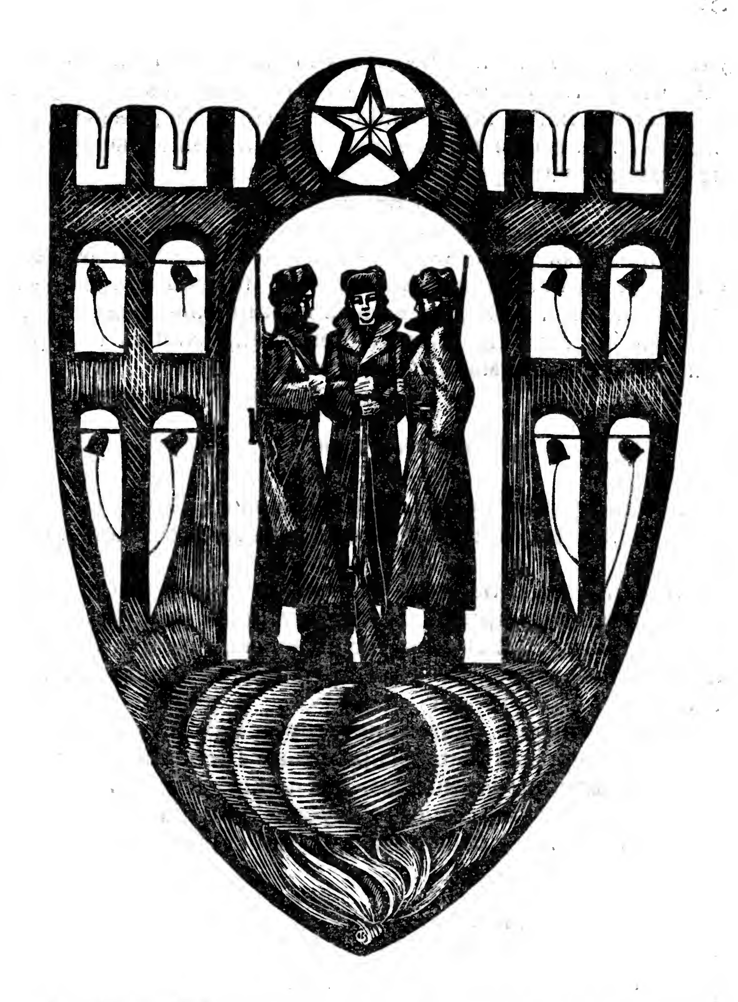
ДОБРЫЙ ВЕТЕР

На обочине дороги, по которой идут наши войска, стоит старый болгарин.

— Два ветра дуют на Балканах: один зовется «аустру», — это ветер с запада — немецкий ветер. Он несет полям засуху, — говорит болгарин. — А другой ветер зовется «кравиц», — добрый ветер из России, с востока. Когда дует «кравиц», он пригоняет тучи к горам, и тогда над полями проливается хороший хлебный дождь.

— Значит, рад, отец? — спрашивают его.

А старик не замечает слез, которые бегут по его морщинистому лицу. Он качает головой. Во всем мире этот жест означает «нет». Но здесь, в Болгарии, когда хотят сказать «да», то качают головой из стороны в сторону.



И когда бойцы узнают смысл этого жеста, стариковского кивка, он запоминается им сразу — и на всю жизнь.

НАДПИСЬ НА РЕЙХСТАГЕ

И вот каменное нагромождение, именуемое рейхстагом. Сейчас даже трудно представить, как он выглядел раньше. Отбитая нога коня Вильгельма, прости-

равшего руку на восток, и куча битого камня — вот все, что осталось от былой бюргерской спеси.

Боец смахнул пот со лба, по-солдатски сказал «порядок» и острием штыка как можно выше выцарапал на руинах гитлеровской канцелярии:

«Германия, запомни навсегда и мой штык! — Сын Армении.»

Я не знаю, кто оставил эту гордую надпись. Может быть, кироваканский или кафанский медник, может, карабахский тутовод или легринский виноградарь. Но кто бы ни был ты, мой современник, собрат по оружию, Родина снимает перед тобой шапку.

СОЛОВЬИНЫЙ ДЕНЬ

Какая ирония судьбы! Мы пришли в Берлин второго мая, в день, который у нас называют «соловьиным днем».

В этот день в Берлине отгремели последние выстрелы, фашистская армия вынуждена была прекратить сопротивление. В этот день, по поверью, при благоприятной погоде, в средней России начинает запевать соловей.

Погода нынче благоприятствует нам. Соловей вернулся в мертвый парк Тиргартен. Тревожно поет он над пустынной местностью, как некогда грустил он по разоренному гнездовищу в Курске или на Украине.

Да, есть же праведный суд на свете!

РУССКИЙ ХЛЕБ

Два отощавших мальчонки попросили у нас хлеба. Мы знали: Берлин голодает. Колченогий Геббельс обещал, уходя, так хлопнуть дверью, чтобы содрогнулся весь земной шар, вот он и хлопнул. Берлин без воды, без хлеба, без электричества. Он был бы стерт с лица земли, затоплен водами Шпрее, если б не подоспели советские войска, помешавшие гитлеровским заправилам осуществить свой зловещий замысел.

Товарищ, с которым я шагаю по Берлину, — будущий писатель Лазарь Карелин. Он — еврей. Я — армя-

нин. Об армянах еще совсем недавно Геринг писал в листовках: «Учесть недружелюбность армян к немцам». Память сохранила другие слова предшественника Геринга Вильгельма Гогенцоллерна, сказавшего о нашем народе: «Армян всех надо истребить, оставить лишь одного для этнографического музея». Еще не остыли печи Освенцима, где жгли детей и взрослых. Болью и ненавистью кипит сердце.

Мальчики, попросившие у нас хлеба, смущенно отводили глаза. Молча, не сговорившись, мы развязываем свои вещевые мешки, в которых лежал наш пайковый русский хлеб.

КАРАБАХСКАЯ ТУТОВКА

Отгремели последние выстрелы в Берлине. В честь Победы знакомый генерал пригласил нас, меня и Карелина, отобедать у себя.

Идя в гости, я прихватил с собой бутыль с карабахской тутовкой. Как она попала в Берлин, недолго рассказывать. В годы войны судьба свела меня с будущим писателем Лазарем Карелиным, тогда еще рядовым солдатом. Вместе мы писали книгу о связистах. И где только мы не побывали, собирая материалы для будущей книги!

Оказались мы и в Карабахе, и конечно же, не без участия Карелина. У отца моего, который жил в Карабахе, со здоровьем было плохо, мне надо было повидать его, и мой соавтор, идя мне навстречу, устроил эту поездку — убедил начальство, что для написания книги нам нужно побывать и в Карабахе.

Это было не дальше месяца тому назад. В воздухе уже пахло победой, и отец, снабдив нас бутылью с тутовкой, наказал распечатать ее в Берлине.

Просьбу отца я выполнил. А сколько героических усилий стоило удержаться от великого соблазна не трогать отцова подарка, не ознаменовать им какой-нибудь салют, коими так богат был конец войны!

Теперь этому событию рад даже Лазарь, от которого, что скрывать, тоже приходилось спасать эту разнесчастную бутыль.

И все-таки попеременно со мною бережно неся наш презент, загадочно завернутый в газету, он нет-нет да прокатывался насчет его не очень импозантного вида.

Да, это верно, наша бутыль особой импозантностью не отличалась. Была она из темного толстого стекла, непроницаемого для простого глаза, вдобавок перехвачена в горле не пробкой, а особой затычкой из тряпок, обмотанных сверху суровыми нитками.

У генерала нас сразу ослепил сервированный стол с расставленными на нем изящными бутылками. Особенно бросались в глаза красивые на них этикетки.

При виде всего этого мы уже не знали, куда деться со своей злополучной бутылью.

— А что это, ребята, вы за спиной прячете? Давайте-ка его на божий свет! — обратился к нам генерал.

Делать нечего, мы стали разворачивать газетные листы. Пока я освобождал горлышко бутылки от суровых ниток, вытаскивал из него тряпочную затычку, Карелин рассказал генералу о нашей поездке в Карабах, о наказе моего отца.

— А что же! Надо уважить старика. Давайте попробуем для затравки.

Я разлил по стопке.

— За Победу, — провозгласил генерал и первым опорожнил стопку. Отдышался, словно обжегся имбирем, вытер слезы, позвал ординарца: — Петров! Убери со стола всю эту батарею. Будем пить карабахскую тутовку...

И сегодня, по прошествии многих-многих лет, пользуясь случаем, рад сообщить своим землякам, что первый тост за Победу в самом Берлине был отмечен карабахской тутовкой.

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

В Горисе, районном центре Армении, в честь воинов, погибших в Отечественной войне, сооружался памятник-родник. На открытие его был приглашен гусан Ашот — народный певец.

Война только что кончилась, дорогой ценой завоевана победа: сколько прекрасных жизней оборвалось в одном только маленьком Горисе. И среди них Арменак, его друг детства...

Идя к трибуне, гусан еще не знал, что он скажет. Но вот его острый взгляд отыскал в толпе скорбную фигуру Астхик, матери Арменака. Старуха стояла, слегка опершись на плечо невестки, молодой вдовы. Лицо ее было торжественно печально.

Гусан теснее прижал к груди саз, и слова полились сами собой...

Вечно струится вода в роднике, вечно будет жива память о героях.

● ЖУРАВЛИ

ДОРОГИ

От нашего села бегут в разные стороны дороги. Одни разрисованы следами шин и гусениц, другие разбиты железными ободьями колес, на третьих — почерк наших давних вездеходов, частый переступ быстрых крохотных копытец ослов, которые еще не перевелись в наших горах, и, конечно же, следы человека, а если хорошенько присмотреться, то и тонкие черточки птичьих лапок. Птицы любят на сельских дорогах, купаясь в пыли, охотиться за поживой.

Я здесь родился. С детства хорошо знаю все дороги, начало и конец каждой из них. Если я пойду по этой, что вьется по крутизне, взбираясь вверх, к скальным вершинам, перережу вон ту гору, поросшую ореховым подлеском, потом ту, совсем без леса и растительности, то незаметно выйду на луговину с высокой перестойной травой, пестрой от избытка цветов и гулкой от пчел. А тропинки под ногами уже не будет. Она исчезнет неожиданно, уткнувшись в луговину, потеряется в ней, как бы до конца исполнив свой долг. Ведь и короткие дороги нужны людям!

Если же пойду по той, что стремительно бежит в долину, она приведет меня в царство туты, как бы принеся себя в жертву за доставленное мне удовольствие. А если вон по той... Начав свой путь, как и все другие наши дороги, с края села, счастливо обойдя все перипетии, за пределами нашего колхоза дорога эта выхо-

дит на большак, а там идет все дальше и дальше, пересекая чужие границы и города, соединяя наше маленькое село со всем миром. Не хитрое дело в наши дни по этому проложенному пути обойти весь свет.

Но из всех этих дорог я выбрал ту, которая еще не пробита. Веди меня, моя дорога, прокладывай свой путь по нехоженым кручам, и, если мы не выйдем на большак — не беда, по нашему первопутку пойдут другие.

У ПОДНОЖИЯ МОВАС-ДАГА...

У подножия Мовас-Дага, высокой горы в Карабахе, стоит пшатовое дерево. Огромный пшат, помнящий времена персидских завоевателей. Земля, на которой он стоит, — камень. А камень есть камень — в нем нет соков для жизни. Чтобы вскормить свой богатырский ствол, отягощенный мохнатыми ветками, пшат вонзил в камень корни. Корни эти необычные: они толстые, как слоновые ноги, и острые, как мечи.

И дерево стоит. Его не сгибает буря. Его не старит время. Каждое поколение наносит на толстую кору свою мету: надрезы на живом теле дерева. Ничего. И это переносит оно. Как милые знаки прошлого, немного стершиеся от времени, они глядят на нас. И мы нанесем свою метку, и наша надпись будет светить в веках как дорогие знаки для другого поколения...

Стоит пшат, прочно вжившись в камень. Возле него бьет из расщелины вода: холодная летом, теплая зимою. Прохожий, напившись, часок-другой посидит под его сенью. И дерево щедро награждает путника: летом — живительной прохладой, осенью — плодами... Каждый раз, задумываясь о тебе, мой родной очаг, я вспоминаю это дерево.

ЛЕТЯТ ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ

Каждый год в одно и то же время — я даже точно знаю когда — над нашим городом по своей постоянной воздушной трассе летят перелетные птицы.

Как только до моего слуха доносится их первый страстный вскрик, я бегу в ближайший сквер.

Соседи не понимают, куда это я несусь так стремительно. Даже домашние удивленно смотрят на мои поспешные сборы. В сквере хорошо наблюдать за птицами. Слышите? В лазоревой выси стоит литой, серебряный звон. Его и городской шум не в силах заглушить. А во-он там, смотрите, смотрите, живой, причудливый треугольник! Вон еще. Это журавли...

Лебеди летят очень высоко. Над городом поднимаются еще выше. Только и успеешь увидеть в разрывах огненных облаков ломаную линию полета, золото перьев, как у жар-птицы. Еще мгновение, и все исчезает за облаками.

Гуси летят ниже всех, и я вижу их длинные, будто сдавленные клювы, которые они несут перед собой, как плоские штыки, слышу их воинственные, призывные крики...

И я вспоминаю свое детство!

Наш двор был маленький, тесный, но дед, ни в чем не желая уступать состоятельным соседям, обнес его высоким каменным забором. Деду всегда хотелось, чтобы у нас было, как у людей, и потому в нашем дворе водилась всякая живность. Тут тебе и куры, и гуси, и утки, даже надутые цесарки с пышным красным гребнем, похожим на корону.

Надо было видеть всю эту пеструю пернатую братию, когда над селом высоко-высоко появлялись перелетные птицы.

Куры кудахтали, цесарки издавали тревожные, захлебывающиеся звуки. Даже всегда спокойные утки и те проявляли беспокойство: вдруг начинали возню между собою или шипя гонялись за петухами-забияками.

А наши дворовые гуси, взобравшись на забор и подражая голосам диких, бойко размахивали сильными крыльями, грозя в любую минуту сорваться и улететь с попутным ветром вслед за перелетными птицами.

Каждый раз, когда над моей головой раздается серебряный звон, я вспоминаю детство и наш маленький двор, высокий забор, на который забирались гуси, наивно полагая, что они оттуда непременно полетят.

Вот и сейчас, запрокинув свою седеющую голову, я смотрю на пролетающие птичьи косяки.

И я славлю вас, мои гуси! За ваш порыв, за вечное желание лететь!

Я НЕ ЗНАЮ ЕГО РОДОСЛОВНОЙ...

Я не знаю его родословной. Не знаю, когда он пришел к нам, откуда родом. Мои деды и прадеды пота не проливали, выращивая его. Он растет сам по себе, в свой срок неизменно принося свой посильный дар — продолговатые красные плоды, из которых в наших горах гонят спирт, варят варенье.

Он очень невзрачен, наш кизиловый куст. Ветки его растут прямо от земли. И, как бы боясь оторваться от нее, сейчас же устремляются вниз, тесно прижимаясь к корню.

В самом расцвете кизиловый куст едва подернут легкой розоватой дымкой. В другое время на него лучше не смотреть: зряшный куст, портящий вид наших живописных склонов.

А какая бьется жизнь в этом маленьком деревце, если бы вы знали!

Придет зима, закрутит поземка — и, смотришь, кизила нашего нет: ушел под снег.

Другие деревья зимой делаются будто ниже, а наш кизил исчезает совсем. Как же ему, деревцу-невеличке, сохранить голову, если даже орех в такой кутерьме выглядит крохотным, мертвым фонтаном, охваченным морозом.

Крутит поземка, слизывая снег в одном месте, наваливая в другом. Покачиваются оголенные, озябшие ветки ореха. Кажется, нет конца этим вихрям снежной пыли, поглотившим и горы и склоны.

И вдруг в белой кутерьме вспыхивает красное пламя.

Это кизил, почуяв запах весны, выбросил цвет, пробуя скинуть с себя ничего не подозревающую зиму. Но тщетно. Обозленная зима взвихрилась, зашумела, остервенело бросилась на маленький куст, погасив в нем первые робкие брызги жизни.

Опять вокруг белым-бело. Крутит поземка, покачивает орех озябшими ветками, и — о наваждение! — кизил снова выбросил свой цвет.

Зима с прежним задором кидается на маленький упрямый куст, но видит кизил: не та уж зима, не тот у нее запал.

Только орех по-прежнему уныло и безропотно покачивает озябшими ветками.

С трудом зима гасит вспыхнувшую новую жизнь. Немного погодя, как бы собирая силы после неравной, жестокой схватки, кизил, еще не верящий в перемену, ринулся снова в бой.

На этот раз старуха зима ничего уже не может поделать. Она сама угасает с каждым часом.

А маленький кизил, покрывшийся розоватой пеной, всем своим существом как бы говорит: не думай, зима, что ты меня победила. Я ведь выбрасывал пустоцвет. Настоящий, плодовый цвет я сберег в сердце.

КАПЛЯ СВЕТА

Робкий, откуда-то льющийся свет манит к себе. Чем темнее, тем больше этих зыбких огоньков вокруг меня.

Я еще мал, но знаю, что это за огоньки. То свет прячущихся в траве светлячков. Хоть и мал, но уже работник — я пасу овец и не ради светлячков торчу здесь в этот поздний час, когда небо так густо вызвездило.

Мне бы повыше подняться в горы со своим стадом, хорошенько накормить овец, а до светлячков мне нет никакого дела.

Так думал я, выбирая получше лужайки на круче для пастьбы. Но чего греха таить! Заботясь о корме для овец, я ловлю себя на том, что глаза мои сами собой ищут в траве светлячков.

Осторожно, крадучись я подбираюсь к мерцающему огню, беру его в руки, и горячий светлячок гаснет у меня на ладони. Что за диво?

Я снова ловлю каплю света, и снова она мгновенно гаснет от прикосновения моей руки.

Вечером я делюсь с дедом своим открытием.

— А ты не дотрагивайся, и они всегда будут светить, — говорит он мне.

Я чабан. Мое дело — пасти стадо. Я пасу овец и очень часто нарочно задерживаюсь в горах, будто для того, чтобы получше накормить свое стадо. От моих овец не убудет, если, лишний часок оставшись на пастбище, я еще раз погляжу на заманчивые огни светлячков.

Сегодня я снова задерживаюсь. Померкшее небо по-летнему высоко и чисто горит звездами. Такие же звезды светятся на склонах горы, где я пасу свое стадо. Будто кто-то плеснул на наши горы звездное небо.

И я знаю: звезды — это светлячки. Дотронусь рукой — сгинут. Я не трогаю их, и они в темноте неугасимо горят вокруг меня.

НА БЫСТРИНЕ

Река наша быстрая, шумная, только около села она вдруг затихает, умеряет бег, разливаясь по краям узкого русла, образуя светлые затоны.

Мальчишки нашего села давно облюбовали эти места: тут водилась рыба.

Я тоже ходил на рыбалку, ловил пескарей и гольцов, которых было в затонах великое множество. Один только Бадунц Нерсес ловил рыбу в верховьях реки.

Повадился ходить с ним и я. Из всех рыб здесь попадалась одна уклейка. Махонькая такая, меньше малька. Но попробуй ее поймать! Не рыба, а удар молнии. Чиркнет по воде — и была такова. Ну и глупец же этот Нерсес! Что он нашел в ней?

Разными хитростями наловив уклеек, мы пускали их в банку с водой и переносили в низовья.

Мой дед посмеялся над нами.

— Напрасный труд, — сказал он, — уклейка привыкла жить в быстрине. Вы этим только губите ее.

Слова деда подействовали на нас: мы с Нерсесом оставили уклеек в покое.

И теперь, по прошествии многих лет, я готов повторять за дедом: каждой рыбе своя вода.

Пусть живет в быстрине моя рыбка!

СМЕРТЬ, КОТОРАЯ НЕ ОГОРЧАЕТ

На верхушке дерева я увидел галочье гнездо. Вот еще. Вчера, позавчера не было видно этих гнезд, а сегодня не одно или два — множество гнезд обступает меня со всех сторон.

Не слышно пения птиц, шума листьев. Тишина давит уши.

Прислушиваюсь: как будто кто-то ворошит в мешке орехи. Это граб. Маленькие листочки его давно посохли, но не успели облететь. При ветре они теперь не шумят, как прежде, а издают этот сухой шорох. Листья на дикой яблоне порозовели, но еще не осыпались. Некоторые свернуты в трубки и обмотаны паутиной. Клейкие, красноватые листочки липы, падая, цепляются за кусты и стволы деревьев, лепятся к уцелевшим листьям и висят неподвижно, как самоубийцы. Кривые ракитки, тронутые осенью, пылают золотом. Осенние краски лежат повсюду: на каждом дереве, на каждом кусте, где погуще, где послабее. Только пшат стоит белый-белый. Он, как и человек, под старость седеет.

Умирает лес, но смерть эта не огорчает. Придет весна, лес снова зашумит молодой листвой, наполнится густым, веселым птичьим гомоном.

ПЕСНЯ, КОТОРАЯ НЕ УМОЛКАЕТ

По утрам, едва подняв голову, я слышу одну и ту же песню. То цикада. Она поет о своей короткой, однодневной жизни.

Найти на огромном тутовом дереве маленькую цикаду не трудно. Она живет в трещине коры тутовника. Там могилы ее предков, там ее дом.

Я подхожу к стволу дерева и без труда нахожу певунью. Но это не та, которая пела вчера. Это дочь ее, мать только передала ей и жизнь свою и недопетую песнь.

У молодой цикады прозрачные, воздушные крылья, которые легко носят ее острое, длинное тело. У нее много сегодня дел: надо поесть, найти друга, насла-

диться жизнью и допеть свою песню, чтобы завтра передать новой смене и жизнь, и песню...

На тутовом дереве пела цикада. Она пела о своей короткой жизни, полной неистребимой силы.

СОСЕДИ

У корня виноградной лозы кто-то обронил семя, и выросло деревцо. Пока оно росло и нуждалось в помощи, великодушная лоза не обижала его, делилась с ним и пищей, и водой.

Но вот дерево стало большим. У него теперь такие корни, что оно уже не просит пищи, а берет сколько ему нужно.

Виноградная лоза потеснилась. Она привыкла в обыденной жизни обходиться малым, и того, что оставалось от забывчивости соседа, вполне хватало ей, чтобы в свой срок налить грузные кисти винограда сладчайшим соком.

Все бы хорошо, если бы дерево не отняло солнца у виноградного куста. Оно раскинуло над ним ветви, раскудрявило крону. Только скупые пятна света проникали теперь между листьями.

Тут уж лоза не выдержала, попросила соседа потесниться, не заслонять солнца. Дерево только усмехнулось, поплотнее сомкнув над ней ветви.

Но проходил срок, и виноградная лоза снова радовала глаз новыми гроздьями — она ведь привыкла обходиться малым.

А дерево и сейчас растет без помех, безраздельно захватив солнце, но что-то никто не помнит, чтобы оно завязало на своих мощных ветвях хоть один плод.

СОСНА

Она лежала на земле, будто прилегла отдохнуть. Поверженные ветви ее шевелились, были еще теплые...

Час тому назад сосна жила. Она стояла на опушке леса как-то особняком.

Вокруг нее просторно, пусто. Чуть подальше начинался лес: тесно белели тоненькими стволами сосенки и березки.

И было солнечно одинокой сосне. От привольной жизни сосна разрослась, подняла высоко голову, раскинула широкую крону. Только изредка нет-нет да находила на нее тоска: не с кем было перекинуться словом на своем лесном языке.

Буря нагрянула нежданно-негаданно. Лес неподалеку забушевал. Тоненькие сосенки и березки гнулись к земле, жалобно стонали, но не ломались. Еще теснее переплетая ветви, как бы взявшись за руки, они поддерживали друг друга. Только сосна на опушке с гулом рухнула. Ее не спасли ни толстый сильный ствол, ни мощные корни. В трудную минуту они не заменили локоть товарища...

...Сосна лежала на земле, будто прилегла отдохнуть. На свежем щербатом пне еще не просохла клейкая прозрачная смола.

Жила бы сосна в лесу, среди братьев и сестер, век бы простояла несокрушимо.

ВЕТКА СИРЕНИ

На моем столе в вазе стоит ветка сирени. Из окна через крыши соседних домов я вижу ржавые проталины за чертой города, голые, унылые склоны, даже снег на макушках деревьев в самом городе, а в комнате у меня весна.

Мой товарищ живет в долине, на километр ниже меня. Весна к нему приходит на добрые десять дней раньше, и каждый год он из щегольства приносит мне в горы кусочек своей весны. Я рад бесценному подарку: в моем доме товарищ, приносящий сирень из низовья, самый дорогой гость.

Все знают, недолговечна жизнь сирени в комнате: день-два покрасуется она в вазе, щедро одаряя людей свежестью, благоуханием, а там, глядишь, закрылись глазки крохотных цветов, побурели, завяли листья. И, как ни жаль сирени, нужно осторожно, чтобы не осыпались на пол цветы, вынести ее из комнаты.

Но я не спешу это делать. Я знаю одну хитрость:

если заново подрезать ветку и опустить ее в горячую воду, сирень снова будет жить. Я проделываю это, и сирень оживает. Правда, ненадолго — вспыхнет и сгорит.

За моим окном вьется серебристая пряжа — пух тополя и одуванчиков, заметая белыми пушинками крыши домов, тротуары, аллеи скверов.

Весна пришла и к нам.

Теперь уже не трудно и самому достать свежую сирень, но я по-прежнему верен себе: раньше срока не выношу ее из комнаты.

Вот и сегодня. Я беру ветку увядающей сирени, подрезаю ее и опускаю в горячую воду...

Пусть сгорает моя сирень, не зная старости!

ЛИСТ КУВШИНКИ

Услышав мои шаги, лягушки шлепнулись в омут. Я подошел ближе. Как все непроточные воды, омут был недвижный, тихий, затянутый зеленой мутью. Только лягушки оживляли этот незавидный пейзаж здесь и там, задрав лупоглазые головы, готовые скрыться под ряску при малейшем шорохе.

Я рыболов. Мне нипочем ни захламленное дно, ни водоросли, затруднявшие мои шаги. Я иду, по пояс погруженный в омут. Мне нужен улов. Что с того, что зуб на зуб не попадает? Я знаю: не замочив ног, не наловишь рыбы.

И вдруг я вижу: перечеркнув мертвую неподвижность, слегка покачиваясь, плывет по воде лист кувшинки. Вглядываюсь. Лист несется, увлекаемый светлой, прозрачной струей, бегущей посреди омута.

Я смотрю на эту струю, вижу чистое дно, обточенные камешки, шныряющих взад и вперед мальков, золотой песок. Смелее закидываю лесу в воду. Теперь я знаю: омут вовсе не омут, а речная заводь, где всегда хороший улов...

Вот если бы так, с упрямством рыболова, мы открывали в человеке эту светлую струю.

ЯСАМАН — ОБИДЧИВОЕ ДЕРЕВО

Кто живет на нашей улице, тот, верно, видел этот небольшой сад, огороженный голубой затейливой оградой. Много разных деревьев растет в этом саду, и среди них ясаман, белая сирень.

Жители нашей улицы знали все деревья наперечет, знали даже их привычки: когда выбрасывает свои белые свечи каштан, когда покрывается ранним, нежным цветом абрикос или вишня, различали очень схожие между собою запахи ели и азалии, и, конечно, все вместе любовались сиренью, красавицей ясаман, которая как бы делилась с людьми своей щедрой красотой, овевая сад и всю улицу густым, сильным, ни с чем не сравнимым запахом своих цветов.

Я переехал на эту улицу недавно, успел полюбить сад, но у меня была обида на садовника, который, по-моему, по-разному относился к своим подопечным. Его долг охранять сад, все девяносто деревьев за оградой, не отдавая предпочтения никому из них. Старый, почтенный садовник, о нем в нашем городе идет добрая слава, а вот, поди же, какой несправедливый. На его глазах мальчишки, которые нет-нет да и проникали в сад, безнаказанно ломали ветви ясаман, обирали ее цветы. Даже многие юноши, становясь на ограду, обрезали белую метельчатую кипень сирени и тут же на виду у всех преподносили своим девушкам, а садовник будто и не замечал.

Я решил при первой же встрече высказать ему свое неудовольствие.

Садовник не обиделся, он только улыбнулся и повел меня в сад, к тому самому дереву, которое больше всего обижали мальчишки и влюбленные.

— Ясаман — обидчивое дерево,— сказал он.— Если его не замечают, не срывают цветы, на другой год уже не цветет.— И садовник показал на обрубленный сук, который вместо одной ветки выбросил густую метелку молодых побегов.

Я извинился, и с тех пор у меня с садовником мир и согласие. Я теперь не огорчаюсь, когда юноши ломают ветки сирени для своих любимых, и, чего греха таить, в пору цветения и у меня на столе не переводится сирень, которую я рву в том же саду.

Сейчас на дворе весна, цветет сирень, она уже благоухает и над моим столом.

Я благословляю тебя, ясаман, твою щедрость, твою благородную обидчивость.

Ясаман — обидчивое дерево!

ВСЕ ЕЙ НИПОЧЕМ

Все нипочем нашей речке, все ей под силу. В минуты гнева — не струится, а скачет среди скал, громыхая большими камнями, грозя раздвинуть гранитные берега. Шальная горная наша речка, бегущая невесть куда и невесть откуда...

Сегодня она необыкновенно тиха. Снег растаял, а весенние дожди еще не разыгрались. Течет тихо, мирно, в ней и небо, и облака; повернутое вниз головой, удлиненное, несуразное дерево, какая-то нарядная пичужка на ветке, тоже смешно опрокинутая вверх тормашками.

Она может стать и такой, тихой и умиротворенной — хоть глядись в нее, как в зеркало.

Течет она, отражая и солнце, и небо, и нарядную пичужку на ветке — весь окружающий мир,— не отражая лишь самое себя.

СЛУЧАЙ В ЯЛТЕ

Это ни на что не похоже! Ведь договорились же, клялись друг другу раньше шести утра не стучать на машинке, щадить сон товарища, коллеги по ночным бдениям — это было в доме творчества писателей в Ялте — ан нет, нашелся отступник, который чуть свет — а светает здесь, на юге, сами знаете, ранее раннего — садится за машинку и... пошел трещать. Коллегой называется, в грош не ставит ни сон товарища, ни данный зарок, нарушает все клятвы...

Во время завтрака плохо выспавшиеся писатели с укором и обидой смотрели друг на друга, стараясь угадать: кто все-таки этот отступник? Но тщетно — все одинаково были обижены, никто не опускал

глаз перед осуждающим взглядом товарища. Никто себя виновным не считал!

И все-таки каждый думал про себя: «Хоть ты и великий артист, дорогой коллега, но совесть все-таки у тебя есть, не съел же ее до дыр, с завтрашнего дня угомонишься, дашь своему товарищу поспать, не поднимешь его чуть свет своей трескотней».

Но напрасно обольщали себя надеждой: отступник и на другой день как ни в чем не бывало в свой час начинал стучать.

И решили писатели выследить, изобличить негодника. И выследили. Негодником оказался... дрозд-пересмешник, который с удивительной точностью передавал все нюансы нехитрой работы машинки — движение каретки, речитатив клавишей со всеми паузами!

БЛИЗКО СИЯЛИ ОГНИ...

Изюбр бежал от преследователя.

Минутой раньше он безмятежно обгладывал гладкие, подмерзшие побеги.

Тайга — друг и враг ему. Она укрывает его от невзгод, но она насылает на него и беду.

Как молнии сверкали между деревьями раздвоенные изюбровые копытца. Еще мгновение — и он потонул в белом сумраке тайги.

Изюбр умерил бег, отдышался. Казалось, он ушел от преследования. Но когда повернул голову, то увидел: за ним несется на лыжах охотник.

Долго бежал изюбр, роняя пену, но, как только оглянется назад, видит: за ним неотступно идет охотник.

Теперь копытца уже не высекали молнии. Израненные, они оставляли на снегу розовые следы.

Преследуемый, изюбр вышел из тайги. Близко сиял огнями поселок.

Изюбр остановился, вскинул красивую голову с кусочком заледи на дрожащей усатой губе, испуганно посмотрел на огни, на шумный поселок и... ринулся вперед. Туда, где огни, где люди, ища спасения от браконьера.

ЧАЙКИ НАД СЕВАНОМ

Они были очень красивы, чайки над Севаном. То падая в кипящие воды, то взлетая высоко, они носились над нашими головами будто для того, чтобы еще раз блеснуть перед нами своим пилотажем, неправдоподобно белым подбоем крыльев.

Как подобает в таких случаях, за борт полетели куски хлеба. Чайки мгновенно исчезали в волнах и тут же взмывали, зажимая в клювах добычу. Особенно ловкие хватали хлеб на лету. А те, которым не доставалось ничего, все равно, ликуя, чертили воздух, гортанно, с клекотом, кричали.

Еще через минуту-другую чайки стали отставать, их становилось все меньше и меньше, и наконец они вовсе исчезли.

— Как странно. На море чайки летают за пароходом далеко. Они могли дойти до другого берега,— высказал один из пассажиров.

Капитан, немного обидевшись, возразил:

— Не могли. Чайки мерят море не длиной, а высотой. Высоте же Севана позавидует и океан.

ВИНОГРАДНЫЙ УС

Щедр виноградный куст. Но сколько бы ни висело на нем добрых гроздей, ветки не гнутся, не никнут под их тяжестью.

Вглядитесь и увидите почему. Ветку с виноградом надежно охраняет неприметный глазу вьющийся ус, который, цепляясь за опору, накрепко обвивая ее, поддерживает лозу. Засохший усик даже через много лет выдерживает тяжесть.

Когда за пышным армянским столом первый тост поднимают во славу виноградной лозы, я хочу, чтобы не обошли добрым словом и этот маленький ус.

ЗАВЯЗИ, СХВАЧЕННЫЕ МОРОЗОМ

Пришла весна, несмело прошлась по земле, трогая на ней каждую былинку, и от этого прикосновения все вокруг оживало, цвело, ярилось.

От ласки пробудились и деревья, весь сад, вспыхнув бело-розовым пламенем. Но ударил мороз — в жизни чего только не бывает,— он убил завязи. Деревья остались бесплодными. Сад опустел.

У меня был друг. Жизнь часто обижала его, обходила стороной. Одни сочувствовали ему, другие советовали:

— Пустое, не переживай!

А он жил, принося людям свое большое необласканное сердце, и умер в безвестности, как те завязи, схваченные морозом.

СОБОЛИ

В соболином заказнике переполох: соболи вырождались, становились хилыми, их делалось все меньше и меньше, того и гляди вовсе исчезнут.

Отстрел разрешался далеко от заказника, на недоступных кручах гор, браконьерство было полностью изжито, но все равно соболиный род в заказнике заметно убывал.

Администрация сбилась с ног, что за беда стряслась над соболями — разгадать не могли. И наконец поняли: жертвой отстрела на трудных охотничьих тропах становились самые сильные и выносливые соболи, потомство же шло от слабых и хилых, оттого и выводились в заказнике соболи. В науке это называется отрицательной селекцией.

Прекратили отстрел сильных соболей на дальних подступах заказника, и соболиный род снова ожил.

ИДЕТ НЕРЕСТ

Рыба шла косяками, волна за волной, заполнив тихую таежную реку от берега до берега. Шла, поблескивая жаберными тычинками и ярко серебристой чешуей. Рыбаки знают: на нерест рыба облачается в брачный наряд...

Идет промысловая рыба, и все неводы мира, от ставных ловушек и кошельковых сетей до мальчиковой закидной удочки с живцом, отступают перед ней.

В это время школьники переносят свои пионерские костры подальше от берегов. Взрослые, проходя мимо реки, стараются не шуметь, а машины пробираются впотьмах с погашенными огнями и без гудков...

Есть неписаный закон у рыбаков: во время нереста рыб не тревожить.

БЕЛЫЙ ВОЖАК

Мощные, витые рога, устремленные вверх, белая бородка. Белая шубка на всем его теле, чуть-чуть бурая под брюшком... Козел был как козел, какого мы привыкли видеть в горах, во главе отары овец.

Мы знаем, власть белого вожака в стаде непререкаема. Овцы бездумно следуют за ним, и вожак никогда не подводит их: он всегда со стадом, всегда впереди его, открывая ему и новые пастбища и безопасные пути.

Но этот нарядный хлыщ в белой шубе, которого мы увидели на мясокомбинате, не искал для ведомых зеленого пастбища или безопасных путей. Совсем для другого он употреблял свою власть.

Овцы на мясокомбинате неохотно идут в электрическую бойню, где их убивают током. Они упираются, недоброе чувство сковывает их.

Для облегчения этой процедуры кто-то придумал такой прием: впереди легковерных овец пускали козла... За услугу козел вознаграждался сахаром.

И не знал сластена, что, щедро облагодетельствованный сахаром, он презрительно назывался козлом-провокатором.

ОТКРЫТИЕ... УЛИЦЫ

Передо мною пригласительный билет. Трест «Ергорстрой» приглашает меня на открытие... улицы.

Открытие улицы! Не ошибка ли?

Я помню открытие детской железной дороги, которая веселой стальной тропкой пролегла по живописному берегу реки. Побывал на открытии фонтана-фейерверка на площади Ленина, вместе с другими ере-

ванцами радовался открытию в сквере имени Шаумяна 2750 фонтанов, посвященных юбилею Эребуни.

Много малых и больших дел совершается каждодневно в нашем городе. Но открытие... улицы.

Нет, ошибки не было. Я видел, как открывали эту улицу. Десятки автомашин, нагруженных домашним скарбом, вытянулись по ней. Это заселялись новые, только что вступившие в строй дома.

Новую улицу назвали именем Комитаса, великого армянского композитора. Теперь любой прохожий может любоваться ею.

ВЕСЕННЕЕ

Я иду по городу. Вчера руки немели в перчатках, сейчас без перчаток я не ощущаю холода. А вон, в нежной, только что распустившейся листве проглядывает серебро. Это пшат пробует выбросить седой белый цвет. А вот ласточка кружится над карнизом дома. Я не сомневаюсь, что у нее под карнизом гнездо, ласточкин домик, где ждут только что вылупившиеся из яйца крохотные птенцы, с разинутыми розовыми клювиками...

Приход весны неуловим, как неуловимо само счастье.

Говорят, у каждого города свое лицо, свой неповторимый голос. Голос нашего города — это серебряные султанчики фонтанов из крохотных каменных раковин. Воды в Ереване много, чтобы напиться, надо сделать несколько шагов до ближайшего фонтанчика.

А наши деревья, которые бегут вдоль широких улиц и проспектов, пересекают площади, овевая город прохладой? А дома, ереванские дома, построенные из цветного туфа, придающего городу спокойную розоватую окраску?

Я иду по городу. Звенят трамваи, пролетают автомашины, и они не заглушают журчания воды в раковине.

Над моей головой пролетела ласточка. Она несла в кончике клюва соломинку.

ПУТЬ ТЕБЕ ЧИСТЫЙ...

Серые внимательные глаза токаря смотрят на кончик резца. Взвихрилась металлическая стружка. Поймав блеск дня, она с мягким звоном отрывается от резца.

Первая операция окончена. Грубая заготовка, поступившая из кузнечной, идет дальше — на новые станки.

На девятой или десятой операции деталь начинает обрастать неизбежными спутниками. На нее наденут полюса... Наконец ее водворят в статор. С этой минуты она будет именоваться генератором. Это — последний этап превращений.

Умные руки литейщиков, кузнецов, токарей осуществили замысел конструкторов, чертежников...

И вот вбит последний гвоздь в ящик, в котором заботливо упаковано электрооборудование. Зорик Кешишян, репатриированный армянин, еще совсем недавно чистивший сапоги у господ на чужбине, благоговейно сдерживает дыхание, выводит:

«Москва... Братск...»

Путь тебе чистый, генератор!

АЛЬБАТРОС

Есть такая океанская птица — альбатрос — красивая, бесстрашная птица, неутомимый паритель, овеянный песенной романтикой.

Когда альбатрос не в полете — беспомощен и неумел, его даже трусливые гагары клюют. У альбатроса слабые ноги. Чтобы взлететь, он подползает к береговому обрыву и камнем падает вниз. Только в полете, расправив свои узкие длинные крылья, он становится таким, каким живет в песне...

Друг мой в работе — зверь, великан. Но его всю жизнь били. Били крикливые завистники. Друг злился, и эта злость придавала ему силу. От ударов у него как бы вырастали крылья. Как у альбатроса, когда он в полете.

ЖУРАВЛИ

Летят журавли. И ночью и днем. И днем и ночью. В дождь и в вёдро.

Днем они летят без песни, крыло к крылу, словно отдыхая, а ночью... Слышите?

— Курлы... Курлы...

Это журавли посылают свое курлыканье вперед, и головной журавль улавливает отражение звуков и уводит стаю в сторону от препятствия.

Трудно журавлям. Особенно трудно головному. Он первый принимает на себя ветер, он должен быть сильным!

БЕЛЫЙ ГРЕБЕНЬ ВОЛНЫ

У берега моря лежит валун, обточенный до совершенства. Белый гребень воды, набежав на камень, на мгновение обнял его и снова с легким плеском ушел в море. А камень будто еще ярче засиял, стал еще совершеннее.

Посмотрел молот на работу волны, позавидовал — ему захотелось вытесать камень, похожий на прибрежный валун. Но сколько он ни старался, ничего у него не выходило. От удара молота скалывался кусок, а камень по-прежнему оставался уродливым.

— Как ты добилась этого, вода? — в отчаянии спросил молот.

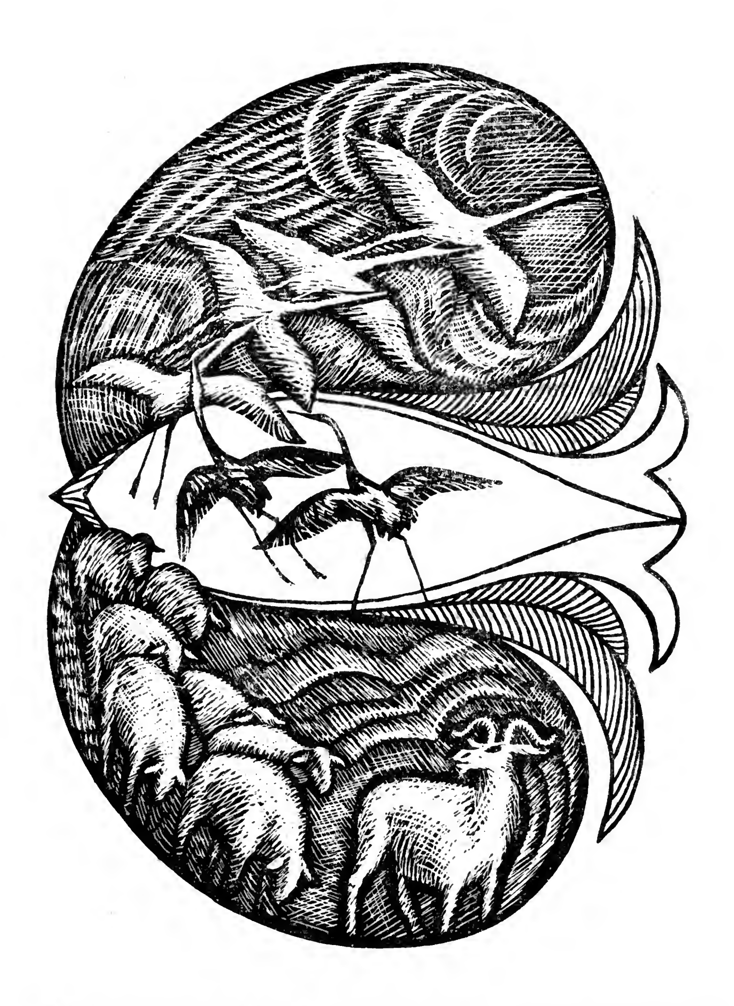
— Я не бью. Я ласкаю,— был ответ.

АБРИКОСОВОЕ ДЕРЕВО

— Как разыскать мне хоть одного земляка в вашем городе? — спросил я у старожила Владивостока.

— Идите по дворам, как увидите абрикосовое дерево перед домом, постучитесь, и вы не ошибетесь дверью.

Я выбрал свободный час, заглянул в первый же попавшийся двор. Стоит посредине абрикосовое дерево.



Я смелее нажимаю на кнопку звонка. Здесь уж наверняка живет кавказец.

Дверь приоткрылась, и в просвете показался вихрастый русский мальчуган.

— Кто здесь живет, мальчик?

— Здесь мы живем, Савельевы.

Меня это не огорчило. Я рад, что наши кавказские посланцы хорошо прижились под живительным дальневосточным солнцем.

НА ЛИТЕРАТУРНОМ ВЕЧЕРЕ

Это было на литературном вечере, в Приморье. Мы читали тихоокеанским морякам свои произведения. Первым выступаю я. Аудитория никак не реагирует. Ни одного хлопка. «Не понравилось»,— подумал я. Читаю другую миниатюру. Безуспешно. Слушатели мои молчат.

Товарищи уже волнуются за меня, подсказывают:

— Смешное, смешное читай.

Я выбираю самый смешной рассказ, но результат тот же. Ни звука.

С тяжелым сердцем я покидаю трибуну. Но едва только схожу с нее, как раздается грохот, сыплются хлопки.

Оказывается, по издавна сложившейся традиции здесь все аплодисменты приберегают под конец.

Если бы награды, заработанные тобой, выдавались вовремя, не оставлялись к концу! Как легко тогда дышалось бы человеку!

КЯНКЯНЫ

Среди голых выжженных солнцем холмов я увидел село, а вокруг него сады, посевы, густая зелень. Местность была безводная.

Я спросил, откуда все это.

— Здесь кянкяны прошли,— ответили мне люди.

Я иду дальше по выжженной земле и снова вижу цветущие сады, посевы.

— Откуда? — снова спрашиваю я, и снова люди отвечают мне:

— Здесь кянкяны прошли.

Кянкяны — мастера артезианских колодцев. Как сказочные богатыри, они несут живую воду людям, скупым, бесплодным полям.

И мне чудится: идет кянкян, а за ним, там, где ступает его нога, поднимается жизнь.

Впереди показались коричневые железные крыши домов, буйная зелень вокруг них. И я подумал:

«Вот если бы так сквозь жизнь людей кянкяном пройти!»

● БЕЗ СЕМИ МУДРЕЦОВ

ВОРОБЬИ

Наши места богаты птицами. Но из всего пернатого мира только воробьи по-настоящему были верны нам.

Другие птицы прилетали и улетали, не привязывались к нашей земле, а воробьи даже зимой не покидали села.

Вообще воробьи зимою — это не то, что летом. Зимою, если хорошенько поохотиться, воробья можно голыми руками поймать.

А летом?.. Попробуйте летом близко подойти к воробьям! Веселыми брызгами они перелетают с одного места на другое, ливнем падают на деревья. Шумный, вертлявый народ.

В детстве я почему-то был уверен, что воробьи привыкают не к месту, а к людям, считал, что есть воробьи наши и есть воробьи соседские. И совершенно был убежден, что, когда мать сзывает кур, чтобы насыпать им зерен, на ее зов слетаются вместе с курами одни только наши воробьи. Даже знал их приметы. А какие они ручные, жалкие зимою! Озябшие, взъерошенные. Или прикидывались они такими? Разве узнаешь, что в голове у этих хитрых птах?

Были наши воробьи большие лакомки. А лакомиться у нас в горах летом всегда есть чем. Тут тебе и череш-

ня, и груши, и виноград, и мушмула. Но особенно обожали они туту. И не то чтобы воробьи были прожорливы! Перелетая с ветки на ветку, резвясь, они ссыпали много спелой туты.

У нас в доме из-за этого терпеть не могли воробьев и гнали их из сада. А сколько проклятий высыпала на их головы только одна наша бабушка, не говоря уже о дедушке, который целый день покрикивал на них «киш-киш» и размахивал палкой! Гоняли воробьев все. Даже пугало в садах и на огородах выставляли, чтобы они держались подальше от дома.

Мне было не то восемь, не то девять, когда в нашей местности пронесся слух: идет саранча.

Забили церковные колокола. Дед, бабушка, мать, мой старший брат, все взрослые в доме, схватив что попало под руку, выбежали на улицу. Через минуту село опустело. И стар и млад — все двинулись навстречу саранче.

По тому, как в селе переполошились, я смутно догадывался, что случилась беда, и со всех ног кинулся за взрослыми.

Вот она, саранча! Грозная, белесая лава, заполняя собой траншеи и ямы, которые выкапывались на ее пути, все надвигалась и надвигалась.

Я пришел в ту минуту, когда люди уже выбились из сил, а саранча все шла и шла. Вот она перевалила через зеленый бугор, оставляя за собой голую землю, вот подбирается к другому склону. До нашего села уже рукой подать!

Если саранча пройдет по нашей земле, по нашим садам и полям, все станет таким, как этот голый бугор!

Но вдруг небо потемнело: воробьи! Сотни, тысячи, тучи воробьев.

Я как сейчас вижу, с какой яростью они сражаются с саранчой. Воробей не поедал саранчу, он только поражал ее. Ударит клювом, как молоточком, поведет им по земле, снова ударит.

Неподалеку, весело журча, бежал маленький звонкий ручей. Уставшие, потемневшие от пыли воробьи с лету окунались в звенящую струю, плескались в ней, и, взъерошив пух, отряхиваясь, снова бросались в бой.

Саранча была остановлена. Получив такую подмогу, люди добили ее.

Теперь воробьев в нашем селе не гонят из садов, не посылают им проклятий. Они по-прежнему летом перелетают с одного дерева на другое, осыпают с веток спелую туту, но никому и в голову не приходит обижаться на них.

АЧАН

В нашем селе у новорожденных щенят обрезали уши, а иногда и хвост. Сторожевой пес с обрезанными ушами и без хвоста бывает очень злым. Злость у собак почему-то люди считают достоинством.

Когда у нас появилась Ачан, дед обрубил ей уши да вдобавок еще посадил ее на цепь.

И все же собака не стала злой.

Я не помню, какой была Ачан маленькой, но взрослая Ачан была очень добрая. К людям она привыкала с первого же знакомства. Подойдет, обнюхает ноги незнакомца, порой даже ощерит желтые зубы, слегка поворчит, а через минуту уже помахивает хвостом, ждет ласки.

Обычно Ачан у нас называют собак-брехунов, шумных, неспокойных. Не такой была наша собака. Если ее спускали с цепи, она только и делала, что гонялась за воробьями или, садясь у плоского камня возле ворот, принималась ловить мух. И все это спокойно, без ярости, без единого звука.

Должно быть, ее назвали Ачан в насмешку. И только в одном она проявляла свой собачий норов: терпеть не могла чужих петухов, которые иногда появлялись у нас. Ачан хорошо знала всю живность в нашем дворе, всю, до последнего цыпленка, и по-хозяйски опекала ее.

С петухами-чужаками, забредавшими к нам во двор, Ачан обращалась круто. Она гонялась до тех пор, пока обессиленный петух, пошатываясь, не свалится, не забьется. Только после этого прекращалось преследование жертвы.

Забредали к нам и куры. Но это редко. Куры — это тебе не петухи, которые переносили преследования

мужественно. Куры поднимут такой галдеж, раскудахчутся, захлопают крыльями, взметая клубы пыли, что Ачан только и оставалось, поджав хвост, удирать со двора. Она не терпела возни и шума.

Раз был случай: петух, преследуемый Ачан, ткнулся о землю и притих. Крылья его даже как-то бессильно раскинулись в стороны.

Надо было видеть Ачан! Она забилась в угол двора, целый день скулила и ничего не ела, по-своему, по-собачьи оплакивая смерть петуха.

И хотя ее никто не наказывал, она долго не могла прийти в себя.

— Добрый пес во дворе — это все равно, что отмычка от хлева в кармане у вора,— жаловался дед.

Почти каждый год Ачан приносила щенят. Дед уставал подсовывать их соседям. При этом он начинал так расписывать Ачан, ее чистую кровь, ее несомненные достоинства, что мы с братом готовы были поверить каждому слову деда. Впрочем, соседи уже знали правду о «чистых кровях» Ачан.

У каждого соседа во дворе была уже своя Ачан, потомок нашей,— будь дед втрое красноречивей, все равно ему не сбыть бы с рук уже ни одного щенка.

И вот однажды Ачан принесла сразу шестерых. Дед оставил двух щенков себе, а остальных, положив в мешок, унес куда-то.

С этого дня наша Ачан переменилась: не гонялась за воробьями, не преследовала чужих петухов, даже мух не трогала. Целый день она была со щенятами, кормила их, облизывала или, положив голову на лапы, задумчиво смотрела в одну точку.

Иногда она оставляла щенков и убегала со двора.

Мы с братом решили проследить за Ачан.

За нашим домом был заброшенный саманник с провалившейся крышей. Ачан пролезла через дыру в стене и скрылась в саманнике.

Мы подошли поближе и видим: лежит наша собака в углу саманника, а четверо пушистых дымчатых щенят точь-в-точь как те, что у нас во дворе, припали к ее соскам. Оказывается, Ачан нашла своих детенышей, спрятала их от деда в саманнике.

Вечером за едой мы рассказали об этом деду. Он поднял голову от миски, на минуту перестал есть, по-

просил пересказать то, что мы видели, и залился хорошим, добрым смехом.

Спрятанных щенков из саманника мы перенесли во двор. Так велел дед.

Теперь Ачан никуда уже не отлучалась. По-прежнему неудачно она гонялась за воробьями, преследовала чужих кур и с еще большей свирепостью гоняла петухов с нашего двора.

НА ОХОТЕ

Дед мой — в нашем селе все знают об этом — меткий стрелок и заядлый охотник. Еще говорят, что будто бы удачливее охотника, чем мой дед, не только в нашем селе, но и во всей округе не сыскать.

К этим словам прибавить или убавить я ничего не могу. Дед не имел привычки брать меня с собой на охоту. Не только меня, и других внуков, которых у него было великое множество. Все отнекивался, не хотел брать, да и только. От себя могу только прибавить: охота не была для него ремеслом.

Взгромоздившись на осла, перекинув через спину его переметную суму — хурджин с двумя лямками, в которых лежали кувшинчик с водой и еда, и отправляясь за горы жать чужой хлеб, он брал с собой свой дробовик, двустволку, бережно придерживая ее поперек палана — облезлого седла, сшитого из грубой домотканой материи, набитого тряпьем и соломой. В лямках же, кроме кувшинчика и еды, был еще видавший виды зазубренный серп, обернутый тряпкой.

А за дедом неотступно, куда бы он ни подавался,— Казбек, пес с обрезанными ушами и хвостом.

Вечером дед таким же манером возвращался домой, но с пухлыми от травы лямками для осла, с тем же серпом, торчащим из хурджуна, и непременно с подстреленной в пути птицей или парой-другой зайчиков, перекинув их через палан, чтобы люди видели, знали — пусть он трижды дед, но еще не уступит никому из молодых в меткости стрельбы.

Получилось так, что однажды дед смилостивился, взял меня с собой. Вернее, я увязался за ним, несмотря на уговоры и посулы.

Рядом со мною, потряхивая гривой, трусит Казбек и, конечно же, не обращает никакого внимания на меня. Я для него никто. У собаки бывает один хозяин. У нее он есть. Она избрала деда.

Над нами косяками носятся какие-то птицы. Казбек, повеселев, азартно бежит вперед, обгоняя деда, призывным собачьим взглядом зовя его за собой.

Дед наконец легко спрыгивает с осла, держа ружьецо наготове. Казбек останавливается и бдительно принюхивается к воздуху. Остатки ушей, торчащие из густой шерсти кудлатой головы, от нетерпения дрожат.

Оставив осла пастись у дороги, дед нетерпеливым шагом идет по косогору, поросшему мелколесьем, время от времени исчезая за кустарниками.

Казбек трусит чуть впереди, вывалив язык, задрав вверх куцый хвост. Сразу видно: пес теперь при деле.

Казбек вдруг принюхивается и, рванувшись, бежит вперед, в заросли. В воздух с шумом взлетает перепелиное семейство.

Дед стреляет дуплетом. Перепела разлетаются в стороны, не роняя даже перья. Ничего, у охотников, наверное, так бывает. В другой раз повезет.

Казбек снова бежит вперед. Выстрел. Опять промазал. Но вот птица с бурым подбоем крыльев садится на ветку. Куропатка. Дед на цыпочках подбирается к ней, высунув из веток ствол, с деловитой неторопливостью, прикрыв один глаз, долго и мучительно целится. Наконец над веткой вспыхивает облачко дыма. Куропатка тяжело взлетает и как ни в чем не бывало улетает восвояси.

Я от смущения прячусь за кусты. Даже Казбек, заметно приуныл и умерил пыл и, провожая птицу долгим непонимающим взглядом, непрощающе смотрит на деда.

Дед неистово бранит свое ружье. У него, оказывается, и мушка неправильно посажена, и ствол раздут! Вот наказание! У такого охотника и вдруг отказало ружье!

Правда, злые языки, узнав о знаменитом провале деда, стали поговаривать, что ружье тут ни при чем. Что дед просто постарел. Ему бы давно бросить охоту. И другие зловредные слова...

И никому в голову не приходило, что дед не попадал в птицу из-за меня. Он не хотел ожесточить мое детское незащищенное сердце.

ПОВЕСТЬ МОЕЙ ЮНОСТИ

Тута! Тута! Щедрая, веселая многородящая тута! Не знаю, сколько лет стоит наше село на этом склоне, но деревья, окружающие его, растут здесь давно. Это от них белым-бело в садах, и аромат сладких, перезрелых плодов преследует вас повсюду.

Самые ранние воспоминания детства у меня связаны с тутой. Вот наши собираются в сады, сегодня начало труски туты.

Я еще в том возрасте, когда весь запас слов родного языка ограничивается одним: «агу».

В арбе — кадки, ушаты. Колеса стучат по придорожным камням, кадки и ушаты гулко бьются друг о друга. Арба выносит нас за село...

Отец приставляет к толстому, морщинистому стволу дерева лесенку и медленно взбирается вверх. Гулкий удар дубинки по ветке — и шум падающих ягод на полотнище. Такие же удары дубинки и шум падающих ягод раздаются то там, то здесь.

Я сижу на краю циновки, передо мной горка ягод. Я ем свежую туту. «Агу»,— возвещаю я, требуя к себе внимания взрослых, которым нет до меня дела. «Агу»,— ору я, отбиваясь от роя мух, атакующих меня со всех сторон. «Агу»,— бросаю в прохладу утра единственное слово, которое знаю, слово, которое означает благодарность за щедрое угощение.

Колеса снова стучат по камням, деревянные кадки и ушаты бьются друг о друга, и арба опять катит нас в сады. Но теперь по приставной лестнице на дерево взбираюсь я...

Тута! Тута! Радость моя, радость друзей моего детства, моих сверстников, радость и матерей, потому что ты избавляла их от забот о куске хлеба для нас на все лето. Какое еще лакомство полезет в рот, если в садах так много опавшей туты!

Но постой, что это? Я ударяю дубинкой по ветке дерева, а ягоды летят мимо.

— Куда бьешь, не видишь, где полотно? — кричит на меня дед и тут же замолкает.

Мимо дерева проходит девушка. У нее две толстые, длинные косы: одна перекинута через плечо на грудь, другая струится по спине. А лицо...

Какое мне дело до кос этой девушки, до ее лица! Я ударяю по ветке, снова ягоды летят мимо полотна. Дед больше не делает мне замечаний, только бубнит под нос что-то вроде «молодо-зелено» и долгим взглядом провожает девушку.

Но это уже не дни моего детства, это повесть моей юности.

КУЗНЕЦ ВЕРДИ-ДАИ

В наше село приехал на машине человек. Эта была первая машина, которую мы видели. Все жители высыпали на улицу, один только кузнец Верди-даи не тронулся с места, продолжал работать у наковальни. Незнакомец вышел из машины и послал мальчика позвать кузнеца.

— Дедушка Верди, тебя зовут! — крикнул мальчик, подбегая к кузнецу.

Верди-даи, не отрываясь от дела, ответил:

— Передай, что я занят.

Мальчик передал человеку у машины слова кузнеца, и тот улыбнулся.

— Скажи, что по важному делу зовут.

Мальчик побежал к кузнецу и скоро вернулся.

— Что он сказал? — спросил гость.

— Сказал, что он занят самым важным делом, какое только есть на свете.

Гость достал папиросы, закурил, дал закурить другим и сказал:

— Ну что ж, раз так, придется подождать.

Кузнец кончил работу, вытер руки о фартук и подошел к незнакомцу:

— Чем ты занят, мастер, что не уважил просьбу приезжего? — спросили кузнеца.

— Я и сейчас понапрасну не терял бы времени, если бы не уважение к гостю,— ответил кузнец.

— Хорошо,— сказал незнакомец, и глаза его лукаво засветились.— Я не буду тебя задерживать. Скажи, в чем ты испытываешь нужду?

Кузнец оглядел незнакомца с ног до головы, потом перевел глаза на машину и сказал:

— Я вижу, ты простой человек. Но у тебя машина! Может, и вправду в твоих руках есть сила? Советы дали людям землю, а вот пахать нам нечем. Не можешь ли ты нам помочь? Нет у меня железа для лемехов.

— Хорошо, я постараюсь помочь вам,— пообещал незнакомец и уехал.

Через три дня в кузницу Верди-даи привезли железо для лемехов.

Человек, который прислал кузнецу железо, сказывают, был Киров.

ЖИВАЯ ЛЕТОПИСЬ

У детей свой нюх на время. Вглядитесь, в какие игры играют они, по ним не трудно определить, что переживает мир в этот час.

Я даже больше скажу: если кто-нибудь вел бы запись этих игр, цены бы не было им. Такая запись свободно сошла бы за живую летопись быстротечной нашей жизни...

Судите сами. Где-то далеко в России шла война, а мы у себя в Норшене собирали патроны, стреляные гильзы. В своем селе мы не видели еще живого дашнака, а уже играли в Нжде и Дро. Были такие предводители у дашнаков. Мы, норшенская ребятня, играли в предводителей дашнаков. С таким же успехом мы играли в белых и красных. Это натурально и естественно.

Моя пятилетняя дочь Майя, с утра, сопя носом, что-то мастерит в своем уголке. Я уже не сомневаюсь: она собирается пустить в окололунную орбиту свой новый спутник.

ЕРИКСКИЙ МЕЧТАТЕЛЬ

В каждом селе есть свои чудаки и философы. Таким чудаком в Ерике был Петрос-кери.

Много воздушных замков строил Петрос-кери, и все они разбивались при столкновении с суровой жизнью. Каждый раз, когда рушилась мечта, люди видели, как

у Петроса-кери ниже опускались седеющие брови да глаза наполнялись задумчивой грустью.

Тому лет двадцать пять будет, как я попал в это село. Помню, как сейчас, длинный матерчатый сачок, которым ерикские пионеры «ловили» ветер. Помню желтеющие нивы зрелой пшеницы, которая уже не потечет в амбары богачей...

Петрос-кери был еще молодым. Он тогда только что пережил большую беду.

На своем участке он разбил фруктовый сад и не обнес его забором. «Злодеев-богачей теперь нет, а свой своего не обидит»,— так думал Петрос-кери. Пока молодые деревца росли, никому действительно не было до них дела, никто не трогал их. Но вот завязался первый плод. Тут и нагрянула беда.

Однажды, придя в свой сад, Петрос-кери застал его начисто обобранным...

Я запомнил тогда его длинные, опущенные книзу брови, задумчивую грусть темных глаз.

Случилось так, что через много лет я снова попал в Ерик. Все было в нем, как прежде: тот же полосатый сачок у въезда в село, те же нивы, те же склоны, тот же аист у берега быстрой горной реки, прыгающей по камням аист, расточающий свой юный, вечно ликующий шум.

Но что это? Прямо у проселочной дороги золотятся груши, пылают розовым румянцем пушистые персики, и никто их не сторожит. Нет ни заборов, ни колючей изгороди. Однако никто не заходит в неохраняемые сады, ничья рука не нагнет ветки.

Вдруг я увидел своего старого знакомого — Петроса-кери. Он шел навстречу мне и улыбался. В этой улыбке было все: и горечь пережитых неудач, и радость сбывшихся надежд.

Мы крепко пожали друг другу руки. Или, может быть, ты приснился мне, мой добрый ерикский мечтатель?

ЧАБАН АВЕТ

На плоском камне возле ворот сидит старик. Сухие ладони его лежат на гладкой загогулине палки, как бы вдетой между колен.



Это чабан Авет. Он стар, очень стар. Когда-то у него был громовой голос, крепкие, не знавшие усталости ноги, зоркие глаза, отличавшие на далеком склоне своих овец от чужих.

Впрочем, каким был Авет в молодости, одни горы тому свидетели.

Чабана Авета уважали в селе. Никто не пройдет мимо, чтобы не остановиться, не поговорить с ним, не пожелать ему доброго вечера или утра.

Во-он, смотрите на отлогом склоне дом над домом, как пчелиные соты. Это Веришен. Оно закинуто высоко, это село, под самые облака.

Вечером, когда в домах Веришена вспыхивает электрический свет, его частые огни издали кажутся огнями созвездий Большой Медведицы.

И я знаю, если взберешься на эту высь, непременно увидишь старика Авета: он сидит на плоском камне возле своего приземистого дома с палкой между колен, на которой покойно лежат его сухие ладони.

Стоял погожий весенний день. Старик сидел на камне, оглаживая загогулину палки.

Из ворот выскочил большеголовый мальчишка, держа в руках ломоть хлеба. Должно быть, правнук или праправнук старика.

— Дедушка! Завтра у нас будут гости, — выпалил мальчик, кусая хлеб, — дома пекут много, много гаты[1].

— А что? Праздник какой-нибудь? Или чьи-нибудь именины?

— И никакие не именины. Завтра тебе исполняется сто лет. Вот и будет праздник.

Сказав это, мальчик стремительно помчался по кривой деревенской улочке.

«Сто лет?» — прошептал старик, задумчиво посмотрев вслед мальчику. Потом встал, словно отряхнулся от воспоминаний, прошел во двор.

— Сноха,— стукнул он посохом о порог,— вынеси-ка торбу с едой, пойду на ферму, на стадо погляжу.

Уже десять лет, как старик покинул стадо — плохо стали видеть глаза, да и ноги не носили, — но почти каждый день под каким-нибудь благовидным предлогом он уходил в горы, к своим овцам.

В этот день в селе не дождались возвращения старика. Люди пошли за ним в горы и нашли его среди стада: он лежал, неподвижно распростертый на мокрой от дождя тусклой зелени.

Овцы, плотно обступив чабана, тупыми влажными мордочками обнюхивали его. В раскрытой ладони старика был кусок хлеба, но овцы не трогали его, только дробно и тревожно постукивали копытцами. А рядом

---

[1] **Гата** — пирог со сладкой начинкой.

сиротливо лежал пастушеский посох с гладкой, кривой загогулиной.

Во-он, смотрите: на отлогом склоне теснится дом над домом, словно пчелиные соты. Это наш Веришен, созвездие Большой Медведицы на горе.

И однако каждый раз, когда я вступаю в это село и вижу знакомый камень, сердце мое наполняется грустью: будто Веришен уже не тот Веришен.

Кузнецову Е. Н.

ЧЕЛОВЕК ВСЕ МОЖЕТ

Не успел я приехать к товарищу, который жил под Москвою, в нарядном поселке, утопающем в зелени, как он потащил меня показывать дерево, которое, по его уверению, способно потрясти хоть кого своей необыкновенной красотой.

Я шел за товарищем, снисходительно улыбаясь про себя. Ну, что ты покажешь, чем удивишь меня, мой дорогой москвич, меня, кавказца, избалованного щедрой природой, наглядевшегося не на таких щеголих.

Так оно и получилось. Дерево, должное потрясти меня, не потрясло. Признаться, я даже в мыслях прикинуть не мог, чем могло подкупить это обыкновенное низкорослое дерево, едва видное из-за невысокой ограды сада, моего друга, бывалого человека, знавшего не одно свое Подмосковье.

— С выводами можешь не торопиться, — предупредил товарищ.— Мы с тобой на него поглядим через час, потом еще через час. В полдень и вечером. Тогда и скажешь.

Мы притащились сюда через час. Потом еще через час. Теперь тащил его я, так заворожило меня это дерево.

Чудо какое! Сколько раз на него ни посмотришь, столько раз оно предстает перед тобой в новом наряде, то в синем, то в лиловом, то в сиреневом, словно светясь живым огоньком, теплившимся в глубине чудесного самоцвета.

Я теперь только и делаю, что хожу любоваться деревом, которое, не уставая, несколько раз в сутки меняет окраску.

— А знаешь, как называется это дерево? — спросил товарищ.

Я мотнул головой.

— Гортензия, — сообщил он, упиваясь своим открытием.

— Гортензия? — не поверил я своим ушам. — Кустовой цветок, да и на дереве? Быть того не может!

— Гортензия, — повторил товарищ, сам немало удивляясь этому превращению. — И надо полагать, не по собственной прихоти она стала деревом. Человек все может.

И он назвал человека, сделавшего ее такой.

Я часто приезжаю к товарищу, на его дачу. Бывало, прихвачу с собою случайного попутчика, показываю ему наше чудо-дерево, в свою очередь заранее наслаждаясь преждевременным его обманчивым разочарованием, но всегда благодарный человеку, создавшему это чудо.

— Не торопись, дружище, с выводами, — на всякий случай предупреждал я своего спутника.

УДОД

Собрание приближалось к концу. К столу подошел юноша. У него маленький, слегка кудрявившийся чубик, сбившийся на сторону, тоненький нос с шелушинками, как у подростка, который целыми сутками пропадает в поле и раз десять на дню купается в реке.

— Я буду говорить об Арус, — откашлявшись, начал юноша.

В клубе, где происходило собрание, стало необыкновенно тихо. Головы у всех нет-нет да поворачивались в ту сторону, где сидела девушка с опущенной головой. Что-то детское было в ее полураскрытых губах, в локоне, упавшем на лоб, в порозовевших щеках с ямочками.

Еще совсем недавно по крутой тропинке, все время поднимавшейся в гору, Арус бегала на ферму. Девочка каждый день носила матери то завтрак, то обед.

Вместе с Арус, тоже с узелком в руке, ходила на ферму и Заназан. Подруги учились в одном классе, проводили вместе досуг.

Хорошо на ферме! Ткнет корова мордой в плошку — оттуда вода. Особенно полюбились девочкам электрические коллекторы, доильная машина.

Бывало, принесут матерям еду, а уходить не хочется. Так все любопытно вокруг!

Когда подруги окончили сельскую школу, Заназан сказала:

— Решено, я стану дояркой. Теперь работать на ферме — это все равно, что на фабрике.

— Что ты, Заназан, — возразила подруга, — после десятилетки — и на ферму? Ни за что!

В институт Арус не попала: не набрала очков. Вернулась домой кислая, растерянная. В колхозе к ней отнеслись заботливо. Ее определили в бригаду по ломке и низке табака, где работала Заназан. Арус походила день-другой, а на третий наотрез отказалась: табак портил руки. Ее перевели в бригаду шелководов. Но и шелковичный червь оказался ей не по душе. Вскоре она перекочевала на ферму. За год Арус обошла почти все бригады.

...Девушка сидела, уронив на колени словно выточенные, красивые руки. Эти руки могли бы стать искусными руками табаковода, но не стали ими. Они могли бы стать руками доярки, но не умели держать даже иглы. Было жаль девушку: что-то пропустила она в жизни, когда другие работали и росли.

— Кто хочет высказаться? — спросил председатель, звякнув колокольчиком, хотя в зале по-прежнему стояла гнетущая тишина.

— Я скажу, — поднялась в рядах девушка с едва заметной складкой меж бровей. То была Заназан. Некоторое время она молча стояла, теребя в руках конец головного платка.— Удод, настоящий удод,— наконец выговорила она и примолкла.

Головы одна за другой стали поворачиваться в сторону раскрасневшегося оратора, в рядах раздался шум отодвигаемых стульев.

— Ну, так, дальше, дальше, — подбодрил председательствующий.

Заназан перестала теребить платок. На лбу меж бровей ярче обозначилась резкая бороздочка.

— Дальше сами знаете, — сказала она, не поднимая глаз, — удод всю жизнь строит гнезда, а потом бросает

их. Ему кажется, что от гнезд пахнет. Но запах-то от него самого.

Не глядя ни на кого, Заназан села на свое место.

— Кто еще хочет говорить?

Молчание.

— Может, ты скажешь, Арус?

Ответа не было.

— Будешь говорить, Арус? — повторил председательствующий.

Снова молчание.

Кто-то, сидящий рядом, тихо сказал:

— Она плачет.

«БАРИ ГАЛУСТ»

Со сцены сельского клуба в колхозе «Риту ашура» в Литве на меня смотрела надпись, взволновавшая до глубины души. Армянскими буквами на армянском языке она приветствовала нас, армянских писателей, приехавших сюда, в Литву, в гости к своим братьям.

«Бари галуст!» — «Добро пожаловать!»

Мы привыкли к тому, чтобы нас привечали, встречали хлебом-солью. Куда бы ни лег наш путь, мы, как в родном доме...

Но эта надпись далеко-далеко от земли армянской, старательно выведенная непривычными руками литовских колхозников...

Где только мы не были за свое кратковременное пребывание в Литве! Каунас, Тракай — древняя столица Литвы, резиденция великих князей, ныне районный центр, городок, сверкающий среди зеленых холмов и синеоких озер; многие другие города и села, как бы выписанные яркими красками.

Краски Прибалтики! Удивительные они здесь, в Литве, — чистые, звонкие... Все здесь щедро. Если трава — иссиня-зеленая, высокая, сочная. Если корова — великанша с огромным выменем.

Я смотрю на траву, на корову, пасущуюся на лужайке, на силуэт далекого леса, дымчато горящего в лучах закатного солнца, слышу над лесом призывный журавлиный крик, радуясь щедрым краскам, а сам думаю о своем.

Литва, далекая Литва...

И вспоминается мне житель села Туми в Карабахе, инвалид войны Оганес Оганесян.

— В моих жилах течет кровь двух наций, — с улыбкой сказал он мне совсем недавно.

В годы Великой Отечественной войны это было. Раненого, истекающего кровью солдата принесли в дом литовской крестьянки Марии Палтусене.

В деревне были гитлеровцы. Мария Палтусене, рискуя собственной жизнью, спрятала раненого в подполье своего дома, выходила, дала ему свою кровь, спасая жизнь после тяжелого ранения...

— Бари галуст! — говорит нам на армянском языке председатель «Риту ашура» — крепко сбитый, веселый Генрикас Крестояничюс, у которого мы гостили, а я мысленно переношусь в памятные дни войны, в ту крестьянскую избу, где был спасен от верной смерти мой земляк, житель села Туми, Оганес Оганесян...

Из-за оград красивых благоустроенных домов, утопающих в зелени, смотрят на нас жаркие, кудрявые пионы. Пионы здесь тоже необычные — пышные, свежие.

— Бари галуст! — слышу я голос председателя и ловлю себя на том, что и он, этот голос, бесконечно мил.

И догадываюсь: все здесь мне мило и дорого, как мила и дорога память о литовской патриотке — Марии Палтусене, о братстве, скрепленном кровью.

Литовские писатели приедут к нам в Армению. Мы ждем дорогих гостей и приветствуя их, заранее говорим:

— Бари галуст!

ГАЙБУЛАГ

Так называют в Карабахе этот родник. А нарекли его так в честь храброго крестьянского парня из села Красны Гайка Арустамяна. И, надо полагать, не за красивые глаза...

Давно Гайка нет, а родник, носящий имя человека, живет, тихо воркует в тени большого орехового дерева, привлекая путников и тенью, и живительной водой.

В двадцатом году это было. В Карабахе испокон века армяне живут бок о бок с азербайджанцами. С неза-

памятных времен Красны соседствует с Малибайлу, населенном азербайджанцами. В Красны жили армяне. Села эти располагались близко друг от друга, земли одного села упирались в земли другого.

И вдруг эти два села-соседа поднялись друг против друга, малибайлинцы не смели нос показать в Красны, а краснинцы — в Малибайлу. Этот раздор посеяли между селами-соседями дашнаки и мусаватисты. Вот-вот должна была начаться война, уже был открыт огонь. Первые пули уже просвистели в воздухе. И вдруг краснинцы увидели среди малибайлинцев Гайка Арустамяна, своего любимца, отважного наездника и смельчака. Накануне дашнаки избили его за агитацию против братоубийственной резни. Гайк шел впереди малибайлинцев во весь рост и, разорвав на груди рубаху, кричал:

— Стреляйте же, краснинцы! Первую вашу пулю приму я.

Стрельба прекратилась. Краснинцы любили Гайка. Одна пуля все-таки ранила его в руку. Гайк не дрогнул. Подняв окровавленную кисть над головой, он продолжал идти вперед, неистово крича:

— Стреляйте же прямо в сердце, если вы мужчины, а не бабы. Ну?

И в обоих лагерях произошло нечто невероятное: перебив своих вожаков-националистов, бросив оружие, армяне и азербайджанцы кинулись друг другу навстречу.

Так произошло это братание, спасшее соседей от кровопролития...

Вечно струится вода в роднике, вечно будет жива память о герое, Гайке Арустамяне.

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

У него крупное, задубленное от загара лицо. Изрядно лыс. Смирный, безответный, молчаливый.

Первый раз, увидев его, я принял за птичника, полевода, пасечника, кого угодно, но только не за председателя. Уж слишком он был тихий, безголосый.

Я знал, что за ним водится репутация председателя-неудачника. Где бы он ни работал, что бы ни делал —

результат один: снимали, перебрасывали, в другой колхоз. Давали возможность исправлять ошибки. Но председатель не исправлялся. Приходилось снова снимать. И если от него все-таки не отказались, — все еще ждали, что он развернется, покажет себя. Даже те, что снимали, чувствовали: неудачлив, но талантлив. Недюжинные силы бродят в этом молчаливом, тихом человеке, того и гляди, как подпочвенные воды, вырвутся на поверхность.

Подпочвенные воды не вырывались, и неудачник-председатель продолжал свой вояж. Но странно, изгнанный с должности, он оставался в памяти людей. В делах своих, которые оставались жить после него.

Теперь он председатель нашего колхоза. Уже три года председатель. Жизнь его здесь тоже не сахар. Затеял водопровод, родниковую воду хочет провести в село. Потратил уйму денег, нарушил финансовую дисциплину. Схлопотал три выговора, но вода вот-вот пойдет...

Конечно, могут его и тут освободить. Но водопровод останется. И скотный двор, и птичник, и жилые дома, и дорога, которая пролегла через гору... Останется добрый след на земле!

БЕЗ СЕМИ МУДРЕЦОВ

«Прошу обеспечить меня и мою семью тишиной». Это я выписал в районе из подлинного заявления одного колхозника. Ездил к нему, интересовался его странной жалобой. На поверку жалоба оказалась не такой уж странной...

Репродуктор «Октава», установленный на деревенской площади, круглые сутки гремел на все село, не давая людям спать. Особенно страдали колхозники, дома которых находились поблизости.

В районе к жалобе колхозника отнеслись несерьезно, с улыбочкой. Я же только за одну ночь, проведенную под неусыпным ангельским голоском «Октавы», возненавидел весь род радио во всех его коленах.

Когда-то громкоговоритель питался энергией от батареи, тихо бормотал себе под нос из своего раструба и никому не мешал. Охота слушать — слушай. Нет — он тебе не помеха, поворачивайся на другой бок и спи.

Но вот в село пришла мингечаурская электроэнергия большой мощности. «Октаву» перевели на мингечаурский ток. С этого и началось...

Я позвонил в район, попросил приехать в село того самого работника, что посмеялся над жалобой колхозника, требующего тишины для себя и своей семьи. Встретились в правлении колхоза — не очень близко от площади, на которой был установлен репродуктор.

— Вы меня слышите? — кричал я в ухо приезжему из района.

Тот мотал головой.

— Не смешно, правда? — допытывался я.

Вечером, выбрав момент, когда репродуктор на минуту примолк, я снова вернулся к странной жалобе, которая уже не казалась странной работникам района.

— В самом деле. Почему не угомоните репродуктор? Ведь можно же немного поубавить голос? — обратился к председателю колхоза ответственный товарищ из района.

— У нас нет штатной единицы. Некому этим заниматься,— был ответ.

— Тогда уберите совсем. Нет же пользы людям от него. Одни жалобы.

— Убирать тоже не могу, — не моргнув глазом, ответил председатель. — За него уже внесены деньги на год вперед. Пусть и отслужит. Не пропадать же денежкам. Не на улице берем.

Ответственный товарищ из района, до этого серьезно слушавший председателя, не выдержал, расхохотался.

— А-а, деньги внесены авансом, на год вперед. Это действительно головоломная задача, без семи мудрецов такую задачу не решишь. Нельзя же, в самом деле, чтобы пропадали денежки.

Ответственный товарищ оказался довольно веселым человеком. Он надоумил расчетливого председателя, должно быть, смеха ради, на положенный срок перенести репродуктор на ферму.

— Говорят, коровы любят музыку, прибавляют молоко. Вот и пусть слушают на здоровье, — посоветовал он.

Кажется, далекий от юмора председатель так и поступил. Не пропадать же денежкам!

● СКАЗКИ СТАРОГО ДУБА

СТАРЫЙ ДУБ

Иного лоботряса люди называют дубом. Это несправедливо. Правда, сердце у меня деревянное, но память...

Я помню твоего отца, деда твоего, а может, и прадеда. Они родились здесь, тянули свою лямку и теперь лежат на погосте под камнем. Я видел их маленькие радости и большие горести. Я ведь живу на этом свете очень давно...

Я дуб, я старый дуб. У меня деревянное сердце и ясная память.

Среди нас чужих нет, здесь все свои. Не скрою от вас, я стар, очень стар. И дубы умирают. Пока я жив, пока держат меня мои старые корни, я хочу поведать людям о виденном и услышанном на этом свете.

Я дуб. Я старый дуб. У меня деревянное сердце и ясная память. Я помню...

ГОРИС

Выражение «въехал в город» применительно к Горису не точно. В Горис, окруженный пиками острых гор, въехать нельзя. В него можно только свалиться с неба. Дорога, ведущая к Горису, несется стремительно вниз, на поворотах земля осыпается из-под шин прямо в пропасть.



И мы сваливаемся на своем «газике» головокружительно быстро, едва успев с высоты «Медной горы» уловить очертания города, ровные улицы с квадратным открытым пространством в центре...

В Горисе родился и жил Аксель Бакунц. Он мне почти ровесник, но его давно нет. Я спешу к нему, к памятнику, чтобы низко поклониться ему, учителю и другу.

СКВОРЕЦ

В том году случилась большая засуха, люди решили по тогдашним обычаям умилостивить бога жертвой: купили жирного барана и понесли его на заклание. Пока в казане варилось мясо, люди уселись под священным деревом — местом жертвоприношения. На ветках дерева, как всегда, было много птиц. Беспокойно трезвоня, птицы ждали своего часа, чтобы подобрать крошки. Они галдели, пересвистывались, горланя на разные лады, но одна среди них — особенно. То был скворец. Обыкновенный скворец, каких много обитает в нашем краю. Перепрыгивая с ветки на ветку, он все щебетал, щебетал, что-то силясь передать людям на своем птичьем языке и точно сердясь, что его не понимают.

Один из тех, кто сидел за разостланной на земле скатертью, поднял камень, чтобы швырнуть его в наскучившую всем птицу, но старший остановил его.

— Эта птица хочет нам что-то поведать, — сказал он.

Скворец затих, и люди тотчас же забыли о нем. Вновь потекла беседа.

Но скворец угомонился только на минуту, будто для того, чтобы дать людям подумать о словах старика, и снова залился тревожной трелью, теперь уже на самых нижних ветках. Опять кто-то поднял камень, и опять тот же старик остановил его.

— Не смей! Он тебе не мешает, — строго приказал он.

Когда наконец сварилось мясо и человек подошел к казану, чтобы разлить по мискам варево, скворец заголосил еще пуще. В последний раз издав свой призывный страстный крик, он сложил крылья и с высоты камнем бросился в котел.

Тогда старик, предупреждавший людей о птице, подошел к очагу, взял черпак, погрузил его в казан и вместе с птицей достал оттуда сварившуюся змею...

Если кто из вас попадет в Карабах, пусть завернет к нам в село, я покажу то дерево, под которым вырезана на камне такая надпись:

«Здесь погребена маленькая птица, у которой было большое сердце».

БАЛЛАДА О КРЫЛАТОМ МАЛЬЧИКЕ

В одном селе родился крылатый мальчик. Рос мальчик, вырастали и его крылья. Поначалу он летал вокруг своего дома, потом вокруг деревни, задевая крылом облака.

Крылатый мальчик стал юношей. И задумал он вступить в бой с орлом.

А тем временем в доме, где родился необычный мальчик, царил непокой. Убитые горем родители не жалели денег, со всего света сзывая лекарей, чтобы избавить сына от недуга, сделать его таким, как и все.

Лекари приходили — уходили, а мальчик рос и рос, на своих сильных крыльях поднимался все выше и выше, теряясь в облаках.

Но нашелся лекарь, который взялся вылечить юношу. И нашелся он в тот самый час, когда юноша должен был вступить в бой с орлом.

Ночью, когда юноша безмятежно спал, набираясь сил для дерзкого полета, лекарь незаметно срезал ему крылья.

Наутро, поднявшись и ничего не подозревая, юноша ушел в горы, на орлиную скалу, чтобы оттуда ринуться в синь неба, в полет.

Только в воздухе, стремительно несясь вниз, к своей гибели, юноша понял, что бескрылый.

ДВА ПУТНИКА...

Два путника ехали на верблюдах по степи. Ехали день, ехали другой, несколько дней. Путники были не новички в этом крае, они хорошо знали язык пустыни, молчали, берегли силы для дальнего пути. За день если они обменялись двумя-тремя словами, считай, что разговорились.

Горячий песок поскрипывал под копытами верблюдов, колокольчики слабо позванивали, не нарушая тишины и зноя, тени от путников вытягивались, неотступно шли рядом, молчали, как и путники.

На исходе пятого дня впереди показались верхушки минаретов.

— Минареты... Слава аллаху, подъезжаем, — сказал один путник другому.

— Какой ты болгун, приятель, — ответил тот. — Эти минареты вижу и я.

ХИТРЫЙ ВОР

Амбарцум-даи, подбадривая осла палкой, приближался к своему саду и вдруг видит: кто-то в нем хозяйничает, режет виноград и кладет себе в корзину. Он подъехал близко и крикнул через забор:

— Кто там режет виноград? Эй?

Из сада послышался ответ:

— Амбарцум-даи, хозяин сада. Кто беспокоит его?

— Бо, — опешил Амбарцум-даи. — Если ты Амбарцум-даи, кто же я?

— Что ты меня спрашиваешь? Я тебя не крестил. Ступай лучше спроси в селе, кто ты?

Старик, повернув осла, помчался в село.

— Люди, кто я? — вопрошал он.

— Амбарцум-даи, — ответили ему немало удивленные односельчане.

— Если это я, то кто же тот, что в моем саду режет виноград? — сказал старик.

МАЛЬЧИК ИЗ КАРАБАХА

Мальчик был хилый, хворый. Долго размышлял отец, как помочь сыну избавиться от недуга, стать сильным.

Думал, думал крестьянин, и вот что он придумал. Во дворе только что отелилась корова. Отец поместил новорожденного теленка на крыше своего дома, и сын должен был каждый день утром и вечером перед дойкой по шаткой лестнице спускать теленка с крыши и снова водворять его на место после дойки.

Теленок махонький, и хилый сын легко это делал. Но с каждым днем теленок прибавлял в весе, юноша как ни в чем не бывало спускал и поднимал его по лесенке. Теленок стал быком, а юноша по привычке без труда поднимал его.

Когда ваш сын не ест то, что ему дают, ленится ходить в школу пешком, расскажите ему эту притчу о мальчике из Карабаха.

ДВА ВЕРБЛЮДА

Два верблюда паслись в пустыне. Один сорвал пучок бурьяна и передал другому.

— Чем ты угощаешь меня, сосед? — сказал верблюд, получивший подарок.— Ведь этот бурьян ем и я?

— Я тебе его даю — значит, он уже другой, — ответил верблюд.

● МЫ ПОТОМКИ СТАРОГО ДУБА

ДУБКИ

Мы потомки старого дуба. Нас называют дубками. Мы очень молоды, хотя нам по многу лет. Мы ведь дубы, а у дубов свое летосчисление.

Наше племя знаменито. Где только не растет наш брат! Ему нипочем сибирский мороз, да и знойное жаркое солнце ему не помеха. Недаром у людей про нас сказано: держись за дубок — дубок в землю глубок.

Мы дубки. Мы потомки старого дуба. Нам недостает житейской мудрости старших, но и трезвая мужская зрелость завидует юности.

Мы помним залп «Авроры», помним трактор, впервые взбороздивший нашу землю. Мы молоды. У нас хороший слух и зоркие глаза. Мы слышим и видим такое, чего наш престарелый отец не может ни видеть, ни услышать.

Мы дубки. Мы потомки старого дуба. Нам недостает житейской мудрости старших, но и трезвая мужская зрелость завидует юности.

ПЕРВЫЙ ПОДСНЕЖНИК

Стоит на земле, среди белых лоскутков снега, не цветок, а крохотная капля голубого неба. Это подснежник, первовестник радости и счастья, смелый разведчик весны.

Ищу, всматриваюсь: где же он, тот самый первый, самый смелый? Кажется, вот он. Он или не он? Их так много, что того уже не заметить, не найти. Затерялся среди идущих за ним, смешался с ними. И этот первый среди них, такой же, как все,— маленький, тихий, нежно пахнущий. Но именно его испугались последние заморозки, ему сдались, выбросив ранней зарей белый флаг последнего инея на опушке.

И он стоит, тот первый, напористый, героический, капелькой неба на земле, среди тысячи других голубых капель.

СОЛОВЬИНЫЙ ХОР

Ты ждешь ее, эту единственную в мире полюбившуюся тебе песню, а она приходит все равно неожиданно. И всегда для тебя нова.

Соловьиный хор уникален: то, что соловей поет сегодня, он уже не повторяет никогда.

Я зачарованно прислушиваюсь. Не хор, а гимн неистовой любви к жизни, исступленной страсти — гимн траве, солнцу, весне, и вместе с тем благородной ненависти к тем, кто мешает жить, кто пока перевертыш.

Я стараюсь, пока дневной свет не весь погас, разглядеть хоть одного из певчих. Но разглядеть соловья не так легко. Он не любит выставляться, мозолить глаза. Предпочитает оставаться в неизвестности.

Скройся из глаз, милая птица. Я не хочу, чтобы тебя видели. Не хочу, чтобы тебя назвали богом. Чтобы сама себе ты казалась богом. Если ты даже бог!

КАРАБАХСКИЙ БАМБУК

Как бы Карабах ни рос, какие бы новинки ни меняли его лицо, размышляя о нем, я всегда буду видеть перед собой зеленую дымку тутовых деревьев. Могучие, стройные фонтаны по своей судьбе напоминают деревья героического Вьетнама.

Как бы тутовое дерево ни били, ни терзали, какой бы грубый ветер ни обкатывал его, оно живет, упрямо и гибко распрямляясь после каждого удара. И, подобно вьетнамскому бамбуку, может рассказать исто-

рию, полную страданий и все же победную. Загляните в наши горы и вы сами убедитесь: «Жив курилка!»

Снова в горах рубят туговое дерево. Снова слышу ненавистный свист топора. И я говорю: «Не прощай, а здравствуй. Здравствуй, шахтута, наш карабахский бамбук».

БЛЕСК МОЛНИИ

Блеск молнии осветил дерево. Четко обрисован каждый лист, ясно видна каждая морщинка на коре.

Минутой раньше не было ни дерева, ни морщин на коре. Ночная мгла поглощала все вокруг.

Был у меня друг, ничем не примечательный. Даже в доме, где он жил, не все знали его: тихий такой, в тени. Но ударил час — он открылся перед всеми, как то дерево в блеске молнии.

ПУТЬ МОЙ ДАЛЬНИЙ...

Вода бежала, спотыкалась о камни, бессильно падала в пропасть, выкарабкивалась и снова бежала, маленький горный ручей, каждой каплей стремясь к океану.

Я спросил у ручья: как дойти мне до океана, не потеряться в пути?

Ручей захлебнулся в узкой гранитной расщелине, вышел из камней, сказал:

— Ступай за мной! Только помни: путь мой дальний и нелегкий, не на веселую прогулку я тебя зову.

КАМЕШЕК

Яркий камешек на дне озера сверкает и переливается солнечными красками. Но попробуй вынь камешек из воды, и он мгновенно меркнет.

Вот он лежит на моей ладони, сухой и тусклый. Я бросаю камешек на дно озера, и солнце тотчас же возвращает ему все краски.

Мы все красивы в родной среде.

ЦАРИЦА ЦВЕТОВ, РОЗА...

Царица цветов, роза, не терпит близкого соседства и, встретившись в вазе с хрупкой резедой, немедленно убивает ее. Белоснежный ландыш не терпит весенние цветы. Гвоздика и роза, оказавшись рядом, изводят друг друга ненужной борьбой, и обе, обессилев, перестают пахнуть.

Но есть маленький, невзрачный, неказистый цветок, фиалка, которая не отравляется и не отравляет никого...

А каково тем цветам, которые, не трогая других, сами не защищены от ядовитого соседа.

БЕССМЕРТНИК

Крохотный, от рождения не особо яркий цветок. Кто на лугу в пору цветения обратит на него внимание? Но придите на этот луг поздней осенью или даже зимою и попробуйте найти след от тех броских, немыслимо красивых цветов, которые затмевали бессмертник. Их словно не было. Будто не они полыхали белыми, синими, желтыми, разноцветными головками, радуя глаз.

А бессмертник стоит все такой же, какой был: крохотный, неяркий, желтый. И аромат у него, как и летом, медовый, сильный.

ЕМУ БЫ НАЖАТЬ КНОПКУ...

Он не был бюрократом, к нему попал я по первому звонку. Выслушав, он отечески погладил меня по голове.

— Выбьешься... молодой еще.

Ему бы нажать кнопку... Но он не пошевелил и пальцем. Скрипнула дверь кабинета — мой благодетель забыл обо мне, поднялся навстречу новому посетителю: он ведь не бюрократ, к нему можно попасть по первому звонку.

Я выбился... Только голова, которой некогда коснулась холодная рука, теперь седая.



ЧУЖАЯ БОЛЬ

Одному крестьянину отняли больную руку, и он стойко перенес боль. Но вот та же участь постигла его соседа. Крестьянин, увидев его, по-бабьи заплакал.

Его спросили:

— Чего ты плачешь? Когда тебе самому отрезали руку, ты не издал ни одного вздоха.

— Оттого и плачу,— ответил тот,— что я сам испытал эту потерю, и мне лучше знать эти муки.

ОСЕНЬ

Попробуйте оголить лес в начале мая, когда он цветет в полную силу. А между тем, чтобы дерево сбросило листву, требуется всего лишь два-три осенних дня.

Так и во всем...

Ничто не приходит раньше времени и не уходит, не исчерпав себя.

О мое сердце, если бы я знал, как остановить твою осень!

БОЛЬ СЕРДЦА

Из поломанной ветки капля за каплей, как тяжелая слеза, падает тягучий сок.

Кто-то неосторожно или утехи ради поранил дерево, и теперь оно плачет и не наплачется от незаслуженной обиды.

Вот так иногда с легкостью ранят нам сердце. Проходят годы — рубец затягивается, но все равно новая кожа хранит на себе след прежней раны — непроходящая боль сердца.

ПЕРЕКАТЫ НА МОЕМ ПУТИ

Давят, крушат. Но я есть, я творю. Бьется мое израненное сердце.

Говорят, водопад тем сильней, чем больше на его пути перекатов.

Смешное утешение! Но ведь бывает и так, что растущее дерево придавят камнем, бьющий родник засыплют землей.

Я знаю, добро сильнее зла, но ведь и зло — сила!

Перекаты на моем пути, как вы мне надоели!

ЖЕЛТЫЙ ЛИСТ

Буйный, щебечущий сад. Откуда ни возьмись — ветер. Дерево покачнулось. В кроне блеснул желтый лист.

Я всматриваюсь. Сад как сад. Поют птицы. Ветер покачивает крону дерева. И опять этот лист, желтый лист в зеленой накипи сада...

НОЧЬ

Горы спрятались за горами. Ни зги не видно. Близко раздался последний вскрик птицы. Гаснет все вокруг, залитое ночным мраком. Будто сказочный дракон проглотил и небо и землю...

Но как красив этот мрак, в котором таится утро.

СИЛЬНАЯ СТРУЯ

Золото намывается крупинками. Но если на жилу направить сильную струю воды, вместе с песком уйдет и золото, те крупинки, которые с таким старанием намывают добытчики.

АСФАЛЬТ

Тонкая травинка пробивает асфальт. Это известно всем.

Но многие ли знают, как недолговечна жизнь растения, если его давил асфальт. Такая былинка час от часу чахнет, гибнет от легкого ветерка, истощив все силы в неравной борьбе.

НА ЦВЕТАХ ПОЛЕВОЙ КАШКИ...

На цветах полевой кашки снуют муравьи... Что бы ни случилось со мною, полевая кашка будет цвести, муравьи — сновать по извечным своим неведомым путям.

Не отрываясь, гляжу на муравьев, на кашку, на свою... бесконечность.

ГОРНАЯ РЕЧКА

Диву даюсь, глядя на нашу речушку: иные реки побольше зимою притихают, замерзают, а ей — нипочем. Вечно звенит, скачет по камням, не прерывая свой бешеный бег в самый лютый мороз.

И я знаю: она не замерзает от бега, от собственной прыти, не знающей покоя.

ЭДЕЛЬВЕЙСЫ

Цветок эдельвейса растет на краю пропасти, в заоблачной выси, пробиваясь сквозь снег, вечную мерзлоту, наперекор невзгодам, отвоевывая у жизни право на свет и тепло...

Наверное, и я бы зачах, как тот эдельвейс, сложись моя жизнь устроенной, уютной, без моих невзгод и недугов.

ЦВЕТЫ РОМАШКИ

Тихо плывут по Раздану сорванные где-то течением воды цветы ромашки. На каменистом берегу вдоль клокочущей горной реки полыхают огнем флоксы...

Время, остановись! Пусть зима поломает себе ноги по дороге к нам.

РОЗЫ У ТРОТУАРА

Прямо перед моим окном, тут же у края тротуара, растут розы. Нежные, красивые, беззащитные. Протянул с тротуара руку — роза твоя.

Сколько сил надобно для того, чтобы преодолеть в сущности безобидный соблазн: не сорвать, даже не прикоснуться к нежному розовому лепестку, уберечь эту хрупкую красоту от прикосновений...

Поверьте, это труднее, чем построить дом, воздвигнуть завод, чем поднять на пустыре сад.

ОГОНЬ

Мой светоч — огонь. Я раздаю его пригоршнями и радуюсь, когда он занялся, полыхает на ветру костром, раздвигая мрак, кому-то освещая путь, несет людям какой ни на есть свет.

Но мне не дано греться у собственного костра. Я почему-то всегда ближе к дыму, чем к огню.

КАК БЫ СОЛНЦЕ НИ СВЕТИЛО...

Видели ли вы одинокое дерево, на отшибе, подальше от леса, от других деревьев? В погожий день и в ненастье — мечется из стороны в сторону, что-то ищет подле себя ветками. Я почти догадываюсь: оно ищет чьи-то руки и не находит.

Сколько бы дерево ни стояло на этом месте, томясь в одиночестве, как бы солнце ни светило ему, дерево это будет метаться из стороны в сторону, искать, искать недостающей руки.

СЕДОЙ БОБЕР

Прежде чем поймать бобра, его загоняют. Нехитро, щелкая прутиком или кнутом ему вслед, улюлюкая и громко крича.

Бобер спотыкается, падает без сил, но его настигают, и он снова бежит, спотыкаясь, падая, и, обессилевший, вконец заморенный, начинает седеть... Вот эта седина и делает бобра бобром — седой бобер у промысловиков высоко ценится...

Не гони меня, жизнь, я уже сед!

КАПЛЯ РАСТАЯВШЕГО СНЕГА

На моем оконном стекле капелька растаявшего снега. Я гляжу на нее и не нагляжусь...

О вереница лет, почти шестьдесят раз сменявших друг друга за моим окном. Не ей ли, этой веренице, научившей меня ценить жизнь, не пренебрегать каж-

дой ее минутой, обязан я своей неистребимой любовью к капельке растаявшего снега на потеплевшем от весны оконном стекле?

КОРМИЛ ДО УСОВ...

Есть возраст, когда мы живем в «долг» у общества. Но есть и возраст, когда с лихвой возвращаем долги и даже нарабатываем на старость.

Все эти подсчеты, надо думать, ведутся не только ради отвлеченного научного интереса. Иначе зачем считать?

А как же быть, если не нарабатывают на старость, если долги не возвращаются? Если живут по поговорке: «Кормил до усов — корми и до бороды»?

ВСТРЕЧНЫЙ ВЕТЕР

Птица учится летать против ветра. Чем злее встречный ветер, тем сильнее делаются у птицы крылья.

Сколько я помню себя — ветер не был мне попутным, всегда он яростно жег лицо. Злой, мудрый, встречный ветер.

ДЕД

Дед впервые в городе. Идет со мною по улицам и удивляется, как много народу.

— Сколько в этом городе людей? — спросил он меня.

Я назвал.

— Врут. Кто может сосчитать их, если все в разные стороны идут.

МИНУТЫ МОЛЧАНИЯ

Есть у моря минуты молчания. Мгновение, когда все замирает на корабле. Судовые радиостанции прекращают свои передачи и ловят, ловят в эфире тревож-

ные сигналы. Может, кому требуется срочная помощь?

Вот такие же минуты молчания бывают и в сердцах людей, отзывчивых на чужую беду!

КАК В ЗАДАЧНИКЕ...

Дочка моя пыхтит над трудной задачей. Арифметика явно не дается ей. Иногда вздохнув, заглядывает в конец учебника, где ответы.

Я смотрю на нее и завидую. Как хочется иногда найти готовый ответ, как в задачнике.

ПРИСТЯЖНЫЕ

Знаете ли вы, кто такие пристяжные? Рабочие лошади, которые впрягаются в упряжке по бокам. Пристяжным всегда худо. Они вынуждены бежать по бездорожью, сбивая копыта о камни.

Так бывает порою и с нами, когда мы не коренники. Выжгут на ляжке тавро пристяжного, и будешь бегать по бездорожью всю жизнь, сбивая о камни душу.

ЛАСТОЧКА

Ласточка, улетая далеко-далеко, за чужие моря и земли, возвращается в свое гнездо...

Маленькая птица, у которой такой легкий крохотный мозг, обладает загадочным и тонким чувством расстояния, высоты и направления.

Подари мне твой крохотный локатор, ласточка!

ПТИЧКИ-НЕВЕЛИЧКИ

Я видел это на севере. Маленькие пичужки, величиною с грецкий орех, собрались на врага. Они ударялись о грудь и крылья ястреба, пламенея на солнце ярким оперением.

Десятки отважных птиц погибали, но новые стаи вступали в бой, яростно накидываясь на хищника. Ослепленный и жалкий, ястреб падает сраженный.

СТОЛЕТНИК

Ландыши цветут, едва уберется зима. Хитрюга подснежник выглядывает уже из проталин, не дожидаясь весны. Но есть растение, которое, прежде чем выбросить свой цвет, сто лет по капле набирает силы...

НА БЕРЕГУ НАШЕЙ РЕЧКИ...

На берегу нашей речки не ждут парома. Со своими нехитрыми снастями не замирают мальчишки, ожидая клева. Река быстрая, рыб не водится.

Закатав штаны, перешел ее вброд — вся навигация...

Невелика наша речка, но без нее не было бы и большой Волги.

НЕЗАБУДКИ

Я любил тебя, но не был любим. Чтобы забыть тебя, я выдумал другую. Но в выдумку можно верить, любить ее нельзя.

* * *

Роза гордилась своей красотой.

— Неправда,— сказал я,— моя любимая лучше.

Я срезал ветку горделивой розы и послал своей любимой.

Пусть знает роза, как она ошибается.

* * *

Вода бежала из каменной груди горы — чистый, прозрачный, свежий родник. Томимый жаждой, я припал к его прохладе.

Как хорошо испить воды, зная, что ее никто не замутит!

* * *

Цветущий подсолнух поворачивает свой огненный диск за солнцем.

Какому же солнцу молишься ты, поворачиваясь во все стороны, даже на зыбкий огонек светлячка?

* * *

Колос к колосу тянется, живой росток — к солнцу. А я, непутевый, к твоему сердцу, любимая.

* * *

Судьба не баловала меня. Да и ты немало видела горя... Нас соединила беда, чтобы мы не знали больше беды.

* * *

Вошла, не оглядывайся по сторонам, не ищи чужих следов. Лучше подумай о том, какие оставишь ты.

* * *

— Знаешь, как бог порадовал бедняка? Сначала спрятал его осла, а потом помог найти.

* * *

Хотел бедняк утопиться. Увидел, что богач топится, вернулся домой. Он не хотел, чтобы богач был его хозяином и на том свете.

* * *

Не поворачивай стадо овец вспять, хромые могут оказаться во главе.

* * *

Лягушка только потому до сих пор без хвоста, что приклеить его оставила на завтра.

* * *

Кто слишком много думает о том, чтобы делать добро, тому нет времени быть добрым.

* * *

Высота отмеряется от земли, берет на земле начало... Об этом часто забывают. Зря забывают.

* * *

Звезды не должны бояться, что их примут за светлячков.

* * *

День мой догорает, а след мой в мире невелик, только намечается. Одно у меня утешение — с правдой жил в ладу.

* * *

Виноградная лоза говорит:

— Подайте мне руку, и я дорасту до солнца.

* * *

Мир обделил меня покоем, а я на это ответил песнями.

* * *

У меня есть звезды на небе... Но я тоскую по маленькой лампаде, не зажженной у меня в доме.

* * *

Не замедляй шагов, путник. Не рви цветов, чтобы сохранить их. Иди вперед — цветы будут цвести на всем пути твоем.

* * *

И стебелек травки достоин великого мира, в котором живет.

* * *

Хулите — не хулите, мои недруги, от меня не ляжет тень на дорогу, потому что моя лампада зажжена.

* * *

Когда говорят о твоих достоинствах — тебя обкрадывают. Когда говорят о твоих недостатках — тебя обогащают. Так гласит старая истина.

Я благодарен своим недругам: они неусыпно заботятся о том, чтобы обогатить меня.

* * *

Кажется, Дантон сказал, что родину нельзя унести на подошвах.

Я бы еще прибавил: в сердце не унесешь. Не поместится. Сердце разорвется на куски при мысли, что ты никогда больше не увидишь какой-нибудь кособокой яблони, растущей у края дороги возле твоего дома или села, с которой когда-то сорвал недозрелый плод, набивший в зубах оскомину.

● СОДЕРЖАНИЕ

Леонид ГУРУНЦ

НАШ МИЛЫЙ ШУШИКЕНД

Приложение к журналу «Дружба народов»

М., «Известия», 1974, 400 стр. с илл.

Редактор приложений **Е. Усыскина**

Оформление «Библиотеки» **А. Гаранина**

Редактор **И. Юшкова**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **В. Новикова**

Корректор **М. Федотова**

●

А 05795. Сдано в набор 25/IV 1974 г. Подписано в печать 22/X 1974 г.
Формат 84×108[1]/32. Бум. печ. № 1. Печ. л. 12,5. Усл. печ. л. 21,00.
Уч.-изд. л. 18,93. Заказ 1573. Тираж 185.000 экз. (1 завод 1—100 000).

Цена 83 коп.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография издательства «Известия Советов депутатов
трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова.
Москва, Пушкинская пл., 5.

В 1974 году

издается 15 книг

библиотеки

«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Г. **Аббасзаде** — Стук в дверь. Повести. Перевод с азербайджанского.

Айбек — Великий путь. Роман. Перевод с узбекского.

А. Битов, И. Зиедонис, В. Коротич — Не считай шаги, путник!

Н. Бичуя — Чистотел. Повести. Рассказы. Перевод с украинского.

Л. Гурунц — Наш милый Шушикенд. Повесть. Рассказы.

И. Есенберлин — Отчаяние. Роман. Перевод с казахского.

П. Загребельный — С точки зрения вечности. Роман. Перевод с украинского.

К. Зарян — Корабль на горе. Роман. Перевод с армянского.

Эд. Кипиани — Красные облака. Шапка, закинутая в небо. Романы. Перевод с грузинского.

Ф. Кнорре — Одна жизнь. Повести. Рассказы.

Р. Мустафин — По следам оборванной песни. Книга-поиск.

Т. Семушкин — Алитет уходит в горы. Роман.

К. Симонов — Последнее лето. Роман.

М. Слуцкис — Чужие страсти. Жажда. Адамово яблоко. Романы. Перевод с литовского.

А. Твардовский — Проза. Письма.


ЛЕОНИД ГУРУНЦ
НАШ МИЛЫЙ
ШУШИКЕНД